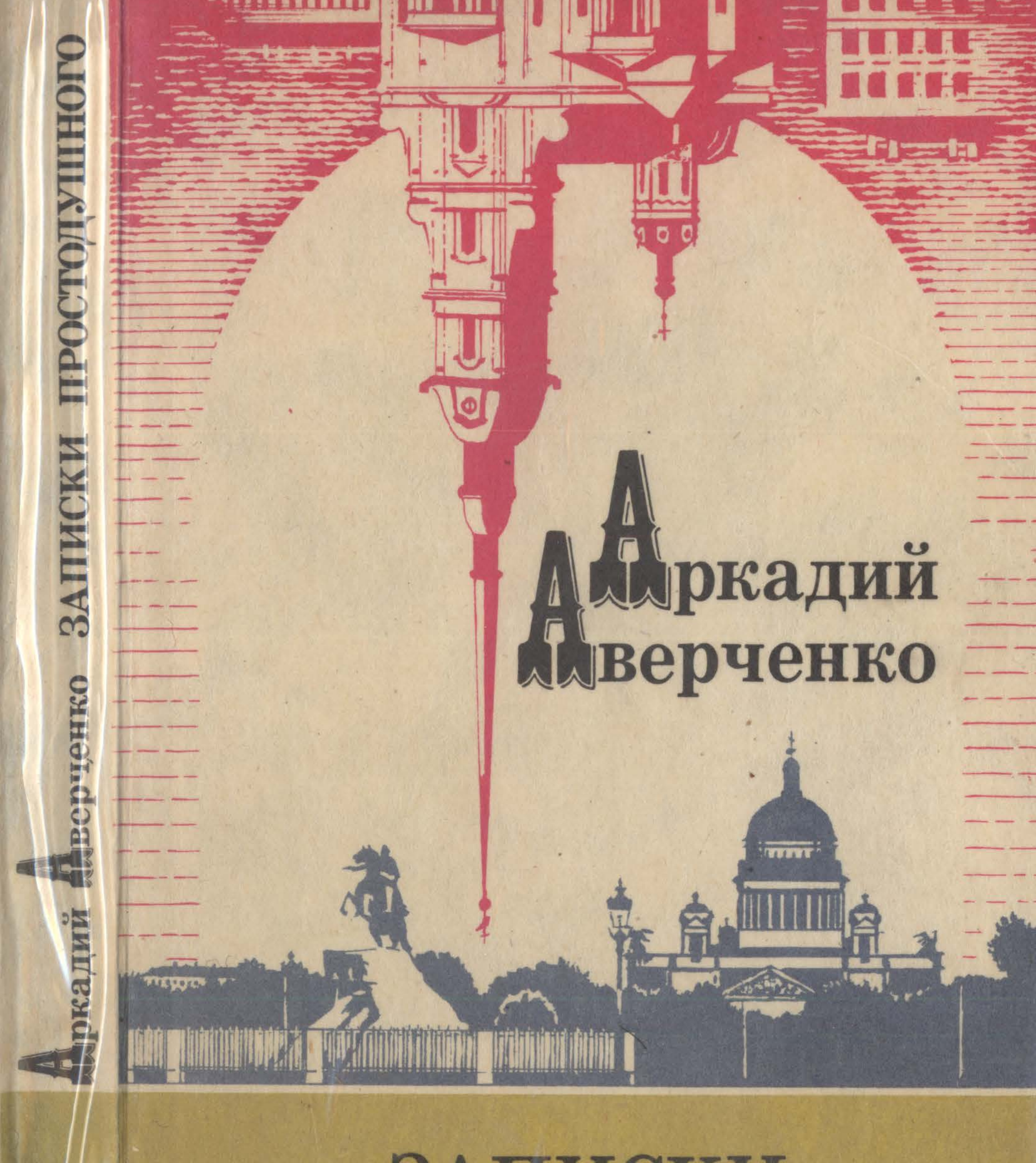


Аркадий Аверченко

ЗАПИСКИ ПРОСТОДУШНОГО

Аркадий Аверченко

ЗАПИСКИ ПРОСТОДУШНОГО

Москва
А/О «Книга и бизнес»
1992

ББК 84Р1-4
А 19

Составление, послесловие, примечания
О. В. Сергеева

Оформление художника Б. А. Лаврова

А $\frac{4702010000-003}{002(01)-92}$ КБ-25-36-91

ISBN 5-212-00533-7

ДЕТИ

СБОРНИК РАССКАЗОВ
С ПРИЛОЖЕНИЕМ

«РУКОВОДСТВА К РОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ»

Введение

Для выпуска настоящего сборника у меня имелись два веских основания:

1. Я люблю детей.
2. Дети любят меня.

Лицам, мало знакомым с моей биографией, я должен признаться, что когда-то сам был ребенком, и так как память об этом розовом периоде моей жизни до сих пор живо сохранилась в моем мозгу, то мои рассказы «О детях», таким образом, приобретают пленительный профессиональный отпечаток откровений специалиста по детскому вопросу.

Все должно быть логично: Вересаев был врачом; он написал «Записки врача»; Куприн был военным; он написал «Поединок». Я был ребенком; пишу о детях. Впечатления специалиста — всегда ценный вклад в данный вопрос.

Помню, с каким удовольствием прочел я недавно «Записки палача» Шарля Сансона [1], отрубившего голову Людовику Шестнадцатому,— знаменитого Сансона, представителя ряда поколений, целой династии Сансонов — палачей, в течение двух веков прилежно рубивших парижанам головы.

Хорошо пишут специалисты!

* * *

У детей я имею шумный успех, потому что раскусил один нехитрый фокус: никогда не показывайте, что вы умнее ребенка; почувствовав ваше превосходство, он, конечно, будет уважать вас за глубину мысли, но сам сейчас же молниеносно уйдет в себя, спрячется, как улитка в раковину.

У меня прием обратный: с детьми я прикидываюсь невероятно наивным, даже жалким человечишкой, который нуждается в покровительстве и защите. Может быть, в глу-

бине души малыш даже будет немного презирать меня. Пусть. Зато он чувствует свое превосходство, милостиво берет меня под свою защиту, и душа его раскрывается передо мной, как чашечка цветка перед лучом солнца.

Ох, как много надул я этим приемом маленького доверчивого народа, и сколько я знаю о нем такого, чего умные, покровительственно хлопающие малыша по плечу,— не знают.

Некоторые из моих бывших маленьких друзей уже выросли. Вот-то, наверное, ругнут меня, когда узнают, как ловко обошел я их.

Простите меня, голубчики. Я это делал на пользу великой чудесной русской литературы.

Это я делал, чтобы внести свою скромную пчелиную лепту в ее необъятную сокровищницу.

А впрочем, можете и сердиться, мои бывшие маленькие друзья. Так как вы теперь уже огромные — то мне все равно.

А. А.

Руководство к рождению детей

Знаменитый Клемансо [2] сделал следующее официальное заявление в парламенте:

«В мирный договор не включено для Франции обязательство иметь как можно больше детей, а между тем оно должно бы стоять там на первом месте.

Если Франция откажется от многочадия, то напрасно вы будете включать в договор самые мудрые параграфы, напрасно будете отнимать все пушки у Германии — Франция все-таки погибнет, потому что не будет больше французов».

— Итак — факт налицо, у французов, именно *у французов*,— нет детей.

Справедлива, значит, пословица, что сапожник всегда ходит без сапог.

Как же устранить это ужасное зло — бездетность,— зло, грозящее гибелью, вымиранием целой нации?

Хотя я и занимаю в журнальном мире место премьера, однако — делать нечего — вопрос слишком серьезен,— взял я скромную репортерскую записную книжку, остро отточенный карандаш и отправился как самый простой репортер кое-кого проинтервьюировать.

I. У Ивана Капитоныча Трепакина

— Да! Да! — сказал мне при первом моем вопросе почтенный негоциант.— Читал я тоже, читал и ужасался!

— Скажите, какие бы вы предложили меры для устранения этого зла?

— Да ведь вы знаете, что такое француз? Это ж прямо-таки удивительный человек. Ему бы все только — тру-ля-ля! Как только вечер, он сейчас же надевает цилиндр и бежит в Елисейские поля плясать с гризетками канкан. А я бы так сделал: Елисейские поля — закрыть! Карусельную площадь — закрыть! Не время теперь на каруселях раскатываться. И Гранд-Опера закрыл бы. Сиди дома с женой — вот тебе и вся Опера. И чтобы в 9 часов вечера на улицах всякое движение прекратить. Как вышел на улицу — сейчас же полисмен за шиворот — цап! «Куда? Пошел домой!» Ведь я, голубчик мой, француза во как знаю; отнимите у него тру-ля-ля, отнимите Карусельную площадь, канканы-шантаны — да ведь он вернейшим мужем сделается! Ведь у него тогда, батенька, другого и дела не будет, как дома около жены сидеть да деток рожать. Он-то,— француз,— тогда на Мопассана и смотреть не захочет. Так и запишите.

Так и записываю.

II. Сосед по скамейке на бульваре

Я спросил:

— Чем занимаетесь?

— Так, кое-что покупаю, продаю.

— А раньше?

— Правду вам сказать — дело прошлое — при жандармской охранке в провокаторах служил.

— Гм... да. Но все-таки вы, может быть, скажете — каким бы способом увеличить во Франции деторождение?

— Каким способом? Ясный способ.

— Именно?

— Скажем, живет в предместье Сент-Оноре молодой человек Жан. И в том же предместье проживает также девица Луиза. Что же делаю я? Иду к этой самой Луизе и говорю: «Ах, мадмуазель Луиза... Вы ранили стрелой Амура сердце одного моего друга». Вы же сами понимаете, что за любопытная публика — девушки. Сейчас же: «Ах,

ах, кто такой?» — «А вот этот самый Жан, живущий в предместье Сент-Оноре». И вот уже затравка сделана. Тут я иду к Жану и говорю ему: «Бонжур, мон ами Жан».— «Бонжур»,— отвечает Жан. Подмигну я ему этак, ткну пальцем в бок — французы это любят — и скажу: «Бонжур-то бонжур, а зачем вы сердце одной барышни разбили — вот вы мне на какой вопрос ответьте?!». Сейчас же — где, да что, да познакомьте, ну, там и пошло!

— Виноват,— это вы говорите о браке, а меня интересует вопрос о детях. Вон мне один сведущий человек рассказывал, что, как только вечер,— француз надевает цилиндр и бежит в Елисейские поля плясать канкан.

Собеседник торжествующе рассмеялся.

— Побежит? У меня не побежит. Пусть-ка попробует. Я его тут же на улице у самого дома встречу: «Куда, мон ами Жан?» — «Иду с кокотками канкан плясать».— «Ага! А я к вам иду посидеть. Ну, да вы отправляйтесь, а я уж посижу с вашей женой, чтоб ей скучно не было. Ах, какой вы, мон шер, счастливый человек, что у вас такая жена! Что за грудь, что за плечи. А ножки! Воображаю также, как она целуется!» Так ведь он после этих моих слов, как соленый заяц, обратно домой побежит!! И уж можете себе представить, что не он в Елисейских полях, а я у него через год на крестинах канкан плясать буду!

III. У почтового чиновника Почечуева

Когда я пришел к нему и задал ему первый вопрос — он долго не мог понять, чего я от него хочу.

Поняв наконец, просиял.

— Что сделать, чтобы у французов были дети? Очень просто! нужно ввести покровительственную, мажоритарную систему!..

— То есть?

— А вот так: скажем, у человека один ребенок. Дается ему на рукав пиджака одна нашивка, вроде, знаете, как у солдата, получившего на войне одно ранение. И по этой нашивке — ему всюду делается скидка 10%. Пришел в лавку — вещь, стоящая 10 франков, отдается за 9, пришел в театр, сел в трамвай — со всего делается скидка 10%. Два ребенка — две нашивки — уже 20% скидки, три ребенка — три нашивки, и так далее. А если ты такой умный, что имеешь 10 ребят,— пожалуйста! Все тебе бесплатно: ешь —

не хочу, пей — не хочу! Гуляй по театрам — не хочу! Квартира даром, стол даром...

— Ну, а представьте себе такой случай, что у человека 12 человек детей. Что ж, по-вашему, государство еще ему должно доплачивать за все 20%?

— Н...ну, нет — это зачем же. Медаль просто можно выдать какую-нибудь.

— А бездетные, а холостые, значит, никакими льготами не пользуются?

— Им? Льготы? я бы с этими подлецами без всякой пощады!! Вошел в трамвай господин с нашивками — выкидайся человек без нашивок со своего места! Пришел господин с нашивками в какое-нибудь учреждение просить службы — сейчас служащего человека без нашивок к черту, а на его место — пожалуйте! Вот бы что я провел — сейчас же! Я бы им дыхнуть не дал!

Маленькая девочка вбежала в комнату и сказала:

— Папа, Гриша лез на стол. А Маня дернула его за ногу, он и упал прямо Бобику на голову, а Котька, не разобрав в чем дело, стал бить меня и Лиличку. А мы даже ничего и не делали, мы нянчили Мусю...

— А чего же смотрят старшие? Где Володя? Где Коля?

— Коля с Володей в кинематограф ушли, а Соня книжку читает.

— Кто это такие? — удивленно спросил я, — этот вот Коля, Володя, Соня?

— Мои все. Десяток сорванцов. Подумайте, будь я во Франции... Всё бы получал бесплатно.

IV. Разговор с маленькой девочкой

Спускаясь с лестницы, я встретил маленькую девочку, очевидно, тоже представительницу рода Почечуевых.

— Слушай, детка, — спросил я, — у французов нет детей, как нам сделать, чтобы у них были детки?

Положив палец на нижнюю губу, она призадумалась.

— А у них папы и мамы есть?

— Да, пожалуй, это бы еще можно было найти.

— Ну вот. Так тогда же легко!

— Именно?

— Вот ты видишь, как это делается. Давай сядем тут на ступенечку.

— Сядем. Ну?

— Сначала папа должен хвататься за голову и кричать: «Еще один? Этому конца не будет!». Потом приходит такая женщина с таким мешочком, потом тех детей, которые уже есть, посылают к тете, а потом так и появляется новое дите. Лежит красненькое и кричит, как шумашедшее.

Опубликовываю это мнение, хотя и не особенно ценное, но все-таки высказанное лицом, имеющим отношение к больному вопросу.

V. Разговор с самим собой

Напоследок меня заинтересовало мое собственное мнение: что я скажу по данному вопросу?.. Все-таки человек, в своей жизни кое-что видевший, наблюдавший и даже испытавший.

— Что вы скажете, Аркадий Тимофеевич, по этому вопросу? — спросил я, уютно усаживаясь в кресло.

— Что я скажу? скажу одно: все спасение Франции в подъеме патриотизма. Нет бóльших патриотов, чем французы, и патриотизм — их прибежище и сила.

Предположите вы такой разговор на балу:

— Мадам, позвольте представиться: Шарль Дюран. Можно вас пригласить на вальс?

— Нет, спасибо, я уже домой собираюсь.

— Домой? Так рано? Что же вас дети ждут?

— Нет, у меня детей нет. Муж дома.

— *Нет детей?* А муж есть?

— Есть.

— Гм... Странно. Разрешите мне что-то шепнуть вам на ушко. (Шепчет.)

— Вы с ума сошли, милостивый государь! Как вы смеете?!

— Мадам! Но ведь Клемансо категорически заявил...

— Да, но при чем я тут?..

— Мадам! Вы француженка! Неужели вы допустите, чтобы через 20 лет эти грязные канальи боши[3] снова ворвались в нашу прекрасную Францию и... чтобы... мы не смогли отразить их достаточными силами!..

— А вдруг ...его убьют?..

— Мадам! Смерть за родину — прекрасная смерть. Мать должна гордиться таким сыном!

— Но ведь меня муж ждет...

— Мадам! Пусть тысяча мужей ждет вас — Франция ждать не может. Швейцар! Манто этой дамы...

— Послушайте, но ведь уже поздно...

— Мадам! Лучше поздно, чем никогда. Извозчик! Кэб, фиакр, черт тебя подери,— скорее...

— Господи... Но ведь, я боюсь, вы меня перестанете уважать...

— Мадам! Что я?! Сейчас нация, вся Франция любуется вами и уважает вас... Ну, возись там с кнутом, каналья!.. Пошел!..

Да. Великое, огромное, чудесное чувство — патриотизм!

Под столом

Пасхальный рассказ

Дети, в общем, выше и чище нас. Крохотная история с еще более крохотным Димкой наглядно, я надеюсь, подтвердит это.

Какая нелегкая понесла этого мальчишку под пасхальный стол — неизвестно, но факт остается фактом: в то время, как взрослые бестолково и безалаберно усаживались за обильно уставленный пасхальными яствами и питиями стол,— Димка, искусно лавируя между целым лесом огромных для его роста колоннообразных ног, взял да нырнул под стол, вместе с верблюдом, половинкой деревянного яйца и замусленным краем сдобной бабы...

Разложив свои припасы, приладил сбоку угрюмого необщительного верблюда и погрузился в наблюдения...

Под столом — хорошо. Прохладно. От свежевымытого пола, еще не зашарканного ногами, веет приятной влагой.

А ног сколько! Димка начал считать, досчитал до пяти и сбился. Нелегкая задача!

Теткины ноги сразу заметны: они в огромных мягких ковровых туфлях — от ревматизма, что ли. Димка поцарапал ногтем крошечного пальчика ковровый цветок на туфле... Нога шевельнулась, Димка испуганно отдернул палец.

Лениво погрыз край потеплевшей от руки сдобной бабы, дал подкрепиться и верблюду, и вдруг — внимание его приковали очень странные эволюции лаковой мужской туфли с белым замшевым верхом.

Нога, обутая в эту элегантную штуку, сначала стояла спокойно, потом вдруг дрогнула и поползла вперед, изредка настороженно поднимая носок, как змея, которая поднимает голову и озирается, ища, в которой стороне добыча...

Димка поглядел налево и сразу увидел, что целью этих змеиных эволюций были две маленьких ножки, очень красиво обутые в туфельки темно-небесного цвета с серебром.

Скрещенные ножки спокойно вытянулись и, ничего не подозревая, мирно постукивали каблучками... Край темной юбки поднялся, обнаружив восхитительную полную подъемистую ножку в темно-голубом чулке, а у самого круглого колена нескромно виднелся кончик пышной подвязки — черной с золотом.

Но все эти замечательные — с точки зрения другого, понимающего человека — вещи совершенно не интересовали бесхитростного Димку.

Наоборот, взгляд его был всецело прикован к таинственным и полным жути зигзагам туфли с замшевым верхом.

Это животное, скрипя и извиваясь, доползло, наконец, до кончика голубой ножки, клюнуло носом и испуганно отодвинулось в сторону с явным страхом: не дадут ли за это по шее?

Голубая ножка, почувствовав прикосновение, нервно, сердито затрепетала и чуть-чуть отодвинулась назад.

Развязный ботинок повел нахально носом и снова решительно пополз вперед.

Димка отнюдь не считал себя цензором нравов, но ему просто, безотносительно, нравилась голубая туфелька, так прекрасно вышитая серебром; любуясь туфелькой, он не мог допустить, чтоб ее запачкали или ободрали шитье.

Поэтому Димка пустил в ход такую стратагему: подсунул, вместо голубенькой ножки, морду своего верблюда и энергично толкнул ею предприимчивый ботинок.

Надо было видеть разнузданную радость этого беспринципного щеголя! Он заерзал, заюлил около безропотного верблюда, как коршун над падалью. Он кликнул на помощь своего коллегу, спокойно дремавшего под стулом, и они оба стали так жать и тискать невозмутимое животное, что будь на его месте — полненькая голубая ножка — несдобровать бы ей.

Опасаясь за целость своего верного друга, Димка выдернул его из цепких объятий и отложил подальше, а так как верблюжья шея оказалась все-таки помятой — пришлось, в виде возмездия, плюнуть на носок предприимчивого ботинка.

Этот развратный щеголь еще поюлил немного и уполз, наконец, восвояси, несолоно хлебавши.

С левой стороны кто-то подсунул руку под скатерть и тайком выплеснул рюмку на пол.

Димка лег на живот, подполз к лужице и попробовал: сладковато, но и крепко достаточно. Дал попробовать верблюду. Объяснил ему на ухо:

— Уже там напились, наверху. Уж вниз выливают — понял?

Действительно, наверху все уже приходило к концу. Стулья задвигались, и под столом немного посветлело. Сначала уплыли неуклюжие коровьи ноги тетки, потом дрогнули и стали на каблучки голубые ножки. За голубыми ножками дернулись, будто соединенные невидимой веревкой, лакированные туфли, а там застучали, загомозились американские, желтые — всякие.

Димка доел совсем размокшую сдобу, попил еще из лужицы и принялся укачивать верблюда, прислушиваясь к разговорам.

— Если устали,— слышал он голос матери,— так прилягте тут на диване — никто беспокоить не будет. Мы переходим в гостиную.

— Да как-то... этого. Неловко.

— Чего там неловко — ловко.

— Ей-Богу, как-то не тово...

— Чего там — не того. Дело праздничное.

— Я говорил — не надо было мешать мадеру с пивом...

— Пустое. Поспите, и ничего. Я вам сейчас с Глашей подушку пришлю.

Топот многочисленных ног затих. Потом послышалось цоканье быстрых каблучков и разговор:

— Вот вам подушка, барыня прислала.

— Ну, давай ее сюда.

— Так вот же она. Я положила.

— Нет, ты подойди сюда. К дивану.

— Зачем же к дивану?

— Я хочу христ...сс...соваться!

— Уже христосовались. Так нахристосовались, что стоять не можете.

Неописуемое удивление послышалось в убежденном голосе гостя:

— Я? Не могу стоять? Чтобы у тебя отец на том свете так не стоял, как... Ну, вот смот...три!..

— Пустите, что вы делаете?! Войдут!

Судя по тону Глаши, она была недовольна тем, что происходило. Димке пришло в голову, что самое лучшее — пугнуть хорошенько предприимчивого гостя.

Он схватил верблюда и брякнул его об пол.

— Видите?! — взвизгнула Глаша и умчалась, как вихрь.

Укладываясь, гость ворчал:

— Ай, и дура же! Все женщины, по-моему, дуры. Такую дрянь всюду развели... Напудрит нос и думает, что она королева неаполитанская... Ей-Богу, право!.. Взять бы хлыст хороший да так попудрить... Трясогузки!

Димке сделалось страшно; уже стало темнеть, а тут кто-то бормочет под нос непонятное... Лучше уж уйти.

Не успел он подумать этого, как гость, пошатываясь, подошел к столу и сказал, будто советуясь сам с собой:

— Нешто коньячку бутылочку спулить в карман? И коробка сардин целая. Я думаю, это дурачье и не заметит.

Что-то коснулось его ноги. Он выронил сардины, испуганно отскочил к дивану и, повалившись на него, с ужасом увидел, что из-под стола что-то ползет. Разглядев, успокоился:

— Тю! Мальчик. Откуда ты, мальчик?

— С-под стола.

— А чего ты там не видел?

— Так, сидел. Отдыхал.

И тут же, вспомнив правила общежития и праздничные традиции, Дима вежливо заметил:

— Христос воскресе.

— Еще чего! Шел бы спать лучше.

Заметив, что его приветствие не имело никакого успеха, Дима, для смягчения, пустил в ход нейтральную фразу, слышанную еще утром:

— Я с мужчинами не христосуюсь.

— Ах, как ты их этим огорчил! Сейчас пойдут и утопятся.

Разговор явно — не налаживался:

— Где были у заутрени? — уныло спросил Дима.

— А тебе какое дело?

Самое лучшее для Димы было уйти в детскую, но... между столовой и детской были две неосвещенных комнаты, где всякая нечисть могла схватить за руку. Приходилось оставаться около этого тяжелого человека и поневоле поддерживать с ним разговор:

— А у нас пасхи сегодня хорошие.

— И нацепи их себе на нос.

— Я не боюсь пойти через комнаты, только там темно.

— А я тоже вот одному мальчишке взял да и голову отрезал.

— Он был плохой? — холодея от ужаса, спросил Димка.

— Такая же дрянь, как и ты,— прошипел гость, с вожделением оглядывая облюбованную на столе бутылку.

Где-то вдали послышался голос мамы.

— Да... такой же был, как и ты... Хорошенький такой, прямо дуся, такая, право, малая козявочка...

Голос мамы удалился и затих.

— Такая козявка, что я бы ее каблуком — хрясь!.. В лепешку дрянь такую. Пошел вон! Иди! Или тут из тебя и дух вон!

Дима проглотил слезы и опять кротко спросил, озираясь на темную дверь:

— А у вас пасхи хорошенькие?

— Чихать мне на пасхи,— я мальчишек ем, таких, как ты. Дай-ка свою лапу, я отгрызу...

И вдруг — голос мамы, совсем близко:

— А куда это мамин сын задевался?

— Мама!! — взвизгнул Димка и зарылся в шуршащую юбку.

— А мы тут с вашим сынком разговорились. Очаровательный мальчик! такой бойкенький.

— Он вам не мешал спать? Разрешите, я только уберу все со стола, а там спите сколько хотите.

— Да зачем же убирать?..

— А к вечеру опять накроем.

Гость уныло опустился на диван и вздохнул, шепнув самому себе под нос:

— Будь ты проклят, анафемский мальчишка! Из-под самого носа увел бутылку.

Три желудя

I

Нет ничего бескорыстнее детской дружбы... Если проследить начало ее, ее истоки, то в большинстве случаев наткнешься на самую внешнюю, до смешного пустую при-

чину ее возникновения: или родители ваши были «знакомы домами» и таскали вас, маленьких, друг к другу в гости, или нежная дружба между двумя крохотными человечками возникла просто потому, что жили они на одной улице или учились оба в одной школе, сидели на одной скамейке — и первый же разделенный братски пополам и съеденный кусок колбасы с хлебом посеял в юных сердцах семена самой нежнейшей дружбы.

Фундаментом нашей дружбы — Мотька, Шаша и я — послужили все три обстоятельства: мы жили на одной улице, родители наши были «знакомы домами» (или, как говорят на юге,— знакомы домамы); и все трое вкусили горькие корни учения в начальной школе Марьи Антоновны, сидя рядом на длинной скамейке, как желуди на одной дубовой ветке.

У философов и у детей есть одна благородная черта — они не придают значения никаким различиям между людьми — ни социальным, ни умственным, ни внешним. У моего отца была галантерейная лавка (аристократия), Шашин отец работал в порту (плебс, разночинство), а Моткина мать просто существовала на проценты с грошового капитала (рантье, буржуазия). Умственно Шаша стоял гораздо выше нас с Мотькой, а физически Мотька почитался среди нас — веснушчатых и худосочных — красавцем. Ничему этому мы не придавали значения... Братски воровали незрелые арбузы на баштанах, братски их пожирали и братски же катались потом по земле от нестерпимой желудочной боли.

Купались втроем, избивали мальчишек с соседней улицы втроем, и нас били тоже всех трех — единосущно и нераздельно.

Если в одном из трех наших семейств пеклись пироги — ели все трое, потому что каждый из нас почитал святой обязанностью, с опасностью для собственного фасада и тыла, воровать горячие пироги для всей компании.

У Шашина отца — рыжебородого пьяницы — была прескверная манера лупить своего отпрыска, где бы он его ни настигал, так как около него всегда маячили и мы, то этот прямолинейный демократ бил и нас на совершенно равных основаниях.

Нам и в голову не приходило роптать на это, и отводили мы душу только тогда, когда Шашин отец брел обедать,

проходя под железнодорожным мостом, а мы трое стояли на мосту и, свесив головы вниз, заунывно тянули:

Рыжий красный
Человек опасный...
Я на солнышке лежал...
Кверху бороду держал...

— Сволочи! — грозил снизу кулаком Шашин отец.

— А ну иди сюда, иди, — грозно говорил Мотька. — Сколько вас нужно на одну руку?

И если рыжий гигант взбирался по левой стороне насыпи, мы, как воробьи, вспархивали и мчались на правую сторону — и наоборот. Что там говорить — дело было беспроигрышное.

Так счастливо и безмятежно жили мы, росли и развивались до шестнадцати лет.

А в шестнадцать лет, дружно взявшись за руки, подошли мы к краю воронки, называемой жизнью, опасливо заглянули туда, как щепки попали в водоворот, и водоворот закружил нас.

Шаша поступил наборщиком в типографию «Электрическое усердие», Мотю мать отправила в Харьков в какую-то хлебную контору, а я остался непристроенным, хотя отец и мечтал «определить меня на умственные занятия», — что это за штука, я и до сих пор не знаю. Признаться, от этого сильно пахло писцом в мещанской управе, но, к моему счастью, не оказывалось вакансии в означенном мрачном и скучном учреждении...

С Шашей мы встречались ежедневно, а где был Мотька и что с ним — об этом ходили только туманные слухи, сущность которых сводилась к тому, что он «удачно определился на занятия» и что сделался он таким франтом, что не подступись.

Мотька постепенно сделался объектом нашей товарищеской гордости и лишенных зависти мечтаний возвыситься со временем до него, Мотьки.

И вдруг получилось сведение, что Мотька должен прибыть в начале апреля из Харькова «в отпуск с сохранением содержания». На последнее усиленно напирала Мотькина мать, и в этом сохранении видела бедная женщина самый пышный лавр в победном венке завоевателя мира Мотьки.

II

В этот день не успели закрыть «Электрическое усердие», как ко мне ворвался Шаша и, сверкая глазами, светясь от восторга, как свечка, сообщил, что уже видели Мотьку едущим с вокзала и что на голове у него настоящий цилиндр!..

— Такой, говорят, франт,— горделиво закончил Шаша,— такой франт, что пусти — вырвусь.

Эта неопределенная характеристика франтовства разожгла меня так, что я бросил лавку на приказчика, схватил фуражку — и мы помчались к дому блестящего друга нашего.

Мать его встретила нас несколько важно, даже с примесью надменности, но мы впопыхах не заметили этого и, тяжело дыша, первым долгом потребовали Мотю...

Ответ был самый аристократический:

— Мотя не принимает.

— Как не принимает?— удивились мы.— Чего не принимает?

— Вас принять не может. Он сейчас очень устал. Он сообщит вам, когда сможет принять.

Всякой шикарности, всякой респектабельности должны быть границы. Это уже переходило даже те широчайшие границы, которые мы себе начертили.

— Может быть, он нездоров?..— попытался смягчить удар деликатный Шаша.

— Здоров-то он здоров... Только у него, он говорит, нервы не в порядке... У них в конторе перед праздниками было много работы... Ведь он теперь уже помощник старшего конторщика. Очень на хорошей ноге.

Нога, может быть, была и подлинно хороша, но нас она, признаться, совсем придавила: «нервы, не принимает»...

Возвращались мы, конечно, молча. О шикарном друге, впредь до выяснения, не хотелось говорить. И чувствовали мы себя такими забитыми, такими униженно-жалкими, провинциальными, что хотелось и расплакаться и умереть или, в крайнем случае, найти на улице сто тысяч, которые дали бы и нам шикарную возможность носить цилиндр и «не принимать» — совсем, как в романах.

— Ты куда?— спросил Шаша.

— В лавку. Скоро запирать надо. (Боже, какая проза!) А ты?

— А я домой... Выпью чаю, поиграю на мандолине и завалюсь спать.

Проза не меньшая! Хе-хе.

III

На другое утро — было солнечное воскресенье — Моткина мать занесла мне записку: «Будьте с Шашей в городском саду к 12 часам. Нам надо немного объясниться и пересмотреть наши отношения. Уважаемый вами Матвей Смелков».

Я надел новый пиджак, вышитую крестиками белую рубашку, зашел за Шашей и — побрели мы со стесненными сердцами на это дружеское свидание, которого мы так жаждали и которого так инстинктивно, панически боялись.

Пришли, конечно, первые. Долго сидели с опущенными головами, руки в карманах. Даже в голову не пришло обидеться, что великолепный друг наш заставляет ждать так долго.

Ах! Он был, действительно, великолепен... На нас надвигалось что-то сверкающее, брякающее многочисленными брелоками и скрипящее лаком желтых ботинок с перламутровыми пуговицами.

Пришелец из неведомого мира графов, золотой молодежи, карет и дворцов — он был одет в коричневый жакет, белый жилет, какие-то сиреневые брючки, а голова увенчивалась сверкающим на солнце цилиндром, который если и был мал, то размеры его уравновешивались огромным галстуком с таким же огромным бриллиантом...

Палка с лошадиной головой обременяла правую аристократическую руку. Левая рука была обтянута перчаткой цвета освежеванного быка. Другая перчатка высовывалась из внешнего кармана жакета так, будто грозила нам своим вялым указательным пальцем: «Вот я вас!.. Отнеситесь только без должного уважения к моему носителю».

Когда Мотя приблизился к нам развинченной походкой пресыщенного денди, добродушный Шаша вскочил и, не могши сдержать порыва, простер руки к сиятельному другу:

— Мотька! Вот, брат, здорово!..

— Здравствуйте, здравствуйте, господа, — солидно кивнул головой Мотька и, пожав наши руки, опустился на скамейку...

Мы оба стояли.

— Очень рад видеть вас... Родители здоровы? Ну, слава Богу, приятно, я очень рад.

— Послушай, Мотька...— начал я с робким восторгом в глазах.

— Прежде всего, дорогие друзья,— внушительно и веско сказал Мотька,— мы уже взрослые, и поэтому «Мотьку» я считаю определенным «кель выражансом»... Хе-хе... Не правда ли? Я уже теперь Матвей Семеныч — так меня и на службе зовут, а сам бухгалтер за ручку здоровкается. Жизнь солидная, оборот предприятия два миллиона. Отделение есть даже в Коканде... Вообще, мне бы хотелось пересмотреть в корне наши отношения.

— Пожалуйста, пожалуйста,— пробормотал Шаша. Стоял он, согнувшись, будто свалившимся невидимым бревном ему переломило спину...

Перед тем как положить голову на плаху, я малодушно попытался отодвинуть этот момент.

— Теперь опять стали носить цилиндры? — спросил я с видом человека, которого научные занятия изредка отвлекают от капризов изменчивой моды.

— Да, носят,— снисходительно ответил Матвей Семеныч.— Двенадцать рублей.

— Славные брелочки. Подарки?

— Это еще не все. Часть дома. Все на кольце не помещаются. Часы на камнях, анкер, завод без ключа. Вообще, в большом городе жизнь — хлопотливая вещь. Воротнички «Монополь» только на три дня хватают, маникюр, пикники разные.

Я чувствовал, что Матвею Семенычу тоже не по себе...

Но, наконец, он решился. Тряхнул головой так, что цилиндр вспрыгнул на макушку, и начал:

— Вот что, господа... Мы с вами уже не маленькие, и, вообще, детство — это одно, а когда молодые люди, так совсем другое. Другой, например, до какого-нибудь там высшего общества, до интеллигенции дошел, а другие есть из низших классов, и если бы вы, скажем, увидели в одной карете графа Кочубея рядом с нашей Миронихой, которая, помните, на углу маковники продавала, так вы бы первые смеялись до безумия. Я, конечно, не Кочубей, но у меня есть известное положение, ну, конечно, и у вас есть известное положение, но не такое, а что мы были маленькими вместе, так это мало ли что... Вы сами понимаете, что мы

уже друг другу не пара... и... тут, конечно, обижаться нечего — один достиг, другой не достиг... Гм!.. Но, впрочем, если хотите, мы будем изредка встречаться около железнодорожной будки, когда я буду делать прогулку, все равно там публики нет, и мы будем как свои. Но, конечно, без особенной фамильярности — я этого не люблю. Я, конечно, вхожу в ваше положение — вы меня любите, вам даже, может быть, обидно, и поверьте... Я со своей стороны... если могу быть чем-нибудь полезен... Гм! Душевно рад.

В этом месте Матвей Семеныч взглянул на свои часы нового золота и заторопился:

— О, ля-ля! Как я заболтался... Семья помещика Гузикова ждет меня на пикник, и если я запоздаю, это будет нонсенс. Желаю здравствовать! Желаю здравствовать! Привет родителям!..

И он ушел, сверкающий и даже не немного гнущийся под бременем респектабельности, усталый от повседневного вихря светской жизни.

IV

В этот день мы с Шашей, заброшенные, будничные, лежа на молодой травке железнодорожной насыпи, в первый раз пили водку и в последний раз плакали.

Водку мы пьем и теперь, но уже больше не плачем. Это были последние слезы детства. Теперь — засуха.

И чего мы плакали? Что хоронили? Мотька был напыщенный дурак, жалкий третьестепенный писец в конторе, одетый, как попугай, в жакет с чужого плеча; в крохотном цилиндре на макушке, в сиреневых брюках, обвешанный медными брелоками,— он теперь кажется мне смехотворным и ничтожным, как червяк без сердца и мозга,— почему же мы тогда так убивались, потеряв Мотьку?

А ведь — вспомнишь,— как мы были одинаковы,— как три желудя на дубовой ветке,— когда сидели на одной скамейке у Марьи Антоновны...

Увы! Желуди-то одинаковы, но когда вырастут из них молодые дубки — из одного дубка делают кафедру для ученого, другой идет на рамку для портрета любимой девушки, а из третьего дубка смастерят такую виселицу, что любо-дорого...

Душистая гвоздика

I

Иду по грязной, слякотной, покрытой разным сором и дрянью улице, иду злой, бешеный, как цепная собака. Сумасшедший петербургский ветер срывает шляпу, приходится придерживать ее рукой. Рука затекает и стынет от ветра; я делаюсь еще злее! За воротник попадают тучи мелких гнилых капель дождя, чтоб их черт побрал!

Ноги тонут в лужах, образовавшихся в выбоинах дряхлого тротуара, а ботинки тонкие, грязь просачивается внутрь ботинка... так-с! Вот вам уже и насморк.

Мимо мелькают прохожие — звери! Они норовят задеть плечом меня, я — их.

Я ловлю взгляды исподлобья, которые ясно говорят:

— Эх, приложить бы тебя затылком в грязь!

Что ни мужчина встречный, то Малюта Скуратов, что ни женщина, промелькнувшая мимо,— Марианна Скублинская. А меня они, наверное, считают сыном убийцы президента Карно. Ясно вижу.

Все скудные краски смешались на нищенски бедной петроградской палитре в одно грязное пятно, даже яркие тона вывесок погасли, слились с мокрыми ржавыми стенами сырых угрюмых домов.

А тротуар! Боже ты мой! Нога скользит среди мокрых грязных бумажек, окурков, огрызков яблок и раздавленных папиросных коробок.

И вдруг... сердце мое замирает!

Как нарочно: посреди грязного, зловонного тротуара ярким трехкрасочным пятном сверкнули три оброненные кем-то гвоздики, три девственно-чистых цветка: темно-красный, снежно-белый и желтый. Кудрявые пышные головки совсем не запятнаны грязью, все три цветка счастливо упали верхней частью стеблей на широкую папиросную коробку, брошенную прохожим курильщиком.

О, будь благословен тот, кто уронил эти цветы,— он сделал меня счастливым.

Ветер уже не так жесток, дождь потеплел, грязь... ну что ж, грязь когда-нибудь высохнет; и в сердце рождается робкая надежда: ведь увижу я еще голубое жаркое небо, услышу птичье щебетанье, и ласковый майский ветерок донесет до меня сладкий аромат степных трав.

Три кудрявых гвоздики!

* * *

Надо мне признаться, что из всех цветов я люблю больше всего гвоздику; а из всех человеков милей всего моему сердцу дети.

Может быть, именно поэтому мои мысли переехали с гвоздики на детей, и на одну минуту я отожествил эти три кудрявых головки: темно-красную, снежно-белую и желтую — с тремя иными головками.

Может быть, все может быть.

Сижу я сейчас за письменным столом, и что же я делаю? Большой взрослый сентиментальный дурак! Поставил в хрустальный бокал три найденные на улице гвоздики, смотрю на них и задумчиво, рассеянно улыбаюсь.

Сейчас только поймал себя на этом.

Вспоминаются мне три знакомых девочки... Читатель, наклонись ко мне поближе, я тебе на ухо расскажу об этих маленьких девочках... Громко нельзя, стыдно. Ведь мы с тобой уже большие, и не подходящее дело громко говорить нам с тобой о пустяках.

А шепотом, на ухо — можно.

II

Знавал я одну крохотную девочку Ленку.

Однажды, когда мы, большие жестоковыйные люди, сидели за обеденным столом,— мама чем-то больно обидела девочку.

Девочка промолчала, но опустила голову, опустила ресницы и, пошатываясь от горя, вышла из-за стола.

— Посмотрим,— шепнул я матери,— что она будет делать?

Горемычная Ленка решилась, оказывается, на огромный шаг: она вздумала уйти из родительского дома.

Пошла в свою комнатенку и, сопя, принялась за сборы: разостлала на кровати свой темный байковый платок, положила в него две рубашки, панталончики, обломок шоколада, расписной переплет, оторванный от какой-то книжки, и медное колечко с бутылочным изумрудом.

Все это аккуратно связала в узел, вздохнула тяжко и с горестно опущенной головой вышла из дому.

Она уже благополучно добралась до калитки и даже вышла за калитку, но тут ее ожидало самое страшное,

самое непреодолимое препятствие: в десяти шагах от ворот лежала большая темная собака.

У девочки достало присутствия духа и самолюбия, чтобы не закричать... Она только оперлась плечом о скамейку, стоявшую у ворот, и принялась равнодушно глядеть совсем в другую сторону с таким видом, будто бы ей нет дела ни до одной собаки в мире, а вышла она за ворота просто подышать свежим воздухом.

Долго так стояла она, крохотная, с великой обидой в сердце, не знающая — что предпринять...

Я высунул голову из-за забора и участливо спросил:

— Ты чего тут стоишь, Леночка?

— Так себе, стою.

— Ты, может быть, собаки боишься; не бойся, она не кусается. Иди куда хотела.

— Я еще сейчас не пойду,— опустив голову, прошептала девочка.— Я еще постою.

— Что же ты думаешь еще долго тут стоять?

— Я вот еще подожду.

— Да чего ж ждать-то?

— Вот вырасту немножко, тогда уж не буду бояться собачки, тогда уж пойду...

Из-за забора выглянула и мать.

— Это вы куда собрались, Елена Николаевна?

Ленка дернула плечом и отвернулась.

— Недалеко ж ты ушла,— съязвила мать.

Ленка подняла на нее огромные глаза, наполненные целым озером невылившихся слез, и серьезно сказала:

— Ты не думай, что я тебя простила. Я еще подожду, а потом пойду.

— Чего ж ты будешь ждать?

— Когда мне будет четырнадцать лет.

Насколько я помню, в тот момент ей было всего 6 лет. Восьми лет ожидания у калитки она не выдержала. Ее хватило на меньшее — всего на 8 минут.

Но, Боже мой! Разве знаем мы, что пережила она в эти 8 минут?!

* * *

Другая девочка отличалась тем, что превыше всего ставила авторитет старших.

Что ни делалось старшими, в ее глазах все было свято.

Однажды ее брат, весьма рассеянный юноша, сидя в кресле, погрузился в чтение какой-то интересной книги так, что забыл все на свете... Курил одну папиросу за другой, бросал окурки куда попало и, лихорадочно разрезывая книгу ладонью руки, пребывал всецело во власти колдовских очарований автора.

Моя пятилетняя приятельница долго бродила вокруг да около брата, испытующе поглядывая на него, и все собиралась о чем-то спросить, и все не решалась.

Наконец, собралась с духом. Начала робко, выставив голову из складок плюшевой скатерти, куда она, в силу природной деликатности, спряталась:

— Данила, а Данила?..

— Отстань, не мешай,— рассеянно пробормотал Данила, пожирая глазами книгу.

И опять томительное молчание... И опять деликатный ребенок робко закружился вокруг кресла брата.

— Чего ты тут вертишься? Уходи.

Девочка кротко вздохнула, подошла бочком к брату и опять начала:

— Данила, а Данила?

— Ну, что тебе! Ну, говори!!

— Данила, а Данила... Это так надо, чтобы кресло горело?

Умилительное дитя! Сколько уважения к авторитету взрослых должно быть в голове этой крошки, чтобы она, видя горящую паклю в кресле, подожженном рассеянным братом, все еще сомневалась: а вдруг это нужно брату из каких-нибудь высших соображений?..

О третьей девочке мне рассказывала умиленная нянька:

— До чего это заковыристый ребенок, и представить себе невозможно... укладываю я ее с братом спать, а допрежь того поставила на молитву: «Молитесь, мол, ребятенки!» И что ж вы думаете? Братишка молится, а она, Любочка, значит, стоит и ждет чего-то: «А ты говорю, что ж не молишься, чего ждешь?» — «А как же, говорит, я буду молиться, когда Боря уже молится? Ведь Бог сейчас его слушает... Не могу же я тоже лезть, когда Бог сейчас Борей занят!»

Милая благоуханная гвоздика!

Моя была бы воля, я бы только детей и признавал за людей.

Как человек перешагнул за детский возраст, так ему камень на шею да в воду.

Потому взрослый человек почти сплошь — мерзавец...

Кулич

— А что, сынок, — спросил меня отец, заложив руки в карманы и покачиваясь на своих длинных ногах, — не хотел бы ты рубль заработать?

Это было такое замечательное предложение, что у меня дух захватило.

— Рубль? Верно? А за что?

— Пойди сегодня ночью в церковь, посвяти кулич.

Я сразу осел, обмяк и нахмурился.

— Тоже вы скажете: святи кулич! Разве я могу? Я маленький.

— Да ведь не сам же ты, дурной, будешь святить его! Священник освятит. А ты только снеси и постой около него!

— Не могу, — подумав, сказал я.

— Новость! Почему не можешь?

— Мальчики будут меня бить.

— Подумаешь, какая казанская сирота выискалась, презрительно скривился отец: «Мальчики будут его бить» Небось сам их лупцуешь, где только ни попадутся.

Хотя отец был большой умный человек, но в этом деле он ничего не понимал...

Вся суть в том, что существовали два разряда мальчиков: одни меньше и слабосильнее меня, и этих бил я. Другие больше и здоровее меня — эти отделывали мою физиономию на обе корки при каждой встрече.

Как во всякой борьбе за существование — сильные пожирали слабых. Иногда я мирился с некоторыми сильными мальчиками, но другие сильные мальчики вымещали на мне эту дружбу, потому что враждовали между собой.

Часто приятели передавали мне грозное предупреждение:

— Вчера я встретил Степку Пангалова, он просил передать, что даст тебе по морде.

— За что? — ужасался я. — Ведь я его не трогал?

— Ты вчера гулял на Приморском бульваре с Косым Захаркой?

— Ну, гулял! Так что ж?

— А Косой Захарка на той неделе два раза бил Пангалова.

— За что?

— За то, что Пангалов сказал, что он берет его на одну руку.

В конце концов, от всей этой вереницы хитросплетений и борьбы самолюбий страдал я один.

Гулял я с Косым Захаркой — меня бил Пангалов, заключал перемирие с Пангаловым и отправлялся с ним гулять — меня бил Косой Захарка.

Из этого можно вывести заключение, что дружба моя котировалась на мальчишеском рынке очень высоко, — если из-за меня происходили драки. Только странно было то, что били, главным образом, меня.

Однако если я не мог справиться с Пангаловым и Захаркой, то мальчишки помельче их должны были испытывать всю тяжесть моего дурного настроения.

И когда по нашей улице пробирался какой-нибудь Сема Фишман, беззаботно насвистывая популярную в нашем городе песенку:

На слободке есть ворожка,
Барабанщика жена...

я, как из земли, вырастал и, став к Семе вполоборота, задиристо предлагал:

— Хочешь по морде?

Отрицательный ответ никогда не смущал меня. Сема получал свою порцию и в слезах убегал, а я бодро шагал по своей Ремесленной улице, выискивая новую жертву, пока какой-нибудь Аптекаренок с Цыганской слободки не ловил меня и не бил — по всякой причине: или за то, что я гулял с Косым Захаркой, или за то, что я с ним не гулял (в зависимости от личных отношений между Аптекаренком и Косым Захаркой...).

К отцовскому предложению я отнесся так кисло именно потому, что вечер Страстной субботы стягивает со всех улиц и переулков уйму мальчиков к оградам церквей нашего города. И хотя я найду там многих мальчиков, которые хватят от меня по морде, но зато во тьме ночной бродят и другие мальчики, которые, в свою очередь, не прочь припаять блямбу (местное арго!) мне.

А к этому времени как раз у меня испортились отношения почти со всеми: с Кирей Алексомати, с Григулевичем, с Павкой Макопуло и с Рафкой Кефели.

— Так идешь или нет? — переспросил отец.— Я знаю, конечно, что тебе хотелось бы шататься по всему городу вместо стояния около кулича, но ведь за то — рубль! Поразмысли.

Я это как раз и делал: размышлял.

— Куда мне пойти? К Владимирскому собору? Там будет Павка со своей компанией... Ради праздничка изобьют, как еще никогда не били... В Петропавловскую? Там будет Ваня Сазончик, которому я только третьего дня дал по морде на Ремесленной канаве. В Морскую церковь — там слишком фешенебельно. Остается Греческая церковь... Туда я и думал пойти, но без всякого кулича и яиц. Во-первых, там свои — Степка Пангалов с компанией: можно носиться по всей ограде, отправляться на базар в экспедицию за бочками, ящиками и лестницами, которые тут же в ограде торжественно сжигались греческими патриотами... Во-вторых, в Греческой церкви будет Андриенко, которому надлежит получить свою порцию за то, что наговорил матери, будто я воровал помидоры с воза... Перспективы в Греческой церкви чудесные, а узел из кулича, полудесятка яиц и кольца малороссийской колбасы — должен был связать меня по рукам и ногам...

Можно было бы поручить кому-нибудь из знакомых постоять около кулича,— да какой же дурак согласится в такую чудесную ночь?

— Ну что, решил? — переспросил отец.

— А надую-ка я старика,— подумал я: — Давайте рубль и пасху вашу несчастную.

За последний эпитет я получил по губам, но в веселой суматохе укладывания в салфетку кулича и яиц — это прошло совершенно незамеченным.

Да и не больно было.

Так, немного обидно.

* * *

По скрипучему деревянному крыльцу я спустился с узлом в руке во двор, на секунду нырнул под это крыльцо в отверстие, образовавшееся из двух утащенных кем-то досок, вылез обратно с пустыми руками и, как стрела,

помчался по темным теплым улицам, сплошь затопленным радостным звоном.

В ограде Греческой церкви меня встретили ревом восторга. Я поздоровался со всей компанией и тут же узнал, что мой враг Андриенко уже прибыл.

Немного поспорили о том, что раньше сделать: сначала «насыпать» Андриенке, а потом идти воровать ящики — или наоборот?

Решили: наворовать ящиков, потом поколотить Андриенку, а потом отправиться опять воровать ящики.

Так и сделали.

Поколоченный мною Андриенко давал клятву в вечной ко мне ненависти, а костер, пожирая нашу добычу, поднимал красные дымные языки почти до самого неба... Веселье разгоралось, и дикий рев одобрения встретил Христу Попандопуло, который явился откуда-то с целой деревянной лестницей на голове:

— Я себе така думаю,— весело кричал он,— сто стоит теперя одна дома, а у нему нету лестницы, чтоба попадити на верхняя этаза.

— Да неужели ты домовую лестницу унес?

— Ма, сто такая: домовая не домовая — лис бы горела!

Все весело смеялись, и веселее всех смеялся тот взрослый простак, который, как оказалось потом, вернувшись к себе домой на Четвертую Продольную, не мог попасть на второй этаж, где его с нетерпением ждали жена и дети.

Все это было очень весело, но, когда я, после окончания церемонии, возвращался домой с пустыми руками,— сердце мое защемило: весь город будет разговляться свячеными куличами и яйцами, и только наша семья, как басурмане, будет есть простой, не святой хлеб.

— Правда,— рассуждал я.— Я, может быть, в Бога не верую, но вдруг все-таки Бог есть и он припомнит мне все мои гнусности: Андриенку бил в такую святую ночь, кулича не освятил да еще орал на базаре во все горло не совсем приличные татарские песни, чему уж не было буквально никакого прощения.

Сердце щемило, душа болела, и с каждым шагом к дому эта боль все увеличивалась.

А когда я подошел к отверстию под крыльцом и из этого отверстия выскочила серая собака, что-то на ходу дожевывая,— я совсем пал духом и чуть не заплакал.

Вынул свой раздерганный собакой узел, осмотрел: яйца были целы, но зато кусок колбасы был съеден и кулич с одного бока изглодан почти до самой середины.

— Христос воскресе,— сказал я, заискивающе подлезая с поцелуем к щетинистым усам отца.

— Воистину!.. Что это у тебя с куличом?

— Да я по дороге... Есть захотелось,— отщипнул. И колбасы... тоже.

— Это уже после святения, надеюсь? — строго спросил отец.

— Д-да... гораздо... после.

Вся семья уселась вокруг стола и принялась за кулич, а я сидел в стороне и с ужасом думал:

— Едят! Не свяченый! Пропала вся семья.

И тут же вознес к небу наскоро сочиненную молитву:

«Отче наш! Прости их всех, не ведают бо что творят, а накажи лучше меня, только не особенно чтобы крепко... Аминь!»

Спал я плохо — душили кошмары,— а утром, придя в себя, умылся, взял преступно заработанный рубль и отправился под качели.

Мысль о качелях немного ободрила меня — увижу там праздничного Пангалова, Мотьку Колесникова... Будем кататься на перекидных, пить бузу и есть татарские чебуреки по две копейки штука.

Рубль казался богатством, и я, переходя Большую Морскую, с некоторым даже презрением оглядел двух матросов: шли они, пошатываясь, и во все горло распевали популярный в севастопольских морских сферах романс:

Ой, не плачь, Маруся,
Ты будешь моя,
Кончу мореходку —
Женюсь на тебе.

И кончали меланхолически:

Как тебе не стыдно, как тебе
не жаль,
Что мине сменила на такую дрянь!

Завывание шарманок, пронзительный писк кларнета, сотрясающие все внутренности удары огромного барабана — все это сразу приятно оглушило меня. На одной стороне кто-то плясал, на другой — грязный клоун в рыжем

парике кричал: «Месье, мадам — идите, я вам дам по мордам!» А посредине старый татарин устроил из покатой доски игру, вроде китайского биллиарда, и его густой голос изредка прорезывал всю какафонию звуков:

— А второй да бирот,— чем заставлял сильнее зажигаться все спортсменские сердца.

Цыган с большим кувшином красного лимонада, в котором аппетитно плескались тонко нарезанные лимоны, подошел ко мне:

— Панич, лимонада холодная! Две копейки одна стакана...

Было уже жарко.

— А ну, дай,— сказал я, облизав пересохшие губы.— Бери рубль, дай сдачи.

Он взял рубль, приветливо поглядел на меня и вдруг, оглянувшись и заорав на всю площадь: «Абдраман! Наконец, я тебя, подлеца, нашел!» — ринулся куда-то в сторону и замешался в толпу.

....

Я подождал пять минут, десять. Цыгана с моим рублем не было... Очевидно, радость встречи с загадочным Абдраманом совершенно изгнала в его цыганском сердце материальные обязательства перед покупателем.

Я вздохнул и, опустив голову, побрел домой.

А в сердце проснулся кто-то и громко сказал:

— Это за то, что ты Бога думал надуть, несвяченым куличом семью накормил!

И в голове проснулся кто-то другой и утешил:

— Если Бог наказал тебя, значит, пощадил семью. За одну вину двух наказаний не бывает.

— Ну, и кончено! — облегченно вздохнул я ухмыляясь.— Расквитался своими боками.

Был я мал и глуп.

Продувной мальчишка

Рождественский рассказ

В нижеследующем рассказе есть все элементы, из которых слагается обычный сантиментальный рождественский рассказ: есть маленький мальчик, есть его мама и есть

елочка, но только рассказ-то получается совсем другого сорта... Сантиментальность в нем, как говорится, и не ночевала.

Это — рассказ серьезный, немного угрюмый и отчасти жестокий, как рождественский мороз на севере, как жестока сама жизнь.

* * *

Первый разговор о елке между Володькой и мамой возник дня за 3 до Рождества, и возник не преднамеренно, а, скорее, случайно, по дурацкому звуковому совпадению.

Намазывая за вечерним чаем кусок хлеба маслом, мама откусила кусочек и поморщилась.

— Масло-то,— проворчала она,— совсем елкое...

— А у меня елка будет? — осведомился Володька, с шумом схлебывая с ложки чай.

— Еще что выдумал! Не будет у тебя елки. Не до жиру — быть бы живу. Сама без перчаток хожу.

— Ловко,— сказал Володька.— У других детей сколько угодно елков, а у меня, будто я и не человек.

— Попробуй сам устроить — тогда и увидишь.

— Ну, и устрою. Большая важность. Еще почище твоей будет. Где мой картуз?

— Опять на улицу?! И что это за ребенок такой! Скоро совсем уличным мальчишкой сделаешься!.. Был бы жив отец, он бы тебе...

Но так и не узнал Володька, что бы сделал с ним отец: мать еще только добиралась до второй половины фразы, а он уже гигантскими прыжками спускался по лестнице, меняя на некоторых поворотах способ передвижения: съезжая на перилах верхом.

На улице Володька сразу принял важный, серьезный вид, как и полагалось владельцу многотысячного сокровища.

Дело в том, что в кармане Володьки лежал огромный бриллиант, найденный им вчера на улице,— большой сверкающий камень, величиной с лесной орех.

На этот бриллиант Володька возлагал очень большие надежды: не только елка, а пожалуй, и мать можно обеспечить.

— Интересно бы знать, сколько в нем карат? — думал Володька, солидно натянув огромный картуз на самый носишко и прошмыгивая между ногами прохожих.

Вообще, нужно сказать, голова Володьки — самый прихотливый склад обрывков разных сведений, знаний, наблюдений, фраз и изречений.

В некоторых отношениях он грязно невежествен: например, откуда-то подцепил сведение, что бриллианты взвешиваются на караты, и в то же время совершенно не знает, какой губернии их город, сколько будет, если умножить 32 на 18, и почему от электрической лампочки нельзя закурить папироски.

Практическая же его мудрость вся целиком заключалась в трех поговорках, вставляемых им всюду, сообразно обстоятельствам: «Бедному жениться — ночь коротка», «Была не была — повидаться надо» и «Не до жиру — быть бы живу».

Последняя поговорка была, конечно, заимствована у матери, а первые две — черт его знает у кого.

Войдя в ювелирный магазин, Володька засунул руку в карман и спросил:

— Бриллианты покупаете?

— Ну, и покупаем, а что?

— Свесьте-ка, сколько каратов в этой штучке?

— Да это простое стекло,— усмехнувшись сказал ювелир.

— Все вы так говорите,— солидно возразил Володя.

— Ну вот, поразговаривай тут еще. Проваливай!

Многокаратный бриллиант весьма непочтительно полетел на пол.

— Эх,— кряхтя нагнулся Володя за развенчанным камнем.— Бедному жениться — ночь коротка. Сволочи! Будто не могли потерять настоящий бриллиант. Хи! Ловко, нечего сказать. Ну, что ж... Не до жиру — быть бы живу. Пойду, наймусь в театр.

Эта мысль, надо признаться, была уже давно лелеяна Володькой. Слыхивал он кое от кого, что иногда в театрах для игры требуются мальчики, но как приняться за эту штуку — он совершенно не знал.

Однако не в характере Володьки было раздумывать: дойдя до театра, он одну секунду запнулся о порог, потом смело шагнул вперед и для собственного оживления и бодрости прошептал себе под нос: «Ну, была не была — повидаться надо».

Подошел к человеку, отрывавшему билеты, и, задрав голову, спросил деловито:

— Вам мальчики тут нужны, чтоб играть?

— Пошел, пошел. Не болтайся тут.

Подождав, пока билетер отвернулся, Володька протиснулся между входящей публикой и сразу очутился перед заветной дверью, за которой гремела музыка.

— Ваш билет, молодой человек,— остановила его билетерша.

— Слушайте,— сказал Володька,— тут у вас в театре сидит один господин с черной бородой. У него дома случилось несчастье — жена умерла. Меня прислали за ним. Позовите-ка его!

— Ну, стану я там твою черную бороду искать — иди сам и ищи!

Володька, заложив руки в карманы, победоносно вступил в театр и сейчас же, высмотрев свободную ложу, уселся в ней, устремив на сцену свой критический взор.

Сзади кто-то похлопал по плечу.

Оглянулся Володька: офицер с дамой.

— Эта ложа занята,— холодно заметил Володька.

— Кем?

— Мною. Рази не видите?

Дама рассмеялась, офицер направился было к капельдинеру, но дама остановила его:

— Пусть посидит с нами, хорошо? Он такой маленький и такой важный. Хочешь с нами сидеть?

— Сидите уж,— разрешил Володька.— Это что у вас? Программка? А ну, дайте...

Так сидели трое до конца первой серии.

— Уже конец? — грустно удивился Володька, когда занавес опустился.— Бедному жениться — ночь коротка. Эта программка вам уже не нужна?

— Не нужна. Можешь взять ее на память о такой приятной встрече.

Володька деловито осведомился:

— Почем платили?

— Пять рублей *.

— Продам на вторую серию,— подумал Володька и, подцепив по пути из соседней ложи еще одну брошенную программку, бодро отправился с этим товаром к главному выходу.

---

* Кажущаяся огромной цена программы не должна, однако, удивлять читателя: мой Володька жил в Крыму — в героические времена белогвардейской Вандеи.— *А. А.*

Когда он вернулся домой, голодный, но довольный,— у него в кармане вместо фальшивого бриллианта были две настоящие пятирублевки.

* * *

На другое утро Володька, зажав в кулак свой оборотный капитал, долго бродил по улицам, присматриваясь к деловой жизни города и прикидывая глазом — во что бы лучше вложить свои денежки.

А когда он стоял у огромного зеркального окна кафе — его осенило.

— Была не была — повидаться надо,— подстегнул он сам себя, нахально входя в кафе.

— Что тебе, мальчик? — спросила продавщица.

— Скажите, пожалуйста, тут не приходила дама с серым мехом и с золотой сумочкой?

— Нет, не было.

— Ага. Ну, значит, еще не пришла. Я подожду ее.

И уселся за столик.

— Главное,— подумал он,— втереться сюда. Попробуй-ка, выгони потом: я такой рев подыму!..

Он притаился в темном уголку и стал выжидать, шныряя черными глазенками во все стороны.

Через два столика от него старик дочитал газету, сложил ее и принялся за кофе.

— Господин,— шепнул Володька, подойдя к нему.— Сколько заплатили за газету?

— Пять рублей.

— Продайте за два. Все равно ведь прочитали.

— А зачем она тебе?

— Продам. Заработаю.

— О-о... Да ты, брат, деляга. Ну, на. Вот тебе трешница сдачи. Хочешь сдобного хлеба кусочек?

— Я не нищий,— с достоинством возразил Володька.— Только вот на елку заработаю — и шабаш. Не до жиру — быть бы живу.

Через полчаса у Володьки было пять газетных листов, немного измятых, но вполне приличных на вид.

Дама с серым мехом и с золотой сумочкой так и не пришла. Есть некоторые основания думать, что существовала она только в разгоряченном Володькином воображении.

Прочитав с превеликим трудом совершенно ему непонятный заголовок: «Новая позиция Ллойд Джорджа», Володька, как безумный, помчался по улице, размахивая своими газетами и вопя во всю мочь:

— Интер-ресные новости! Новая позиция Ллойд Джорджа — цена пять рублей. Новая позиция за пять рублей!!

А перед обедом, после ряда газетных операций, его можно было видеть идущим с маленькой коробочкой конфет и сосредоточенным выражением лица, еле видимого из-под огромной фуражки.

На скамейке сидел праздный господин, лениво покуривая папиросу.

— Господин,— подошел к нему Володька.— Можно вас что-то спросить?..

— Спрашивай, отроче. Валяй!

— Если полфунта конфет — 27 штук стоят 55 рублей, так сколько стоит штука?

— Точно, брат, трудно сказать, но около двух рублей штука. А что?

— Значит, по пяти рублей выгодно продавать? Ловко! Может, купите?

— Я куплю пару с тем, чтобы ты сам их и съел.

— Нет, не надо, я не нищий. Я только торгую... Да купите! Может, знакомому мальчику отдадите.

— Эх-ма, уговорил! Ну, давай на керенку, что ли........

....

Володькина мать пришла со своей белошвейной работы поздно вечером...

На столе, за которым, положив голову на руки, сладко спал Володька, стояла крохотная елочка, украшенная парой яблок, одной свечечкой и тремя-четырьмя картонажами,— и все это имело прежалкий вид.

У основания елки были разложены подарки: чтобы не было сомнения, что кому предназначено, около цветных карандашей была положена бумажка с корявой надписью:

— «Дли Валоди».

А около пары теплых перчаток другая бумажка с еще более корявым предназначением:

— «Дли мами»...

Крепко спал продувной мальчишка, и неизвестно где, в каких сферах, витала его хитрая купеческая душонка.....

Разговор в школе

Посвящаю Ариадне Румановой[4]

Нельзя сказать, чтобы это были два враждующих лагеря. Нет — это были просто два противоположных лагеря. Два непонимающих друг друга лагеря. Два снисходительно относящихся друг к другу лагеря.

Один лагерь заключался в высокой бледной учительнице «школы для мальчиков и девочек», другой лагерь был числом побольше. Раскинулся он двумя десятками стриженых или украшенных скудными косичками головок, склоненных над ветхими партами... Все головы, как единообразно вывихнутые, скривились на левую сторону, все языки были прикушены маленькими мышиными зубенками, а у Рюхина Андрея от излишка внимания даже тонкая нитка слюны из угла рта выползла.

Скрип грифелей, запах полувысохших чернил и вздохи, вздохи — то облегчения, то натуги и напряжения — вот чем наполнялась большая полутемная комната.

А за открытым окном, вызолоченные до половины солнцем, качаются старые акации, а какая-то задорная суетливая пичуга раскричалась в зелени так, что за нее делается страшно — вдруг разрыв сердца! А издали, с реки, доносятся крики купающихся мальчишек, а лучи солнца, ласковые, теплые, как рука матери, проводящая по головенке своего любимца, лучи солнца льются с синего неба. Хорошо, черт возьми! Завизжать бы что-нибудь, захрюкать и камнем вылететь из пыльной комнаты тихого училища — побежать по сонной от зноя улице, выделывая ногами самые неожиданные курбеты.

Но нельзя. Нужно учиться.

Неожиданно среди общей творческой работы Кругликову Капитону приходит в голову сокрушительный вопрос:

— А зачем, в сущности, учиться? Действительно ли это нужно?

Кругликов Капитон — человек смелый и за словом в карман не лезет.

— А зачем мы учимся? — спрашивает он, в упор глядя на прохаживающуюся по классу учительницу.

Глаза его округлились, выпуклились, отчасти от любопытства, отчасти от ужаса, что он осмелился задать такой жуткий вопрос.

— Чудак, ей-Богу, ты человек,— усмехается учительница, проводя мягкой ладонью по его голове против шерсти.— Как зачем? Чтобы быть умными, образованными, чтобы отдавать себе отчет в окружающем.

— А если не учиться?

— Тогда и культуры никакой не будет.

— Это какой еще культуры?

— Ну... так тебе трудно сказать. Я лучше всего объясню на примере. Если бы кто-нибудь из вас был в Нью-Йорке...

— Я была,— раздается тонкий писк у самой стены.

Все изумленно оборачиваются на эту отважную путешественницу. Что такое? Откуда?

Очевидно, в школах водится особый школьный бесенок, который вертится между партами, толкает под руку и выкидывает, вообще, всякие кренделя, которые потом сваливает на ни в чем не повинных учеников... Очевидно, это он дернул Наталью Пашкову за жиденькую косичку, подтолкнул в бок,— шепнул: «Скажи, что была, скажи!».

Она и сказала.

— Стыдно врать, Наталья Пашкова. Ну, когда ты была в Нью-Йорке? С кем?

Наталья рада бы сквозь землю провалиться: действительно — чёрт ее дернул сказать это, но слово, что воробей: вылетит, не поймаешь.

— Была... Ей-Богу, была... Позавчера... с папой.

Ложь, сплошная ложь: и папы у нее нет, и позавчера она была, как и сегодня, в школе, и до Нью-Йорка три недели езды.

Наталья Пашкова легко, без усилий, разоблачается всем классом и, плачущая, растерянная, окруженная общим молчаливым презрением,— погружается в ничтожество.

— Так вот, дети, если бы кто-нибудь из вас был бы в Нью-Йорке, он бы увидел огромные многоэтажные дома, сотни несущихся вагонов трамвая, электричество, подъемные машины, и все это — благодаря культуре. Благодаря тому, что пришли образованные люди. А знаете, сколько лет этому городу? Лет сто-полтораста — не больше!!

— А что было раньше там? — спросил Рюхин Андрей, выгибая натруженную работой спину так, что она громко затрещала: будто орехи кто-нибудь просыпал.

— Раньше? А вот вы сравните, что было раньше: раньше был непроходимый лес, перепутанный лианами. В лесу

разное дикое зверье, пантеры, волки; лес переходил в дикие луга, по которым бродили огромные олени, бизоны, дикие лошади... А кроме того, в лесах и на лугах бродили индейцы, которые были страшнее диких зверей — убивали друг друга и белых и снимали с них скальп. Вот вы теперь и сравните, что лучше: дикие поля и леса со зверьем, индейцами, без домов и электричества или — широкие улицы, трамваи, электричество и полное отсутствие диких индейцев?!

Учительница одним духом выпалила эту тираду и победоносно оглядела всю свою команду: что, мол, съели?

— Вот видите, господа... И разберите сами: что лучше — культура или такое житье? Ну, вот ты, Кругликов Капитон... Скажи ты: когда, значит, лучше жилось: тогда или теперь?

Кругликов Капитон встал и, после минутного колебания, пробубнил, как майский жук:

— Тогда лучже.

— Что?! Да ты сам посуди, чудак: раньше было плохо, никаких удобств, всюду звери, индейцы, а теперь дома, трамваи, подъемные машины... Ну? Когда же лучше — тогда или теперь?

— Тогда.

— Ах ты, Господи... Ну, вот ты, Полторацкий,— скажи ты; когда было лучше: раньше или теперь?

Полторацкий недоверчиво, исподлобья глянул на учительницу (а вдруг единицу вкатит) и уверенно сказал:

— Раньше лучше было.

— О, Бог мой!! Слизняков, Гавриил!

— Лучше было. Раньшее.

— Прежде всего — не раньшее, а раньше. Да что вы, господа,— затмение у вас в голове, что ли? Тут вам и дома, и электричество...

— А на что дома? — цинично спросил толстый Фитюков.

— Как на что? А где же спать?

— А у костра? Завернулся в одеяло и спи сколько влезет. Или в повозку залезь! Повозки такие были. А то подумаешь: дома!

И он поглядел на учительницу не менее победоносно, чем до этого смотрела она.

— Но ведь электричества нет, темно, страшно...

Семен Заволдаев снисходительно поглядел на разгорячившуюся учительницу...

— Темно? А костер вам на что? Лесу много — жги сколько влезет. А днем и так себе светло.

— А вдруг зверь подберется.

— Часового с ружьем нужно выставлять, вот и не подберется. Дело известное.

— А индейцы подберутся сзади, схватят часового да на вас...

— С индейцами можно подружиться. Есть хорошие племена, приличные...

— Делаварское племя есть,— поддержал кто-то сзади.— Они белых любят. В крайнем случае можно на мустанге ускакать.

Стриженые головы сдвинулись ближе, будто чем-то объединенные,— и голоса затрещали, как сотня воробьев на ветках акации.

— А у городе у вашем одного швейцара на лифте раздавило... Вот вам и город.

— А у городе мальчик недавно под трамвай попал!

— Да просто у городе у вашем скучно — вот и все,— отрубил Слизняков Гавриил.

— Скверные вы мальчишки — просто вам не приходилось быть в лесу среди диких зверей — вот и все.

— А я была,— пискнула Наталья Пашкова, которую не оставлял в покое школьный бес.

— Врет она,— загудели ревнивые голоса.— Что ты все врешь да врешь. Ну, если ты была — почему тебя звери не съели, ну, говори?

— Станут они всякую заваль лопать,— язвительно пробормотал Кругликов Капитон.

— Кругликов!

— А чего же она... Вы же сами говорили, что врать — грех. Врет, ей-Богу, все время.

— Не врать, а лгать. Однако послушайте: вы, очевидно, меня не поняли... Ну, как же можно говорить, что раньше было лучше, когда теперь есть и хлеб, и масло, и сахар, и пирожное, а раньше этого ничего не было.

— Пирожное!!

Удар был очень силен и меток, но Кругликов Капитон быстро от него оправился.

— А плоды разные: финики, бананы — вы не считаете?! И покупать не нужно — ешь сколько влезет. Хлебное дерево тоже есть — сами же говорили... сахарный тростник. Убил себе бизона, навялил мяса и гуляй себе, как барин.

— Речки там тоже есть,— поддержал сбоку опытный рыболов.— Загни булавку да лови рыбу сколько твоей душеньке угодно.

Учительница прижимала обе руки к груди, бегала от одного к другому, кричала, волновалась, описывала все прелести городской безопасной жизни, но все ее слова отбрасывались упруго и ловко, как мячик. Оба лагеря совершенно не понимали друг друга. Культура явно трещала по всем швам, энергично осажденная, атакованная индейцами, кострами, пантерами и баобабами...

— Просто вы все скверные мальчишки,— пробормотала уничтоженная учительница, лишний раз щегольнув нелогичностью, столь свойственной ее слабому полу.— Просто вам нравятся дикие игры, стреляние из ружья — вот и все. Вот мы спросим девочек... Клавдия Кошкина — что ты нам скажешь? Когда лучше было — тогда или теперь?

Ответ был ударом грома при ясном небе.

— Тогда,— качнув огрызком косички сказала веснушчатая бледнолицая Кошкина.

— Ну, почему? Ну, скажи ты мне — почему, почему?..

— Травка тогда была... я люблю... Цветы были.

И обернулась к Кругликову — признанному специалисту по дикой, первобытной жизни:

— Цветы-то были?

— Сколько влезет было цветов,— оживился специалист,— огромадные были — тропические. Здоровенные, пахнут тебе — рви сколько влезет.

— А в городе черта пухлого найдешь ты цветы. Паршивенькая роза рубль стоит.

Посрамленная, уничтоженная учительница заметалась в последнем предсмертном усилии:

— Ну, вот пусть нам Катя Иваненко скажет... Катя! Когда было лучше?

— Тогда.

— Почему?!!

— Бизончики были,— нежно проворковала крохотная девочка, умильно склонив светлую головенку набок.

— Какие бизончики?.. Да ты их когда-нибудь видела?

— Скажи — видела! — шепнула подталкиваемая бесом Пашкова.

— Я их не видела,— призналась простодушная Катя Иваненко.— А только они, наверное, хорошенькие...

И, совсем закрыв глаза, простонала:

— Бизончики такие... Мохнатенькие, с мордочками. Я бы его на руки взяла и в мордочку поцеловала...

Кругликов — специалист по дикой жизни — дипломатично промолчал насчет неосуществимости такого буколического намерения сентиментальной Иваненко, а учительница нахмурила брови и сказала срывающимся голосом:

— Ну, хорошо же! Если вы такие — не желаю с вами разговаривать. Кончайте решение задачи, а кто не решит — пусть тут сидит хоть до вечера.

И снова наступила тишина.

И все решили задачу, кроме бедной, чистой сердцем Катерины Иваненко: бизон все время стоял между ее глазами и грифельной доской...

Сидела маленькая до сумерок.

Костя

I

Все прочие дети не любили его, маленького, хрупкого, с прозрачным личиком и причудливо растрепавшимися каштанового цвета кудрями.

Не любили. Почему?

Может быть, по той же самой причине, по которой взрослые не любят взрослых, подобных ему, светлоглазому задумчивому Косте.

Та и другая сторона меняет только возраст. А нелюбовь остается прежняя.

У детей нелюбовь к Косте общая, дружная. Стоит только приблизиться ему к пестрой, разноцветной группе мальчишек и девчонок, как со всех сторон поднимается согласный щебет и писк:

— Пошел! Пошел вон! Убирайся! Мы не хотим!

Постояв немного, он вздыхал и пробовал начать нерешительно и мягко:

— А у нас вчера во дворе дворник копал яму для дерева и наткнулся лопатой на что-то твердое. Посмотрели, а там кости, череп и большая железная шкатулка... Открыли ее, а в ней...

— Убирайся! Проваливай, не надо! Вот еще, ей-Богу, лезет тут...

Снова он покорно вздыхал и отходил в сторону. Садился на нагретую солнцем скамью сквера и погружался в задумчивость.

Какой-нибудь досужий господин, сидящий подле и тронутый его задумчиво-меланхолическим видом, опускал тяжелую руку на его хрупкое, как скорлупа яйца, темя и общительно спрашивал:

— Как тебя зовут, мальчик?

— Джим...

— А, вот как! Ты разве не русский?

— Нет, англичанин, сэр.

— Вот оно что!.. А почему же ты так хорошо говоришь по-русски?

— Мы бежали из Лондона с отцом, когда я был совсем маленьким.

— Бежали? Что ты говоришь! С какой радости вам нужно было бежать?

Задумчивые глаза ребенка поднимались к небу и с минуту следили за плывущим на неизмеримой высоте облаком.

— О, это тяжелая история, сэр. Дело в том, что мой отец убил человека.

Господин испуганно вздрагивал и чуть-чуть, так на полвершка, отодвигался от задумчивого мальчика, говорящего простым, ровным тоном столь ужасные вещи.

— Убил человека? За что?

— Вы знаете, что такое Сити, сэр?

— Черт его знает! Ну?!

— В Сити был банк, да и сейчас он есть, так называемый «Голландский Соединенный». Мой отец сначала служил там клерком, а потом, благодаря своей честности, сделался кассиром. И вот однажды ночью, когда он пришел привести в порядок немного запутанные счета, он увидел фигуру, крадущуюся по коридору по направлению к кладовым, в которых хранилось золото. Отец спрятался и стал следить... И кто же вы думаете это оказался? Директор банка! Он вошел в кладовую, набил портфель золотом и банковыми билетами и только вышмыгнул из кладовой, как отец схватил его за горло. Отец понимал, что если тот уйдет, то, конечно, вся вина за происшедшее падет на отца... Отчаяние придало ему силу. Произошла борьба, и отец задушил негодяя!.. В ту же ночь он пробрался домой, захватил меня, мы переплыли в какой-то скорлупе Темзу и бежали в Россию.

— Бедная твоя головушка,— сочувственно говорил господин, трепля малютку по плечу.— А где же твоя мать?

— Сгорела, сэр.
— Как сгорела?!
— Однажды лондонские мальчишки облили керосином на улице большую крысу и подожгли ее. В это время мимо шла за покупками моя мать. Горящая крыса в ужасе бросилась матери под пальто, и через минуту моя мать представляла собой пылающий факел...
Ребенок, печально свесив голову, умолкал, а сердобольный господин чуть не рыдал над этим несчастным сиротой, на которого, казалось, был опрокинут целый ящик Пандоры...
— Бедный крошка... Ну, пойдем, я тебя отведу домой, а то и с тобой случится что-нибудь нехорошее.
Джим тихо усмехался.
— О, нет, сэр. Со мной ничего не случится. Вы видите этот талисман? Он от всего предохраняет.
Малютка вынимал из кармана деревянную свистульку и доверчиво показывал ее своему спутнику.
— Что же это за талисман?
— Мне его дала одна старая татарка в Крыму. Мы, я помню, стояли с ней на высоком обрыве у самого моря. И что же: только что она мне его передала, как сейчас же оступилась, из-под ног ее выскользнул камень, и она полетела с громадной высоты в море.
— Чудеса! Прямо-таки чудеса. Так ты вот здесь и живешь? Ну прощай, Джим, будь счастлив, милый мальчик.
Джим бодро взбежал по лестнице, а господин долго провожал задумчивым взглядом удивительного ребенка...
Так долго стоял он, что швейцариха с подтыканной юбкой подходила к нему и спрашивала:
— Вы к кому?
— Я не к кому... Скажите, кто этот мальчик, который взбежал сейчас по лестнице?
— Это сынишка Черепициных, Костя. А что, разве?
— Как?! Разве он не англичанин?
— С какой это радости? Простой себе мальчишка. Нешто опять наврал чего-нибудь?.. И сколько это его мать не муштрует, все без толку...
— У него разве есть мать? Она жива?
— Чего ей сделается. Живехонька. Только вгонит он ее в гроб своей брехней, помяните мое слово. И что это за врущий такой мальчишка, даже удивительно!.. По всей улице его уж знают за такого, накажи меня Бог.

II

На продолжительный Костин звонок дверь открывала горничная Ульяша.

— Где это вы, Костенька, шатались до сих пор?

— На улице задержался. Там нашего дворника Степана автомобилем переехало, так я смотрел. Погляди, у меня сзади башмак не в крови?..

— Как переехало?! Степана?! Совсем?

— Да. Дело в том, что лошади взбесились и понесли какую-то красивую барыню, а Степан бросился, схватил их под уздцы...

— Ну, что вы, Костенька, врете: то лошадь, то автомобиль... Вечно какую-нибудь юрунду размажете.

— Нет, не ерунду. Эта графиня сказала, что, если его вылечат, она выйдет за него замуж.

— Ладно вам. Врите больше. Обед уже совсем застыл. Мама уехала, а старая барыня ждет вас.

Покачиваясь на тонких ногах, Костя делал таинственное лицо и шел в столовую.

— Ты чего опаздываешь? — обрушилась на него бабушка. — Где носило?

— Да я уж час назад был у самых наших дверей, да пришлось повернуть обратно. Очень интересная история.

— Что там еще?

— Понимаете, только что я подхожу к нашим дверям, смотрю: двое каких-то стоят, возятся над замочной скважиной. Один говорит другому: «Воск крепкий, оттиск не выходит», а тот, что пониже, отвечает: «Нажми сильнее, выйдет».

— Костечка! — со стоном всплескивает руками бабушка. — Да ведь ты врешь? Опять врешь?!

— Ну, хорошо, ну, пусть вру, — саркастически усмехается Костя. — А вот когда заберутся, да стянут у нас все, да прирежут нас, тогда будете знать, как вру. Мне что: мое дело — сказать...

Бабушка мечется в безысходном отчаянии:

— Костечка, да ведь ты врешь! Ведь по глазам вижу, что сейчас только выдумал?

— Выдумал? — медленно говорит Костя таким тоном, от которого делается жутко. — А если я вам этот кусок воска покажу... тогда тоже выдумал?

— Как же он к тебе попал?

— Очень просто: они сели на извозчика, я прицепился сзади, а когда мы приехали на окраину города, я пробежал мимо низенького, будто нечаянно толкнул его и в это время вынул из кармана оттиск. Вот он!..

Из кармана извлекается та же деревянная свистулька и издали показывается подслеповатой бабушке.

Сердце бабушки терзает сомнение: конечно, врет, а вдруг — правда?.. Бывают же такие случаи, что делают оттиски с замочных скважин, забираются и убивают... Еще вчера она читала о таком случае... Надо на всякий случай сказать Ульяше, чтобы закрывала ночью дверь на цепочку.

— Позови ко мне Ульяшу!

Костя послушно мчится в переднюю и испуганно кричит Ульяше, разговаривающей с кем-то по телефону:

— Ульяша?! Опять забыла завернуть на кухне кран от водопровода! Полная кухня воды, уже все вещи в окно плывут...

Телефонная трубка со стуком ударяется об стенку, Ульяша, опрокидывая все на своем пути, мчится на кухню.

Через минуту тяжелая сцена:

— Костенька!! Вы опять соврали? Опять выдумка? Вот, ей-Богу, нынче же расчет возьму, не могу больше служить...

— Мне показалось, что вода течет, — робко оправдывается Костя, глядя на разъяренную девушку молящими глазами. — Мне шум воды слышался...

Бог его знает, этого кроткого, безобидного ребенка. Может быть, ему действительно показалось, что два господина, мирно закурившие на их площадке папиросу, — на самом деле пытались снять восковые слепки с замков.

III

Вечером Костя сидел у письменного стола в кабинете отца и широко открытыми немигающими глазами глядел на быстро мелькавшие среди бумаг отцовские руки.

— Ты где был ныиче, Костя? — спросил отец.

— В сквере.

— Что там видел хорошенького?

— Видел маму Лидочки Прягиной.

— Что ты, чудачина! Ведь Лидочкина мама умерла.

— Вот это-то и удивительно. Я сижу на скамейке, а откуда-то из-за кустов вдруг такое серое облако... Ближе, ближе — смотрю Лидочкина мама. Печальная

такая. Страшно быстро подбежала к Лидочке, положила руку ей на голову, погрозила мне пальцем и тихонько ушла.

— Та-а-а-к-с,—протянул отец, глядя на сына смеющимися глазами.— Бывает.

— Что это у тебя за бумага?—осведомился Костя, заглядывая через плечо отца.— Пистолет нарисован.

— Это? Это, брат, счет из оружейного магазина. Я револьвер покупал для нашего банка.

— Револь...вер?

— Да нашему артельщику, который возит деньги.

— Револьвер?

Широко открытыми немигающими глазами глядел Костя в улыбающееся лицо отца. Его мысли уже где-то далеко. А по лицу мимолетными, неуловимыми тенями скользили какие-то легкие, еле намеченные, как паутина, мысли.

Он вздрогнул, вскочил с места и поспешно неслышными шагами выскользнул из кабинета. Как вихрь, промчался через две комнаты и, как вихрь, с растрепанными кудрями влетел в комнату мирно работающей за столом матери.

— Мама! С папой нехорошо!!

— Что такое? Что?

— Я вхожу к нему, а он лежит у стола в кабинете на ковре и около него револьвер валяется... На лбу пятнышко, а в комнате пахнет как-то странно...

Дикий страшный крик ответом ему..............................

....

— Ну, что я с ним буду делать?—плачет мать, глядя почти с ненавистью на Костю, испуганного, робко, как птичка в непогоду, прижавшегося к могучему плечу отца.— Ведь этот мальчишка своей ложью, своими выдумками может целый дом с ума свести. Горничная его ненавидит, а дети его гонят от себя, как паршивую собачонку. Прямо какой-то жуткий ребенок. Ну, ты себе можешь представить, что с ним будет, когда он вырастет!!

— К сожалению, представляю,—вполголоса говорит отец, прижимая к плечу каштановую, растрепанную голову неудачливого своего сына.— Вырастет он, и так же его будут гнать все от себя, не понимать и смеяться над ним.

— Да что ж он будет делать, когда вырастет?!

— Милая,— скорбно говорит отец, качая седеющей головой.— Он будет поэтом.

ПАНТЕОН СОВЕТОВ

МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ,

или

**Вернейшие способы,
как иметь успех
в жизни**

От автора

Молодые люди! Я вижу — некому о вас позаботиться по-настоящему... Вас с детства учат истории, географии, геометрии и тригонометрии, но скажите по совести: разве все эти науки помогают вам в обычной вашей светской и сердечной жизни? Нужна ли вам тригонометрия, когда вы объясняетесь в любви дорогой вашему сердцу женщине. И зачем вам география, если вас пригласили на свадебный обед или на похороны вашего друга, или вы приступили к изложению смешного, для забавы общества, анекдота?..

Светская жизнь — очень хитрая, запутанная штука, и не всякому удается проникнуть в ее прихотливые изгибы и завитушки.

Я проник! Я проник во все: и в психологию хорошенькой женщины, и в психологию жениха, и даже в психологию тетки жениха с материнской стороны. Я могу заботливо сопровождать вас по скользкому житейскому пути, деликатно поддерживая под руку, чтобы вы не шлепнулись носом о мать-сыру землю.

Я все могу.

Вы желаете сделаться журналистом и составлять заметки, которые вызовут сенсацию,— пожалуйста. Я вас научу этому. Желаете сказать речь над могилой вашего друга — говорите. С моей стороны никаких препятствий — сплошная поддержка. Вы — скажем — тщеславны в военном смысле слова и желаете сделаться полководцем... Кто вас научит этому? кто наставит,— как не я,— ваш вечный, ваш мудрый, ваш неизменный друг.

Вот оно, какие дела.

Ну, всего хорошего — желаю вам успеха.

Арк. Аверченко

Умение держать себя в обществе и на званом обеде

Как часто видим мы, что человек — даже способный, даже талантливый — проигрывает в жизни только потому, что не умеет держать себя в обществе...

Один известный нам господин — автор гениального труда «Нравы и привычки ихтиозавров» — погиб во мнении приличного общества только потому, что однажды на официальном обеде не только резал спаржу вилкой, но еще и пил ликер из большой рюмки, как известно, предназначенной для белого вина, а, высосав тремя мощными глотками весь ликер,— утер губы краем пышного газового рукава своей дамы, хотя для этой цели у него был под самым носом край скатерти.

Человек, изумительно изучивший нравы и привычки ихтиозавров,— не знал нравов и привычек светского общества — и общество это сурово на другой же день закрыло перед ним двери.

Конец его был ужасен. Осматривая однажды с научной целью мыльный завод, он нечаянно упал в котел с кипящим мылом и сварился там, как курица в супе.

Читатели! Если не хотите, чтобы вас постигла такая же участь,— изучите нижеследующие советы, как держать себя в обществе, и следуйте им. Советы эти пригодны для любого общества — даже для «Общества Шкодовских заводов» или «Общества кролиководства», учрежд. в 1895 году.

Приглашение на обед

Получив приглашение на званый обед, вы отнюдь не должны тащить на этот обед всех ваших приятелей, не получивших приглашения,— радушно уговаривая их:

— Да пойдем, господа! Какого дьявола вы ломаетесь. Они ребята хорошие — всех накормят.

Явиться вы должны только в том количестве, которое указано в приглашении, и явиться вы должны только за 15 минут до указанного вам часа. А то другой светский молодой человек способен забраться к хозяевам званого обеда — вечером предыдущего дня, захватив с собой халат и ночные туфли и мотивируя свой поступок так:

— Я, знаете, уж решил пораньше... Чтоб и переночевать у вас. А то — знаю я ваших гостей — опоздай на пять минут, так они родного отца слопают, не только обед.

Форма одежды — фрак или смокинг. Пижама — даже из дорогого тончайшего шелка — не произведет на присутствующих того впечатления, на которое она рассчитана в других случаях...

Войти вы должны чинно, не запыхавшись и не восклицая испуганно еще в передней:

— Не опоздал я? Вот-то волновался!! Все время подгонял вагоновожатого трамвая...

О трамвае не принято говорить в обществе. Самое лучшее — это дома вычистить брюки бензином, а когда гости потянут подозрительно носом воздух, беззаботно заявить:

— А я сейчас свой новый автомобиль пробовал!

В передней очень рекомендуется для хорошего тона потрепать снимающую с вас пальто горничную по щечке и ущипнуть за подбородок... С лакеем это делать не принято, равно как и с хозяйкой, хотя щечки и подбородок были бы у нее самые располагающие к этому игривому жесту.

Войдя в гостиную, вы не должны осведомляться с лихорадочным любопытством:

— А что у вас сегодня готовили на обед?

Самое лучшее завести светский разговор или похвалить хозяйских детей, которые, обыкновенно, до обеда вертятся тут же.

Впрочем, и о детях нужно говорить с толком...

Нам известен один господин, который не нашел ничего лучшего, как пошевелить носком сапога возившегося на ковре малютку и, зевая, спросить хозяйку:

— Ваш ребеночек?

— Мой,— расцвела хозяйка.

— От кого?

— Что значит «от кого»? — смутилась хозяйка.— От мужа!

— Ну да! Все вы так говорите. Неужели от мужа? Вот не думал! А мальчишка — вылитый секретарь вашего супруга. Здравствуй, секретаренок!

Вместо такого бестактного разговора — самое лучшее — это восхищаться ребятами, для чего особого ума не требуется.

— Ваш сынишка? Какая прелесть!! Говорит уже?

— Помилуйте — ему десятый год.

— Да вы что? Гениальный ребенок! В университете?

— Куда ж ему — он еще маленький.

— Совершенно верно — совсем грудной!

Пусть этот разговор бессмыслен, но от него так и пышет хорошим тоном.

Когда посреди этих светских разговоров лакей возвестит: «Кушать подано», не рекомендуется, перепрыгнув через кресло и оттолкнув стоящую на пути даму, мчаться с воинственным кличем в столовую. Подобный искренний порыв нужно затаить в глубине души, а вместо этого, сделав равнодушное лицо и мило упрекнув хозяйку: «Ах, зачем вы, право, тратитесь!» — предложить даме руку:

— Осчастливьте меня разрешением быть вашим соседом.

На суп рекомендуется не набрасываться с торжествующим ревом, а есть его тихо. Некоторые имеют пагубную привычку втягивать суп губами из ложки с таким свистом — будто бы вблизи работает паровозный поршень. Один англичанин рассказывал пишущему эти строки, что они ходили компанией для развлечения в один лондонский отель «слушать, как иностранцы едят суп». Читатели — запомните этот ужас!!

Не рекомендуется также есть мясо или другую какую пищу с ножа, хотя бы после этого на губах порезов и не наблюдалось.

В книге «Светский тон» ясно сказано:

— ...Дали тебе, подлецу, вилку — так ты и ешь вилкой.

Жестоко, но верно.

Во время обеда не следует задавать хозяйке меркантильных вопросов вроде:

— Почем покупали рыбу?

И если даже хозяйка ответит:

— По $5^1/_2$ марок.

Не следует просить моляще:

— Ну, дайте мне еще кусочек пфеннигов на шестьдесят!

Когда подадут десерт — не надо спрашивать разочарованно хозяйку:

— Уже сладкое? Это и весь обед?! А я думал — еще цыплята будут!.. Знал бы, так лучше к Мамевкиным пошел!..

Мы знали таких рассеянных гостей, которые, пообедав, стучали ножом о тарелку и бодро кричали:

— Человек! Счет!

От этого следует удерживаться, хотя в глубине души такой результат обеда и был бы приятен хозяевам дома...

Уходить нужно не сразу после обеда, дожевывая в передней грушу. Посидите еще минут 20 и только потом,

как будто случайно взглянув на часы, озабоченно вскрикните:

— О, ля-ля!! Уже седьмой час... А меня на заседании ждут.

Уходя, не забудьте поцеловать руку хозяйке и дайте горничной на чай. Если перепутаете эти два светских поступка — то вызовете тем неудовольствие и хозяйки, и горничной...

Со своей стороны, рекомендуем хозяевам провожать гостей до самой передней...

Во-первых, это вежливо, во-вторых, и гость не утянет вместо своего — чужое пальто.

Как держать себя на свадьбе

Самая существенная разница между свадьбой и похоронами та, что на похоронах плачут немедленно, а после свадьбы только через год. Впрочем, иногда плачут и на другой день.

В великосветских кругах празднуют только свадьбу. Развод не принято праздновать. Хотя радости во втором случае, конечно, больше.

Нижеследующие советы — как держать себя на свадьбе и на похоронах — очень пригодны как, вообще, для пытливого ума читателя, так и для тех людей, которые без подобного руководства способны заплакать на свадьбе или заплясать на похоронах.

Положение жениха на свадьбе неизмеримо затруднительнее, чем положение приглашенного гостя: гость в крайнем случае может и не приехать, а отсутствие жениха в венчальной процедуре иногда основательно омрачает общее веселье.

Впрочем, я знал жениха, который перед самой свадьбой заявил с беззаботным видом своей невесте:

— Я на часок поеду по делам. А если опоздаю в церковь — начинайте без меня.

Если я скажу, что жених этот был почетным членом Археологического общества — читатель не будет очень удивлен вышеизложенным бессмысленным заявлением.

Итак — «вернемся к нашим баранам», как говорят французы. Вернемся к жениху.

Если выразиться возвышенным слогом — положение его самое дурацкое. Представьте себе молодого человека, с растерянным, искаженным лицом, бледного, с трясущи-

мися руками, заключенного в черный фрак и в цилиндр, замкнутого в белый шелковый жилет, зажатого в лаковые ботинки, выслушивающего идиотские поздравления и шуточки друзей, наставления родителей, и безмолвное, остолбенелое, истерическое любопытство полдюжины горничных, прачек с ближайшего квартала и мальчишек из бакалейной лавки, забравшихся спозаранку в церковь, чтобы «видеть жениха и невесту».

Один очень культурный умный человек рассказывал мне, что для него было самым трудным в жизни — это выдержать инквизиторский осмотр нескольких горничных и мальчика — продавца папирос, которые (не папиросы, а эта публика) подвергли его в церкви ураганному огню перекрестных взглядов и критических замечаний.

— Бедненький,— вздохнула пожилая кухарка,— такой молоденький! Губы-то как трясутся, не сладко, поди, ему!

— А ты думаешь! У нас намедни в лавочке говорили, что невеста-то — чужая жена. Застал их муж — да пистолетом и уговорил его жениться.

— Да что ты! А он хорошенький...

— Тоже — нашла красоту. Одна ноздря, и больше ничего.

— Свинячий жених,— строго осудил папиросный мальчишка, толкнув горничную в грудь локтем, чем снискал полное ее сочувствие.

От этой падкой на зрелища публики не скроется ничто. Малейший штрих будет осмотрен острыми глазами и обсужден:

— У невесты-то, гляди, гляди!.. Глаза красные.

— Нос у нее красный, а не глаза.

— А губы намазала так, что краска сшлется.

— А у жениха сбоку лаковый башмак лопнул! Хи-хи! Видали!

Я лично думаю, что под такими инквизиторскими взглядами сам Мунэ-Сюлли не мог бы сохранить присутствие духа и импозантность...

Знавал я женихов, которые в этих случаях или прятались, смущенные, в церковный притвор, или (что еще хуже) пытались с наружной беззаботностью насвистывать веселую мелодию.

Вернемся к свадебному гостю.

Главное, что от него требуется,— это неувядаемая жизнерадостность и умение сказать во время свадебного пира приличный случаю тост.

На свадьбу он должен явиться также во фраке, в белом жилете и в белых перчатках, с веселым лицом даже в том случае, если он только что вернулся с похорон любимого друга.

В руках — букет белых роз (хотя бы и стащенный украдкой с гроба того же безропотного друга).

Подлетев к невесте и передавая ей букет, гость должен сказать небольшую речь:

— Дорогая такая-то, пусть эти чистые невинные цветы будут залогом вашего чистого будущего счастья и символом вашей нынешней невинности и целомудрия...

Последние слова можно говорить даже в том случае, если невеста до свадьбы прожила десять лет на иждивении владельца дровяного склада...

Подаренный букет нельзя отбирать обратно, хотя бы за свадебным пиром вас обнесли мороженым или подсунули кислое вино.

А то человек, одержимый мелким самолюбием, может перед уходом подойти к невесте и заявить на ухо:

— Ну, и накормили! Ну, и напоили! Не вино, а уксус. Я вам там дал букет, так вы его, голубушка, верните-ка мне обратно. У меня через два дня еще одна свадьба. Полью букетик водичкой — и опять он, голубчик, у меня в работу...

Застольные речи на свадьбе — очень тонкая штука. Нужно сказать так, чтобы никого не обидеть, чтобы всем было приятно.

Я помню то неблагоприятное впечатление, какое произвела речь сатирически настроенного гостя на свадьбе одного моего знакомого:

— Ну-с, — сказал он. — Позвольте и мне поздравить новобрачных. Я бы мог пожелать жениху долгой жизни, если бы не боялся, что тот... гм! гм! образ жизни, который жених вел до брака, — сделает мое пожелание совершенно бесцельным. Ох, нужно тебе, Вася, заняться своим здоровьем, ох, как нужно! Я бы мог пожелать невесте пару хорошеньких деток, если бы она уже не поторопилась до свадьбы наполовину исполнить мое это пожелание!.. Поздравляю я также и родителей невесты! И есть, с чем поздравить! Экую обузу с плеч свалили... Правда, домик, что дали мужу в приданое, строен в полтора кирпича, да и фундамент уже осел от сырости, но так как, полагаю, дом этот будет немедленно заложен сияющим новобрачным — так о чем же

тут говорить?! Желаю я счастья и уважаемой матери жениха. Льщу себя надеждой, что сын ее не будет поступать так со своей женой, как его папаша, разбивавший о голову своей супруги любые предметы стеклянного производства, находившиеся в районе военных действий. Рад я и за двух теток невесты — наконец-то они поедят сегодня как следует, да и не только поедят, а еще и дома что-нибудь останется... Хотя должен предупредить, что сунутые в ридикюль две столовые ложки суть не серебряные, а фраже... Хе-хе — ошибочка, тетеньки, вышла... Я кончаю, господа! Пью за здоровье всех присутствующих и очень сожалею, что большинство из них не может мне ответить тем же, потому что публика уже налилась до краев... Ур-ра!!!

Констатирую, что эта речь не только не имела успеха, а наоборот, в прихожей при разъезде неизвестный оппонент ударил оратора по голове эмалированной плевательницей...

Во избежание таких недоразумений я предлагаю образец вполне благопристойной свадебной речи, которая должна удовлетворить многих:

— Милостивые государи и милостивые государыни! Я вижу под сенью этой крыши цветущую молодость и мудрую старость, которые соединились здесь роскошной причудливой гирляндой. Что же за день такой, что это за событие?! Вы скажете — очень просто: Петр Николаич женится на Верочке и берет за ней сорок пять тысяч приданого, не считая перин и столового серебра... О господа! Как вы поверхностно смотрите на то, что здесь происходит. Перед вами, господа, творится великая тайна — тайна зарождения будущей плодотворной ячейки, из которых составляется государство!! (Одобрение присутствующих.) Петр Николаич исполнил наконец-таки свой долг перед государством и перед обществом. И если вы посмотрите на очаровательную невесту, то скажете: «И какой приятный долг!» Да, господа... я и сам бы не прочь... гм... гм... (Общий смех, рукоплескания.) Но для меня путь этот закрыт, отчасти потому, что я — закоренелый женоненавистник, отчасти же потому, что, к сожалению, я уже женат 18 лет... (Движение на левой, где жена оратора.) Господа! Я поднимаю тост за жениха, за этого мужественного благородного человека и прекрасного друга, я пью за невесту, которая, дожив до 19 лет, ухитрилась донести до семейного очага свою чистоту и невинность, я пью за будущих детей, которые, если

унаследуют характер своих родителей,— будут сплошь членами парламента и министрами-президентами!! И за родителей невесты я пью, за родителей, щедрой рукой (45 тысяч и 3 перины) снабдивших цветущую пару земными благами... (Восторг родителей, аплодисменты...) Пью я и за престарелую тетку жениха, которая сумела вынести под сердцем такое сокровище, как ее сынишка Федя, из скромности уже полчаса как скрывшийся и лежащий под этим обильным столом... И наконец, последний мой тост за того неизвестного мне господина, который, пролив красное вино на скатерть, усиленно засыпает пятно солью,— это настоящий друг семьи, который ни в чем не нанесет ущерба... (Аплодисменты, крики, переходящие в овацию.)

Здесь оратор должен отпить из своего бокала и шаловливо крикнуть: «Горько», что, как известно, по русскому обычаю, влечет за собой поцелуй жениха и невесты, чтобы «подсластить» это горькое вино.

Этот русский обычай применяется только на свадьбе. Впоследствии он видоизменяется: уже не муж с женой целуется, когда посторонний господин кричит «горько», а посторонний господин целует его жену, и кричать «горько» приходится мужу...

Но вот свадьба окончена. Все, безусловно, должны разъехаться по домам, и нельзя напрашиваться переночевать в комнате новобрачных, хотя бы на том основании, что я «старый друг и не могу стеснить»...

* * *

Следующий очерк, «Как держать себя на похоронах», я напишу, если к тому времени не буду занят на собственных похоронах.

Как держать себя на похоронах

В смерти есть тайна. Поэтому к похоронам нужно подходить благоговейно, деликатно. Шутки здесь неуместны. Меня почему-то считают юмористом, но я умею быть серьезным.

Меня однажды очень обидели слова моего друга, писателя, с которым мы встретились на каких-то похоронах... Увидев меня, он подошел и сурово спросил:

— Зачем вы здесь?

— А почему же мне не быть здесь?!

— Гм. Что же здесь смешного?!

Этот грубый человек забыл, что у меня, кроме смеха, есть еще и сердце. На упомянутых похоронах я рыдал так, что дал вдове сто очков вперед, а на кладбище обскакал ее на две головы, закатив такую истерику, что распорядитель попросил меня выйти вон, чтобы не нарушать благолепия церемонии.

— Попробуйте только меня тронуть,— кротко возразил я распорядителю.— Сами покойником будете!

И я остался, и я говорил речь на могильной насыпи, и эту речь я считаю одним из лучших своих литературных произведений.

— Кого мы хороним?!—воскликнул я, обведя присутствующих горестным взглядом.

На этот вопрос любой из присутствующих мог бы ответить, что «хороним мы Игнатия Фомича Зябкина, а если я не знаю такой простой вещи, то лучше бы мне и не взбираться на могильный холм»...

Но все промолчали, потому что поняли: такая фраза всегда говорится ораторами для разгона.

— Кого мы потеряли?!—взывал я (промолчали и на этот вопрос),— Игнатия Зябкина мы потеряли—вот кого! Ты среди нас сиял, как солнце... (по правде сказать, сиял не весь покойник, а только самая верхушка—лысина, но фраза вышла очень звучная... Правда?) Ты озарял этими лучами всех, кто тебе был близок (жену, любовницу и четырех детей от той и от другой), ты своим талантом поднимал и украшал русскую промышленность и торговлю (покойник имел скобяной и москательный магазины), и вот — ты на небесах оказался нужнее, чем на этой грешной земле, и Всевышний потребовал тебя к себе (удар пивной бутылкой по темени в трактире «Балканы» ускорил это желание Всевышнего).

Так спи же, Игнатий,— ты, чудный человек, отец и гражданин!! Земля тебе пухом, и пусть ангелы небесные охраняют последний кров твой... не тяните за рукав—пальто порвете!.. (Последняя фраза относилась, конечно, к распорядителю, который сгонял меня с могилы, не могши перенести моего шумного успеха.)

Вот случай, который доказывает, что бывают моменты, когда и я умею быть серьезным, и поэтому о похоронах я буду писать с полным знанием дела.

* * *

Вы, скажем, узнаете, что умер ваш приятель. Вы надеваете на рукав креповую повязку (она стоит совсем гроши) и, выработав себе перед зеркалом выражение лица, полное тихой скорби и уныния, отправляетесь к вдове покойника.

Она, прижав платок к глазам, спросит:

— Слышали вы, какое у меня горе?

Отвечаете:

— Да, да. Вполне разделяю вашу скорбь. Но... ему там лучше будет...

Лучше или хуже — это неважно, но вышеуказанные слова очень успокоительны. Можете еще добавить:

— Бог дал, Бог и взял.

Или:

— Все под Богом ходим.

Если вдова осведомится у вас для порядка:

— На похоронах будете?

Не надо расшаркиваться и радостно восклицать:

— Я-то? Да с наслаждением! За удовольствие почту!

Надлежит свесить голову и скорбно ответить:

— Это мой долг.

Тут к вам подойдет другой сочувствующий, и так как говорить о чем-нибудь постороннем, вроде премьеры в «Варьете» или биллиардном проигрыше в близлежащей пивной,— не принято, то он скорбно осведомится:

— Будете на похоронах Ивана Николаевича?

Вы не должны задорно возражать:

— Вот еще, с какой стати! А он на моих похоронах будет?..

Ибо перед отверстой могилой умолкают все мелкие светские счеты визитами...

* * *

На кладбище идите с печально опущенной головой, изредка вздыхая и покачивая ею; перемигиваться со встречной барышней — хотя бы и царственно прекрасной — не следует. Если устанете — можете влезть в медленно движущуюся сзади карету. Если все кареты уже заняты — не пытайтесь взлезть на катафалк к покойнику, хотя бы под тем предлогом, что вы с ним были

на «ты». Будет время — еще успеете наездиться в катафалке.

В момент последнего печального обряда зорко следите за вдовой, потому что эта публика любит рваться к отверстой могиле и кричать: «Пустите меня к нему»!

Вы должны ловко подхватить ее под руку и успокоительно шепнуть:

— Куда вы? Ведь покойник изменял вам на каждом шагу и в пьяном виде бросал вам в голову все предметы домашнего обихода. Вспомните-ка! Да и ваши отношения с репетитором сынишки таковы, что лучше я вас к нему пущу, к репетитору. Хотите?

Эти правдивые слова могут пролить бальзам на самое измученное, разбитое сердце.

Речей старайтесь не говорить, потому что вам до меня далеко и такую речь, какую произнес я на могиле скобяного Игнатия,— вам произнести не удастся.

Пусть говорят другие, а вы стойте в стороне и учитесь. Еще один совет: если произнесенная кем-либо прочувствованная речь привела вас в восторг, пожалуйста, не аплодируйте и не кричите одобрительно «бр-раво! Бис!! Ловко, шельмец, запшаривает!» Помните — здесь витает душа усопшего, да и распорядитель по головке не погладит.

Вообще, похороны — вещь серьезная, и ничто не должно нарушать их строгой величавости... Когда пьяный механик в кинематографе, демонстрируя похороны какой-нибудь знаменитости (я это видел однажды),— начинает вертеть ручку аппарата шибче, чем нужно,— получается зрелище совершенно непристойное: впереди радостно скачут священники, будто Максы Линдеры убегают от погони, за ними резвой рысью летят погребальные лошади, увлекая молниеносно мчащийся катафалк, а сзади стремительно несутся друзья покойного, будто опасаясь пропустить поминальный обед.

В довершение всего пианист, сослепу не разобрав, в чем дело, начал с треском наигрывать очень милую, в других случаях, песенку:

Сегодня я не в духе,
Ужасно колiет в ухе,
Вчера один нахал
Мне ухо искусал!..

и, таким образом, все благолепие и пышность погребального обряда свелись в упомянутом мной случае на нет.

В петербургской хронике имеется факт еще неприличнее — петербуржцы и до сих пор помнят его: везли однажды по Садовой покойника — и вдруг из-за угла стремглав выскочил трамвай; налетел на катафалк, опрокинул его, выбросил на мостовую гроб, и вдруг все с ужасом заметили, что из гроба вылез покойник и, потирая ушибленную ногу, завопил:

— Черти полосатые! Ездить не умеете. Мало вас, скотов, штрафуют.

Это непредвиденное обстоятельство совершенно испортило похороны: покойник, заботливо и хозяйственно собрав остатки дорогого дубового гроба, уехал на извозчике домой, духовенство и провожавшие сконфуженно рассеялись кто куда, пустую могилу пришлось засыпать, а вторую половину поминального обеда выбросили — испортилась, хотя все радостное семейство покойного и загубило себе желудки первой половиной.

Я бы не хотел умереть так двусмысленно.

* * *

Кстати, о поминальном обеде.

Мне часто случалось присутствовать на таких обедах, и должен сознаться, что они проходят превесело...

Я так и не мог докопаться до разгадки этой странности: то ли — вернувшиеся с похорон рады, что не их закопали, то ли — они довольны, что развязались-таки, наконец, с никому не нужным мертвым телом, а может быть, вкусная закуска с выпивкой веселит все сердца, — не знаю; но я заметил, что все на поминальных обедах бывают очень оживленны и, пожирая пироги и закуску, не успевают даже бросить вдове или врачу небрежную обязательную фразу:

— Там ему (или ей) лучше будет!

Или:

— Бог дал, Бог и взял.

Не до того друзьям. Кончают иногда и тем, что поднимают тост за здоровье усопшего, рассказывая препикантные анекдоты из его сердечных похождений...

Забавная скотина — человек. Веселая скотина.

* * *

В заключение я должен сознаться в своей неопытности в одном смысле: я прекрасно знаю ритуал обыкновенных старинных похорон: с гробом, катафалком и могилой, но теперь пошла мода на сжигание трупов в крематориях, и как при этом нужно себя держать — совершенно неизвестно.

Ритуал еще не выработался, не окостенел.

Вообще, я против таких похорон.

Один очень скромный достойный молодой человек со скорбью и ужасом рассказывал мне, как он вычистил собственные зубы собственной бабушкой.

Приехал он к родным, когда бабушку уже сожгли в крематории по новой моде, погоревал с полдня (много ли нужно для старушки), а вечером отошел ко сну... Проснулся рано утром, приступил к умыванию — хвать-похвать — зубного порошку нет.

Стал шарить по комнате — видит: на подоконнике стоит сигарная коробка, а в ней — полно пепла.

Вспомнил, что пеплом тоже хорошо чистить зубы — вычистил.

А к чаю, когда за столом собралась вся семья,— мать его и говорит:

— Слава Богу, наконец-то мраморщик привез заказанную урну!..

— Какую урну?

— А для бабушки. Пепел в урну положим. А то держать его в сигарной коробке — прямо-таки неуважение к покойнице!

Читатель, может быть, усомнится. Но, клянусь честью — это факт.

Жизнь любит иногда подшутить и посмеяться даже над смертью.

Видел же я в городе Орле наклейку на окне одного гробовщика:

«Здесь продаются модные гробы „Танго"...»

Смерть опошлили, начиная с гроба и кончая траурной креповой повязкой на руке. Еще счастье носителей повязок, что ширина повязки не должна быть прямо пропорциональна скорби об усопшем.

А то — многим пришлось бы перевязать руку черной швейной ниткой.

Советы начинающим полководцам

(Как выигрывать войны)

Введение

Теперь, когда почти весь мир грозно бряцает оружием, когда международные тучи сгустились до невозможности, мои советы начинающим полководцам должны сделаться настольной книгой для всякого неопытного полководца...

Все мы знаем, что у всякого военачальника во время войны есть только одно безудержное стремление: победить врага!

Но как это сделать, с чего начать и чем кончить? Неопытный человек решительно не знает.

А неопытность — в военном деле — ужасная вещь.

Пока такой человек раздумывает, да примеривается, да взвешивает — у него постепенно отбирают крепости, потом броненосцы, забирают в плен всех солдат, и вот наш неопытный полководец в один прекрасный день видит себя одиноко сидящим на лошади или миноносце, размахивающим победоносно золотым оружием «За храбрость»,— но без войска, броненосцев и крепостей.

Что остается делать такому полководцу?

Извиниться перед родиной — выйти в отставку и заняться выпиливанием по дереву, игрой на окарине или коллекционированием почтовых марок — три поприща, которые почему-то привлекают сердца всех неудачников...

Чтобы этого не случилось — я позволяю себе дать ряд полезных советов и указаний на предмет:

«Как вести войну».

Как найти средства для ведения войны

Надлежит изготовить в главном штабе около десятка планов мобилизации, расположения крепостей, диспозиции и статистических данных о количестве и месте расположения ваших войск. Все изготовленное поручить наиболее расторопному и плутоватому чиновнику штаба продать соседним державам, содрав с них за такой лакомый кусок несколько десятков миллионов.

Вообразите же себе удивление и злость этих держав, когда все планы и сведения окажутся фальшивыми, а вы имеете лишних несколько миллионов для ведения победоносной войны...

Как обезопасить свою страну от вторжения врага

Наиболее действенным можно признать следующий способ: на границе устанавливается ряд деревянных столбов через каждую сажень с прибитыми к верхушке каждого столба дощечками, на которых написано: «Вход посторонним строго воспрещается».

Можно легко представить себе ярость и бессильный гнев противника, когда он, дойдя до этой естественной преграды,— остановится и, потоптавшись на месте, должен будет уйти восвояси...

Некоторые стратеги, кроме того, советуют еще применять способ с зеркалом, заключающийся в следующем: на поле устанавливается громадное, в несколько верст, зеркало. Неприятель, победоносно шагая по полю, вдруг видит против себя другого неприятеля, шагающего ему навстречу не менее победоносно...

Тогда настоящему неприятелю ничего не остается сделать, как повернуться и убежать от своего собственного отражения.

Мы не рекомендуем этого способа по одной причине: а вдруг неприятель не испугается, а начнет стрелять... Что тогда? И хитрость будет раскрыта, и дорогое зеркало испорчено.

Нет, это не научный способ, это — утопия.

Первый способ ведения войны

Выследив место расположения неприятеля, вы начинаете возводить вокруг него высокую крепкую стену. Сначала неприятель будет только радоваться этому, видя в такой стене удобную крепость для себя. Но радость его — преждевременна.

Ясно, что, когда вы замкнете неприятеля этой стеной, он очутится как в ловушке, и ему ничего не останется, как сдаться на позорных условиях или помереть с голодухи.

Второй способ ведения войны

(Бескровный)

Для задуманной вами цели нужен специальный человек, но, мы полагаем, среди вашей многочисленной армии найти его нетрудно. Вы даете ему инструкции, он идет к аванпостам и заявляет, что его прислали вести переговоры с вражеским военачальником...

Военачальник обыкновенно ловится на эту удочку: принимает вашего посланника, который оказывается лишь ловким гипнотизером. Полчаса глаз на глаз — и остальное ясно: вражеский начальник приказывает своей армии сдаться, отдает свои пушки, провиант и сам попадает в плен. Конечно, никому и в голову не придет, что это дело рук загипнотизировавшего его вашего посланника.

Морской бой

Принцип всякой морской кампании — это вывести из строя как можно больше неприятельских судов.

Вот способ, который почти всегда удается: узнав тот фарватер, в котором крейсирует неприятельская эскадра,— вы выбираете самое глубокое место и насыпаете на дно громадную земляную гору, чуть-чуть выдающуюся из воды...

Вообразите же удивление броненосца, когда он, идя на всех парах по известному на картах глубокому месту, вдруг со всего размаху налетает брюхом на мель.

Самый хитрый способ ведения войны

Вы изобретаете пушку, ядро которой летит несколько десятков тысяч верст по прямой линии, не останавливаясь, и продаете с самым невинным видом через подставное лицо — это ужасное изобретение неприятелям.

Они не замечают той страшной ловушки, которую вы им готовите, и, устроив такую пушку, стреляют в вас. Ядро преспокойно полетит, огибая весь земной шар, возвращается с противоположной стороны на старое место и бьет несчастных артиллеристов прямо по затылку.

Вообразите же их удивление, когда и т. д.

Средство против аэропланов

Существует мнение, что борьба с вражеской воздушной эскадрильей совершенно невозможна.

Но и тут умный полководец может найтись.

Как известно, у всех неприятельских пилотов есть подробные карты вашей страны, в которых указано местоположение городов, лесов и направление рек.

Что же делаете вы?

Да очень просто: стоит только вам перевести города совсем в другое место, выдернуть с корнем лесные деревья и вкопать их на место городов, а русло рек отвести совсем в другую сторону. Что же получится? Ясно: неприятель покрутится, покрутится, полетает, полетает да и плюнет на все это дело.

Вернется на свои позиции и заявит начальству:

— Мы ничего не понимаем. Очевидно, это совсем другая страна, с которой мы не воюем.

Заключение

Вот те несколько военных приемов, применяя которые молодой полководец всегда выиграет войну.

Но, конечно, еще с большей уверенностью можно гарантировать полководцу выигрыш войны, если все предлагаемые мною вышеизложенные приемы будет применять не он, а неприятель.

ПРИЛОЖЕНИЕ К «ПАНТЕОНУ СОВЕТОВ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ»

Пасхальные советы

Введение

О, лучший из праздников, когда колокола, сладко волнуя сердце мелодичным и гулким звоном,— будят в душе грустные ласковые воспоминания о былом, о празднике пышной весны, когда ароматные почки на деревьях радостно распускаются... впрочем, им хорошо распускаться, когда никаких расходов они не несут, а мы, люди, и тому должны

заткнуть глотку и этому, да подарки разные, да «на чай»... И что это еще такое за «на чай»?! Один разврат. И без чаев хороши будут.

Об ароматных почках да и мелодичных колоколах это у меня к слову пришлось, а вообще я человек деловой и подхожу к пасхальным вопросам с утилитарной точки зрения...

Цель моя — научить читателей, как по-христиански, но безубыточно отпраздновать Пасху, когда колокола мелодичным звоном будят в душе...— впрочем, об этом я уже говорил. Ни к чему это все. Главное — практичность. Вот, например:

Праздничные подарки

Жену имеете? И детей? И кухарку?

И напрасно. Не такое теперь время, чтоб на своей шее всю эту публику держать.

Но раз глупость уже сделана — нужно подумать,— как же выйти из этого положения? Жена-то, небось, спит и видит бриллиантовое колечко, да и детишки, как молодые крокодилята, пасти пораскрывали на ящик с красками или на собрание сочинений Жюля Верна. А кухарка уже целую неделю страшно щелкает крепкими зубами, предчувствуя впереди сарпинку на кофточку.

Сарпинку тебе? О душе нужно подумать, матушка!

Для того, чтобы избежать всех этих расходов, хозяин должен обзавестись сущими пустяками: одним анонимным письмом, изготовленным собственными средствами, одним дохлым мышонком и надтреснутым бракованным блюдом, которое за гроши можно купить в любом посудном магазине.

И вот, скажем, приходите вы в Страстную пятницу домой к обеду с дохлым мышонком в одном кармане, с анонимным письмом в другом и с треснутым блюдом, завернутым в бумагу,— под мышкой.

— Обедать! — радостно кричите вы.— Обедать! Я голоден как волк... А я сегодня, друзья мои, по случаю купил чудную, замечательную вещь — старинное блюдо Императорского фарфорового завода. Цены нет этому блюду! Ну-ка, Миша, разверни.

Ваш сынишка доверчиво начинает распутывать накрученную вами бечевку и снимать с блюда несколько слоев бумаги...

— Развернул? Ну-ка, полюбуйт... Это что такое? Почему трещина?! Разве тебе можно поручать что-нибудь, паршивец этакий!!! Расколол!!!

Орите во все горло:

— Нежная старинная вещь!! Пятьсот рублей стоит, а ты, как ломовик, набросился. Разве я тебя для того рожал, чтобы ты мне блюда бил... Сегодня блюдо разбил, завтра всю посуду перебьешь, а послезавтра отца начнешь бить... Это что?! Слезы?! Вон из-за стола!! Блюдо полторы тысячи стоит, а он своими копытами... Вон! (эквивалент ящика с красками и Жюля Верна, глядишь, и в кармане остался).

Если жена кротко запротестует — орите дольше:

— У людей дети, как дети, а у нас... На кого же я, спрашивается, работаю, минутки свободной не имею?! Вот, например, утром еще получил письмо — до сих пор пяти минут не имел — прочесть! Ты позволишь, милая?

— Читай,— кротко говорит жена.— Какие там церемонии.

Вы извлекаете из конверта анонимное письмо и начинаете громко читать:

«Здравствуйте, обманутый дурак! В то время, как вы заботитесь о семье, хлопочете — ваша жена дарит своей благосклонностью другого... Спросите у нее — у кого она была позавчера и почему ее головные шпильки очутились на подзеркальнике известного донжуана Пробиркина?! Прощайте, тупой осел!»

Жена, конечно, заплачет, но... ничего. Женские слезы, как говорится, вода, а колечко так и останется торчать в витрине ювелира. Вот вам и экономия!

Наконец, подают суп. Пользуясь тем, что жена продолжает рыдать в салфетку, выньте дохлого мышонка и подсуньте его в свою тарелку...

Орите:

— Что это?! Мертвое животное в супе?!! Чумная крыса?! Отравить нас хотят?! Аксинья!! Поглядите-ка!.. Надеюсь, сама понимаешь...

И меркнет, тухнет в пылких кухаркиных очах долгожданная сарпинка...

До сарпинки ли тут, когда барина колесом от ярости скорчило.

Если же вы по доброте душевной считаете эти остроумные приемы жестокими,— то, так и быть, сделайте своим домашним такие подарки: жене — коробочку хороших сигар или бритвенный прибор, сынишке лампу для гостиной или материи на халат, а кухарке — собрание сочинений Эмиля Золя. Не знаю, как им, но вам — эти подарки доставят тихую радость...

Устройство пасхального стола

О, сколько красоты и поэзии в праздничном столе, накрытом белоснежной скатертью!..

Сколько дразнящего, будящего аппетит в этих группах разноцветных водок и вин; каким дьявольским соблазнительным топазом сверкает мартелевский коньяк, как сочно и плотно лежат в коробке ле-маршановские сардины! А этот огромный запеченный окорок, украшенный курчавой разноцветной бумагой, с румяной коркой, художественно утыканной черненькими пятнами гвоздички?! А эта зернистая икра, свежая, пахнущая морем, в круглой большой жестянке?! Да-с! Хорошо-то оно хорошо, а пойдите, купите — без рубашки останетесь.

А разве визитер оценит? Он думает — все это так и полагается! По-моему, достаточно ему рюмки водки и куска вареной колбасы. Пусть и за это будет благодарен...

А стол все-таки украсьте как у людей.

Делайте же это так:

Вина. Поставьте несколько запечатанных бутылок (можно взять в магазине напрокат), достаньте пустую бутылку из-под коньяку, налейте ее чаем и поставьте на видное место. Других же вин не откупоривайте — ради Бога! Потому — визитер твердо помнит правило: раз вино откупорено — его надо пить. И водки выпьет — хорош будет.

Окорок. Срежьте с окорока все мясо, спрячьте его подальше, покройте масталыгу кожей — пусть стоит.

Сардины. Металлический язычок, что торчит в одном углу коробки,— незаметно подпилите напильником.

Яйца. Вымажьте их красными и черными ализориновыми копировальными чернилами. Рекомендую: дьявольски линяют.

З е р н и с т а я и к р а. В пустую коробку из-под икры налейте доверху жидкого столярного клею. Плотно закройте крышкой. Дайте высохнуть.

Вот и все праздничные хлопоты.

Теперь — предположим, пришли визитеры...

Вы (радостно):

— А-а, гости дорогие! Христос воскресе! Воистину! Ну, не грех и закусить чем Бог послал... Вам чего прикажете? Водочки?

— Нет, уж, знаете, я коньяку...

— Пожалуйста!! Настоящий Мартель (берете в руку, смотрите на свет. Любовно подбрасывая, как ребенка, нечаянно роняете на пол с расчетом, чтобы бутылка разбилась...) Ах, черт возьми! Какое несчастье! Что ж теперь делать? Придется уж водочки. Закусите, пожалуйста. Ветчинки?!

— Режьте, господа, сами, не стесняйтесь, будьте как дома! Что?.. Одна кость там? А! это до вас Петр Иванович был — так он, тово... Хе-хе... Весь окорочок усидел. А может, яичек? Не хотите? А вот сардинки. Сейчас открою! Где ключ?.. Тр-рах!!

— Эх, неудача. Язычок сломался. Теперь как ее откроешь, проклятую... Икры вам предложить, что ли? Открывайте банку, накладывайте столовой ложкой! Что? Плотно закрыта? А вы покрутите. Нет? Не открывается? Гм... Разве в теплую воду поставить, может, отойдет через часик крышка. А пока — колбаски рекомендую — дивная колбаса! Трипль — сек. За ваше здоровье!..

....

— Уже уходите? Ну — всего вам, всего-всего хорошего. Спасибо, что не погнушались хлебом-солью.

Прилично вышло? Прилично. Дешево. Ну так чего ж вам еще?!

Как изготовить дешевый сытный обед

На праздники хочется пообедать особенно вкусно и особенно сытно.

Как же изготовить себе наиболее дешевый и наиболее вкусный обед?

Вот один из самых приемлемых способов, которых не найдете ни в одной поваренной книге...

Взять столовую ложку бензину. Взять чистенькую тряпочку. Взять свои брюки и сюртук. Почистить их. Накрыть сверху шляпой. Пойти к знакомым, которые еще не читали моих советов. Норовить попасть к обеду. Будете есть:

Куриный бульон,
Пирожки.
Отварную лососину.
Соус тартар.
Жареных цыплят.
Салат.
Спаржу.
Суфле яблочное.
Кофе, вина, водки, ликеры.

Правда, вкусно?

Как сэкономить на чаевых

На первый день праздника, едва вы откроете сонные глаза — как к вам нагрянет вереница поздравителей с недвусмысленным выражением, начертанным на лице кистью великого мастера: дай, собака, на чай.

Придут: три дворника, щвейцар, трубочист, приказчик из бакалейной лавки, человек, который в прошлом году выводил у вас тараканов; почтальон, шофер, переехавший вашу тетку; неизвестный, которого вы на Страстной неделе били в биллиардной кием; ловец бродячих собак.

Как же с ними со всеми устроиться наиболее прилично и экономно?

Существует до сих пор только два способа, наиболее практичных и радикальных:

а) уехать перед праздником в Аргентину;

б) заболеть сыпным тифом.

В этом случае ничего другого для вас придумать не могу..

Искусство рассказывать анекдоты

Истинно светские люди могут иметь успех в обществе и свете — помимо всех других качеств — только в двух случаях: или когда они хорошо рассказывают анек-

доты, или когда они анекдотов совсем не рассказывают...

Насколько хороший анекдотист пользуется шумным, заслуженным успехом, насколько общество фигурально носит его на руках — настолько же плохой, бездарный претендент на «анекдотский престол» видит кругом плохо скрытое отвращение и тоску, настолько общество, выражаясь фигурально,— топчет его ногами!

Существует старинное распределение рассказчиков анекдотов на четыре категории:

1. Когда рассказчик сохраняет серьёзное выражение лица, а слушатели покатываются со смеху...

2. Когда смеется и сам рассказчик, и слушатели...

3. Когда рассказчик за животик держится от смеху, а слушатели, свесив головы, угрюмо молчат...

4. Когда слушатели, вооружившись стульями и винными бутылками, хлопотливо бьют рассказчика.

Вот те поистине ужасные последствия, которые могут обрушиться на голову плохого рассказчика. В американской газетной хронике (штат Иллинойс) был по этому поводу рассказан поистине леденящий душу факт: компания вакеросов, выслушав подряд семь отвратительных тягучих анекдотов, так освирепела, что схватила рассказчика, облила его керосином и подожгла, выплясывая вокруг него веселый джиг; потом обгоревшего неудачника вакеросы купали в реке, а потом, зацепив за шею веревкой, долго волочили при свете факелов по городским улицам, и разбуженные шумом матери поднимали с постелек своих детей и подносили их к окнам — со словами: «Глядите, детки,— вот вам пример: никогда не рассказывайте глупых старых тягучих анекдотов. А то и с вами будет то же, что с этим куском жареного мокрого мяса!»

И — наоборот.

Пишущий эти строки знал одного молодого человека, ничем особенно не отличавшегося, кроме искусства замечательно рассказывать анекдоты (см. первую категорию рассказчиков). И что же?! Все женщины города ласкали и целовали его, мужчины угощали водкой и папиросами лучших фабрик, а начальство повышало его по службе так, как в 1923 году повышался доллар в Германии. Однажды, рассказывая в поезде какой-то уморительный анекдот, он свалился с площадки вагона под колеса и ему отрезало

обе ноги, за что железная дорога уплатила счастливчику огромную премию, и он прожил свой век в богатстве и роскоши, окруженный любовью и почитанием современников.

* * *

Всякий рассказчик должен помнить три основных правила своего изящного искусства:

1. Анекдот должен быть краток.
2. Блестящ по передаче

— и 3. В конце — неожидан.

Самое главное — пункт первый (краткость).

Длинный анекдот напоминает Эйфелеву башню, на которую вас заставили взобраться пешком, без лифта... С самой верхушки башни вид-то, может быть, очаровательный, но вы так устанете, взбираясь, что вам и на свет Божий глядеть противно.

Затем — ненужные, не имеющие к анекдоту отношения — подробности — могут довести слушателей до молчаливой ярости, до преступления.

Пишущий эти строки слышал один анекдот в передаче директора департамента народного здравия.

— Вот я вам расскажу хороший анекдот,— пообещал он.— Дело было в небольшом торговом городке. Городок был, как я уже сказал, небольшой, но оживленный. Потому что стоял он на берегу Волги и там перегружали муку, соль, ну, конечно, лес тоже сплавлялся... Население преимущественно торговое. Поэтому в городке была пропасть трактиров, и в этих трактирах целый день толокся торговый люд, попивая чай, пиво и водку. Так вот — в один из таких трактиров — не помню, как он назывался — не то «Китай», не то «Большая парижская гостиница»,— в один из таких трактиров пришел подпивший купец. Ну, вы сами знаете, русская душа — разгулялся, потребовал еще водочки, закусочки, селяночки на сковородке с осетриной. Ест, пьет, а над ним в клетке в окне заграничная канарейка поет, заливается. Ну, так-с. Слушал ее купец, слушал — пришел в восторг. Потому — вы же знаете — канарейки иногда очень хорошо поют. Недаром даже Канарские острова по их имени названы. Вот послушал он эту канарейку и зовет слугу. Слуга прибежал — этакий русский

молодец, румянец во всю щеку и волосы подстрижены в скобку. «Что прикажете?» — «Сколько стоит канарейка?» — «Триста рублей».— «Зажарь мне ее в масле». Слуга видит, что купец богатый, значит, может заплатить за свою причуду,— беспрекословно снял канарейку, снес на кухню, зажарил. Приносит. «Готово».— «Отрежь на три копейки».

Присутствующие вежливо посмеялись, полагая, что директорский анекдот окончен. Но директору жаль было расстаться со своим длинным, как пожарная кишка, анекдотом.

Пожевал губами и продолжал:

— Да... «Отрежь, говорит, на три копейки». Тот поднял крик: «Как так?! Неужели зря дорогую канарейку загубил?!» — «Что ты кричишь, чудак... Мне надо только на три копейки!..» Ну, конечно, шум был, скандал. Полицию позвали. Кажется, протоколом кончилось. Ну, купец дал околоточному — не помню — не то десять, не то пятнадцать рублей...

Все исступленно молчали, а один из слушателей тихо вышел в переднюю, отыскал директорское пальто и сигаретой прожег на спине преогромную дыру.

Кто упрекнет его за то, читатели?!

* * *

Вот как *не надо* рассказывать.

Излагайте анекдот приблизительно так:

В двери шикарной кондитерской просовывается чья-то голова: «Скажите, есть у вас сдобный хлеб с цукатами и миндалем?» — «Есть, есть, пожалуйте». Протискивается вся фигура. Снимает шапку, жалобно: «Подайте хлебушка Христа ради, бедному. Три дня не ел!»

Или: «Цедербаум, это совершенно неудобно: весь город говорит, что Кегельман живет с вашей женой!» — Муж: «Э! Подумаешь какое счастье! Захочу — так я тоже буду жить с ней»!..

Или: «Яша, чего ты за щеку держишься?» — «Понимаешь, один шарлатан хотел ударить меня по морде!» — «Так он же только хотел! Чего ж ты держишься?» — «Так он уже ударил!» — «Чего ж ты говоришь — «хотел»? — «Ну если же бы он не хотел, он бы не ударил!»

Или:

«На парижском аэродроме к пилоту подходят два еврея: «Послушайте! Вы сейчас в Лондон летите. Возьмите нас».— «А вы — кто такие?» — «Так себе, обыкновенные евреи».— «О-о, евреи! Ни за что не возьму. Евреи — такой темпераментный народ, что начнут кричать, за плечи меня хватать — еще катастрофа будет».— «Но мы не будем кричать, ей-Богу! Абраша, правда, не будем?» — «Ей-Богу,— говорит Абраша,— не будем!» — «Ну, я вас возьму, но с условием: за каждое сказанное слово — вы платите мне фунт стерлингов! Согласны?» — «Абраша, ты согласен?» — «Согласен!» Сели. Полетели. Прилетели в Лондон, пилот спустился, слез, мотор осматривает. Подходит к нему один из пассажиров: «Теперь уже можно разговаривать?» — «Теперь можно».— «Абраша в воду упал!..»

А начните вы, передавая эти анекдоты, описывать место действия, наружность и возраст действующих лиц, и анекдот уже погиб, завял, покрылся скучной пылью!..

Нет ничего трагичнее рассеянных, забывчивых рассказчиков...

— Вот — расскажу я вам анекдот... Было это в тысяча восемьсот девяносто... Нет! В тысяча девятьсот... девятьсот?.. Постойте!.. В каком же году это было?..

— Да неважно! — кричат слушатели.— Дальше!..

— Ну-с. Был в городе Елабуге один еврей... нет, не еврей. Армянин, кажется? Или, что ли? По фамилии... гм. Как же его фамилия? Гм! Дай Бог памяти...

— Неважно! Дальше!! — ревут слушатели.

— И поехал этот мужичок пароходом... Нет!! Позвольте... не пароходом, а пешком он пошел...

— Аэропланом!!!

— Нет, тогда еще аэропланов не было. Встречается со старухой NN. Впрочем, нет... Это было ее свадебное путешествие... Значит, молодая. Постойте!... Тогда почему же у нее зубов не было?.. Но этот же анекдот, кажется, построен... Или нет?.. Ах, да!

За убийство такого рассказчика не судят, а выдают премию, как за удачное санитарное мероприятие...

А есть и такие рассказчики: начнет в обществе передавать что-то вязкое, тягучее, а на половине вдруг вспыхнет, как маков цвет, и замолчит.

— Ну? Что же дальше?!

— Простите — дальше неприлично, я и забыл совсем... А тут дамы.

* * *

Ужасная язва общества — так называемые «подсказчики анекдотов».

— Иван Петрович! Расскажите тот анекдот, который рассказывали на прошлой неделе... Вы так хорошо рассказываете...

— Какой анекдот?!

— Да помните, о том еврейском мальчике, который просил у учителя отпуск на завтрашний день, а когда тот спросил «зачем?», мальчик ответил: «Папа говорил, что у нас завтра дома пожар будет». Расскажите!

Что тут рассказывать бедному анекдотисту?

* * *

Иногда можно рассказывать старый, затрепанный анекдот,— но — смотря где. Если общество захудалое, провинциальное — можете перетряхивать в их присутствии всякое старье.

Но в изысканном, изощренном, насыщенном модными анекдотами кругу — остерегайтесь.

...За столом сидели шесть человек — три актера, два журналиста и адвокат. Я подсел к ним и принялся рассказывать анекдоты — все, какие знал.

И после каждого анекдота присутствующие вынимали из карманов белые платки и прикладывали к ушам концами, так — что все лица были окаймлены белыми платками.

В конце концов я не выдержал и спросил:

— Что это значит?

— Это? Белая борода!

— Почему?

— Все анекдоты, рассказываемые вами, так стары, что имеют седую бороду!!! ....

....

Очень было обидно.

* * *

При выборе анекдота — нужно считаться с составом слушателей.

Есть анекдоты для барышень. Есть для дам. Есть специальные «мужские». Третью категорию иногда можно рассказывать второй категории, предварительно деликатно нащупав почву, но не дай Бог — обрушить третью категорию на головы благоуханной девственной первой категории.

Один негодяй при пишущем эти строки рассказал целому цветнику светских, невинных, кротких молодых девушек такое:

— Молодому еврею из Житомира сват предложил житомирскую девушку в жены. «Она (говорил он) очень хорошая девушка — общая любимица». Познакомился с ней жених через свата, поехал в театр. Все друзья и знакомые, увидев их вдвоем, набросились на жениха: «С ума вы сошли? Что это за компания для вас — с ней весь Житомир путался!» И побежал молодой человек в ярости к свату... «Слушайте!! — кричит. — Вы! Мерзавец! Кого вы мне сосватали?! Мне говорят, что с ней весь Житомир жил...» — «Э, вы скажете тоже, — хладнокровно говорит сват, — уже и «весь Житомир!» В Житомире 50 000 жителей. Так считайте — половина женщин. Из 25 000 — 10 000 детей. Потом 5000 стариков, калек, нищих... остается 10 000... Так это, по-вашему, — весь Житомир?!»

Слушательницы испуганно переглянулись, а я отыскал хозяев и сообщил им, что вышесказанный молодой человек украл из столовой две серебряных ложки.

* * *

Вот, читатель, — мой тебе подарок.

Пытаясь занять общество анекдотами — всем вышеизложенным руководствуйся.

Тогда — процветешь...

Советы, как иметь успех у прекрасного пола

Как часто видим мы очень интересных молодых людей, красивых, изящных, но — увы! Эти молодые люди не имеют никакого успеха у женщин.

И наоборот: не встречали ли вы рыжих, веснушчатых молодцов с кривыми ногами, расплющенным носом и за-

плывшими жиром глазами, которые (не глаза, а эти молодцы) — имеют среди прекрасного пола бешеный, потрясающий успех?!

А почему? Очень просто: первые (красавцы) не знают, с какого боку подойти, как взяться за дело, вторые же (кривоногие) обладают этим священным даром в такой же степени, как Кубелик[1] играет на скрипке.

И вот — я хочу пойти навстречу назревшим нуждам неопытных красавцев. Кривоногие же пройдохи и без меня обойдутся. Им мои советы не нужны. Они сами много чего могут мне посоветовать.

* * *

Вначале — маленькое разъяснение: я вовсе не хочу идти против Священного писания, которое гласит:

«Не пожелай жены ближнего твоего».

Что здесь главное? То, что он «ближний». Жены ближнего и не желайте.

Но если жена в Кишиневе, а муж, скажем, во Владивостоке, то он уже делается дальним, и, значит, всякое нарушение священной заповеди отпадает.

Из этого, конечно, не следует, что всякий молодец, влюбившийся в замужнюю женщину, должен таскать под мышкой глобус и, осведомившись о местопребывании мужа, начать вслух рассчитывать расстояние, тыча пальцем в разные места глобуса.

Это слишком наглядно, а всякое чувство требует тайны.

* * *

Влюбившись, вовсе не нужно моментально напяливать фрак, белый галстук, зажимать в мокрой от волнения руке букет цветов и, явившись к предмету своей страсти, преклонить перед ней колено со словами:

— Ангел мой! Я не могу жить без тебя. Будь моей женой!!

— Что вы, помилуйте. Да ведь я замужем!

— Я вас разведу с мужем!

— Но у меня дети...

— Детей отравим. Новые будут.

Глупо и глупо. Женщина никогда не пойдет на эту примитивную приманку.

Вот как сделайте: явитесь в сумерки с визитом к дорогой вашему сердцу женщине, припудривши лицо и подводя глаза жженой пробкой, явитесь и, севши в уголок, замрите.

— Что это вы сегодня такой грустный?..— спросит хозяйка.

— Так, знаете. Нет, нет. Лучше не расспрашивайте меня.

— Дела плохие?

— Что для меня дела. (Вздох.) Я о них даже и не думаю.

— Вы что-то сегодня бледны...

— Ночь не спал.

— Бедный!.. Почему же?

— Вы мне снились всю ночь.

Даю слово, что самая умная женщина не обратит внимание на резкое несоответствие между первой фразой («не спал всю ночь») и второй — («вы снились всю ночь»).

— Я вам снилась?..— задумчиво скажет она.— Вот странно.

И довольно на сегодня. Конец. Маленькая, крохотная зацепка уже сделана. Уйдите, оставив ее задумчивой.

На другой день:

— Вы сегодня опять какой-то бледный... (пудра «Клития» — замечательное вспомогательное средство для влюбленного человека).

— Бледный, я? Гм... Отчего бы это? Может быть, потому, что опять плохо спал?

— Бедняга! А теперь кто вам снился?

— Догадайтесь... (В этом месте можно рискнуть взять ее за руку. Полагаю, опасности особой нет.)

— Ну, как же я могу догадаться... (Врешь, милая! Уже догадалась. Иначе зачем бы он взял тебя за руку?..)

— Не догадываетесь? Вы, такая чуткая, такая красивая...

Красота тут, конечно, ни при чем, но — каши маслом не испортишь.

Скачите дальше:

— Вы... не догадываетесь? Вы, у которой сердце звучит, как Эолова арфа, под малейшим порывом налетевшего ветерка, вы, у которой глаза, как зеркальная лазурь Лаго-Маджиоре[2], проникающая, как стрела, в самую глубину сознания бедного больного человеческого сердца, бьющегося в унисон с теми тонкими струнами... которая...

Такой разговор требуется минут на шесть.

Ничего, что глупо. Зато складно. Тут тебе и Эолова арфа, и Лаго-Маджиоре, и унисон. Советую напирать не на смысл, а, главным образом, на звук голоса, на музыку.

Очень рекомендуется, не окончив фразы, нервно вскочить, махнуть рукой и, наскоро попрощавшись, уйти.

Это производит впечатление. А кроме того, и из запутанной фразы выкрутитесь.

На третий день смело входите и говорите такую на первый взгляд странную фразу:

— Мэри! (Или Ольга, или Эльза). Что вы со мной делаете?!

— А что такое? Что я с вами делаю?

— Посмотрите на меня: (не нужно забывать — еще в передней — смахнуть платком пудру с лица. Но — осторожно: жженая пробка под глазами может размазаться). Вы видите?!

— Да, вид у вас неважный... Но разве я виновата?..

— Вы виноваты! Только вы. Вы приходите ночью к моему изголовью, и... и... я больше так не могу!!!

По общечеловеческой логике нужно бы ответить на это так:

— Чего вы ко мне пристали с вашим изголовьем? Мало ли какая ерунда будет вам сниться? Что ж, я за это должна и отвечать?!

Но... ни одна женщина не скажет так. Нужно знать женщину.

Она только воскликнет:

— Боже мой! Но разве я этого хотела?! Мне самой тяжело, что вы так мучитесь...

Слышите? Ей тяжело! Она, значит, вам сочувствует. Она, значит, как говорят профессиональные рыболовы,— «зацепилась на крючок».

В этом месте я подхожу к самому деликатному вопросу, о котором мне, при моей застенчивости, трудно и слово вымолвить.

Вы должны ее поцеловать.

Только, ради Бога, не сразу.

Не обрушивайтесь на нее, как глетчер, не рычите, как бегемот.

Тихо, деликатно возьмите за руки. Приблизьте свои глаза к ее глазам (губы, как известно, покорно следуют за

глазами — деваться им некуда). Ближе... Ближе... Загляните в таинственную бездну ее глаз.

И вот — в этой позиции сразу и не разберешь: вы ли ее поцеловали, она ли вас.

Конечно, дальнейших советов я не могу давать. Я слишком скромен для этого. Можете даже, поцеловав, пойти домой — и на этом успокоиться.

* * *

Знавал я одного человека, который всю рассказанную мною поэтичную процедуру невероятно упрощал. Именно, оставшись с женщиной наедине, бросался на нее, точно малайский пират, и принимался ее целовать.

Я как-то спросил его возмущенно:

— Как можешь ты так по-разбойничьи вести себя с женщиной? А если получишь отпор? Скандал?!

— Отпор бывал часто. А скандалу не было. Женщина предпочитает молча, без крику, отвесить пощечину.

— Ага! Значит, ты получал пощечины?!

— Ну, от женщины не считается. И потом на 100 женщин — только шестьдесят дерутся. Значит, я работаю в предприятии из 40% чистых. Этого не приносят владельцам даже самые лучшие угольные копи или учетный банк.

— А вдруг жена пожалуется мужу?

— Побоится! Ты не знаешь мужей. Муж никогда не поверит, чтобы человек ни с того ни с сего — полез целоваться. «Ага,— скажет он.— Значит, ты перед этим кокетничала, значит, дала повод?!» Нет, это штука безопасная.

Этот пример я привел для того, чтобы сказать, что я отношусь к такой манере ухаживать с отвращением. Я — поэт и нахожу, что всякое красивое чувство не должно быть оптовым — с исчислением процентов прибыли.

Как поэт — еще раз говорю: лучший прием для успеха, это — «вы мне снились». Долбите, как детям, пока не подействует.

* * *

Другой мой знакомый, как он сам выражался: «работал фарфором». Прием, по-моему, тоже дешевый.

Однажды купил он на аукционе прескверную фарфоровую кошку и китайца, которого если ткнуть в затылок — он

начинал мотать головой. С тех пор владелец этих вещей говорил всем дамам, на которых имел виды:

— Старинный фарфор любите?

Какая уважающая себя дама осмелится ответить «не люблю»?

— Люблю,— ответит она.

— Очень?

— Ах, ах, ужасно люблю!!

— У меня есть очень недурная коллекция старинного фарфора. Не хотите ли зайти осмотреть?

— Гм!.. Удобно ли это? Впрочем...

Часто дама, уже собираясь уходить и надевая перед его зеркалом шляпу, вспоминала:

— Да! А где же этот твой знаменитый фарфор?

— А вот там стоит. Ткни китайца в затылок. Видишь, как забавно? Настоящий, брат, алебастр!

И долго еще после ухода парочки — китаец с задумчивой иронией качает видавшей виды головой. ....

....

Последний совет: женщина, даже самая бескорыстная,— ценит в мужчине щедрость и широту натуры. Женщина поэтична, а что может быть прозаичнее скупости?..

Любящая женщина, которая с негодованием откажется от любой суммы денег,— ни слова не возразит вам, если вы купите ей билет в театр или заплатите за нее в кафе.

Один известный мне человек сразу погиб во мнении любящей женщины после того, как, расплачиваясь в кафе, стал высчитывать:

— Два стакана кофе с булочками — $3^1/_2$ марки. Ты пила белый кофе, я черный — значит, с меня на $^1/_2$ марки меньше. Да, ты откусила своими очаровательными белыми зубками у меня кусок пирожного, приблизительно, одну треть,— значит, с тебя еще 20 пфеннигов. С тем, что я платил за тебя в трамвае — с тебя, царица души моей,— 2 марки 35 пфеннигов.

Нужно ли говорить, что на таком пустяке этот идиот сломал себе шею, хотя и был красив, как бог!

* * *

Кстати, вы, может быть, спросите: а где же советы, как ухаживать не за дамами, а за девушками.

Этих советов я не могу дать.

Потому что за девушками не «ухаживают».

Им делают предложение и женятся.

После же женитьбы молодой человек может нрочесть мое руководство сначала.

И то руководство это будет полезно не тому, который женился, а другому молодому человеку — постороннему.

КИПЯЩИЙ КОТЕЛ

Введение

Зачем я выпускаю «Кипящий котел»?

Человеческая память — очень странная машина, почти всегда действующая с перебоями...

Один юмористический философ разрешился такой нелестной для человеческой памяти сентенцией:

— Никогда не следует (говорил он) доверять человеческой памяти... Память моя сохранила одно очень яркое воспоминание: однажды в детстве я, гуляя, свалился в глубокую яму. Я это твердо помню. Но как я из этой ямы выбрался — решительно не помню... Так что, если доверяться только одной памяти — я должен был бы до сих пор сидеть в этой яме...

Нас было несколько сот тысяч человек, которые сидели в огромной яме, но с нами случилось не совсем так, как с моим философом: мы очень хорошо помним, как мы попали в яму и как из нее выбрались, но период нашего сидения (знаменитый, потрясающий период!) начал постепенно изглаживаться из нашей памяти, и — еще год-полтора — вся эта эпопея «сидения» станет бледным, серым, расплывчатым пятном без красок, фактов и очертаний.

Я хочу этой книгой закрепить период нашего годового кипения в раскаленном котле, в этой горячей яме, дно которой жгло пятки,— одним словом, я хочу, чтобы все, уплывающее из нашей памяти, расположилось ясными, прямыми, правдивыми строками на более прочной, чем мозг человеческий,— бумаге.

Мой кипящий котел — это Крым эпохи «врангелевского сидения».

Что это за удивительный, за умилительный период: в одном котле кипели и щуки, и караси, и букашки, и таракашки, и «едоки первой категории»,— и все это, кипя, ухитрялось пожирать друг друга: мелких букашек поедали караси, карасей — щуки, щук — едоки первой категории, а кипящий распад «едоков» снова поедался букашками, червячками и таракашками.

Пройдет два-три года — и до дырок будет русский человек протирать лоб, вспоминая:

— А сколько это я платил в Крыму за бутылку лимонаду? Не то 15 целковых, не то полторы тысячи? Помню, дом на Нахимовском я купил до войны за 30 тысяч... Но почему я потом за гроб для отца заплатил 800 тысяч? Как случилось, что я, имея на пальце бриллиантовое кольцо, ночевал на скамейке Приморского бульвара? Почему селедки мне заворачивали в энциклопедический словарь? А кто были наши рабочие? Большевики? Меньшевики? Как они понимали рабочий вопрос? Почему они, живя во сто раз лучше других,— бастовали? *

И не будет ответа! Все чудесное, курьезное, все героическое, все ироническое стерлось, как карандашная надпись резинкой...

Книгой «Кипящий котел» я все это хочу закрепить.

Может быть, мои очерки иногда гиперболичны, иногда неуместно веселы, но в основе их всегда лежит факт, истина пронизывает каждую строчку своим светлым лучом — и это моя скромная заслуга перед историей.

Наши будущие дети! В заброшенной отцовской библиотеке вы найдете эту пыльную с пожелтевшими краями книгу, развернете ее — и глазенки ваши от изумления выкатятся из орбит сантиметра на два: бред сумасшедшего графомана?!

Нет, дорогие детишки! Это все правда, и мы, герои, полубоги, гомеровские отпрыски,— пережили дикий «Кипящий котел» на своих многострадальных боках!..

А. Аверченко

---

* По свидетельству видного земского деятеля Крымского белого государства (1919—1920 гг.) кн. В. А. Оболенского, его заработная плата «в 2 раза уступала ставке наборщика» в подведомственной типографии (цит. по кн.: Росс Н. Врангель в Крыму. Франкфурт-на-Майне, 1982. С. 210). Особое внимание к социальному положению рабочих было характерной чертой внутренней политики П. Н. Врангеля. В заявлении от 26 июня 1919 г. он приказывал: «...необходимо дать рабочим все, что только возможно с государственной точки зрения... Вместе с тем необходима самая решительная борьба с забастовками», которая проводилась политическими и экономическими мерами. (Журнал Совета при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России. 1919. № 15).— *Прим. сост.*

I. Оскудение и упадок

Старый Сакс и Верттейм

Настроение плохое, с утра серый упорный дождь, и все окружающее тоже приняло серую окраску.

Сел за письменный стол с очень определенным тайным решением: свирепо ругаться.

Довольно добродушия! Решил называть все вещи их собственными именами, ставить точки над і, ломиться в открытую дверь, плакать по волосам, снявши голову, смотреть в зубы дареному коню, кусать свои локти, развалиться не в своих санях и, вообще, гнаться за двумя зайцами — может быть, поймаю обоих и тут же зарежу, каналий, и того, и другого.

* * *

Сидел недавно в театре на концерте знаменитого артиста. Гляжу — на нем старый, порыжевший фрак.

Сначала сжалось мое сердце, а потом посветлел я: будто на карточку любимой женщины в ворохе старой дряни наткнулся.

Здравствуй, старый петербургский фрак. Я знаю, тебя шил тот же чудесный петербургский маэстро Анри с Большой Морской, что шил и мне.

Хорошо шивали деды в старину.

Этому фраку лет семь, и порыжел он, и побелел по швам, а все сидит так, что загляденье.

И туфли лакированные узнал я — вейсовские.

Держитесь еще, голубчики?

Видали вы виды... Сверкали вы по залитой ослепительным светом эстраде Дворянского Собрания, сверкали на эстраде Малого зала Консерватории, а иногда осторожно ступали, боясь поскользнуться, на ослепительном паркете Царскосельского, Красносельского, Мраморного — много тогда было дворцов, теперь, пожалуй, половину я и перезабыл...

А нынче вы не сверкаете больше, лакированные туфли. Вы потускнели, приобрели благородный налет старины, и долго еще не заменит вас ваш хозяин другими, хотя и получает он за выход целую уйму денег: десять тысяч.

Не заменит потому, что получает он десять тысяч, а фрак и ботинки стоят двадцать, а когда он сдерет за выход двадцать тысяч — ваши новые заместители, многоуважаемый фрак и ботинки,— будут стоить сорок тысяч.

Махнет рукой ваш хозяин и скажет:

— Нет, не догнать.

И будете вы все тускнеть и тускнеть, все более покрываться налетом старины, переезжая из Севастополя в Симферополь, из Симферополя в Карасубазар, из Карасубазара в какой-нибудь Армянск — ведь пить-есть надо даже гениальному человеку!

Так призадумался я, сидя в театре, потом очнулся, обвел глазами ряды, и показалось мне, что рядом со мной, и впереди и сзади, сидят два совершенно различных сорта фарфоровых статуэток...

Одни — старые, потертые, в обветшавших, но изящных, художественно помятых, мягких шляпах и в старинных, лопнувших даже кое-где, ботинках — от Вейса, Королькевича, Петерсона... Статуэтки, нечто вроде старого Сакса или Императорского фарфорового завода, за которые любители прекрасной старины платят огромные деньги.

И другие статуэтки — новые, сверкающие, в пальто с иголочки, в дурно сшитых многотысячных лакированных ботинках с иголочки, чисто выбритые, иногда завитые.

Это — ярко раскрашенное аляповатое фарфоровое изделие от берлинского Вертгейма, выпущенное в свет в тысяче штампованных одинаковых экземпляров. Это — новые миллионеры.

Первые статуэтки элегически грустны, как, вообще, грустно все, на чем налет благородной старины, вторые — тошнотворно самодовольны.

У вторых вместо мозга в голове слежавшаяся грязь, и этой грязью они лениво думают, что наша теперешняя жизнь самая правильная и что другой и быть не может.

Да знаете ли вы, тысяча чертей и одна ведьма вам в зубы, что вы оскверняете своими свинячьими мордами это место, где творит сейчас великий артист вечную красоту!..

Как вы сюда попали? Вон отсюда!

Идите в кафе, на пристани, в мануфактурные магазины — пухните там вдвое от ваших дешевых миллионов, но не лезьте так нагло в храмы, не сморкайтесь в кулак, когда служат литургию Красоте!

* * *

Весь старый Сакс — профессора, инженеры, писатели, адвокаты, доктора и артисты — уже давно не делают себе маникюра, и, однако, как изящны линии их нервных белых рук, как красиво розовеют их выпуклые, блестящие без маникюра ногти...

Недавно я зашел в парикмахерскую... Около маникюрши маячила очередь, всё народ дюжий, с корявыми кривыми лапами, а она в это время отделывала пятерню какому-то бывшему подвальному мальчику — шершавую красную пятерню,— начищая плоские рубчатые ногти с яростью, с какой сапожный чистильщик наводит глянец на видавшие виды сапоги кругосветного путешественника.

И подумал тут я:

— Дурак ты, дурак, бывший подвальный мальчик... Если бы твоя рука по-прежнему оставалась красной рабочей рукой — я, если хочешь, поцеловал бы ее благоговейно, потому что на ней написано святое слово «труд»... Но что ты теперь будешь делать этой отлакированной лапой? Подписывать куртажную расписку на сто пудов масла по пяти тысяч за пуд или неуклюже облапишь хрупкий фужер, наполненный заграничным шампанским, завершая в кабаке выгодную сделку на партию кофе из гималайского жита?..

Хороший маникюр тебе сделали...

А ведь, судя по некоторым признакам, ой, как редко ты бываешь в бане, бывший подвальный мальчик.

Надо бы чаще...

Кстати, я тебя видел в магазине Альшванга — ты покупал за три тысячи французские духи, с хитростью дикаря стремясь заглушить ароматом Убигана природный, столь выдающий тебя запах.

И обливаешься ты этими духами так щедро, что впору бы тебе и водой так обливаться.

А джентльмен — тебе, вероятно, незнакомо это слово, подвальный мальчик? — А джентльмен в потертом пиджаке уже 4 года как не душится духами — и все же от платья его идет тонкий, еле уловимый запах «Шипра» Коти — такого Шипра для вас теперь и не выделывают,— и этот еле уловимый старый, бывший запах грустен и прекрасен, как аромат увядшего, сплющенного в любимой книге, цветка.

Ну, что ж... Теперь вы в силе, вертгеймовское исчадие...

Что ж... Лезьте вперед, расталкивайте нас, занимайте первые места — это вам не поможет,— так жить, как мы жили, вы все равно не умеете.

Может быть, многим из нас место не в теперешней толчее, а где-нибудь на полузабытой пыльной полке антиквара, но лучше забытая полка в углу, в полумгле, робко пронизанной светом синей лампадки перед потемневшим образом,— чем бойкий каторжный майдан...

Бал у графини X...

...Графиня вошла в бальную залу — и ропот восхищения пробежал среди блестящих гостей...

Она была одета в платье из серебристого фая, отделанного валансьенскими кружевами и лионским бархатом... На мраморной шее сверкало и переливалось роскошное бриллиантовое колье, в ушах мерцали теплым светом две розовых жемчужины, царственная головка венчалась многотысячным паради из перьев райской птицы.

Два молодых человека в черных фраках с огромными вырезами белых шелковых жилетов, стоя у колонны, тихо беседовали о графине:

— Вероятно, она дьявольски богата?

— О, да. Отец дает за ней пятьсот тысяч. Кроме того, у нее тряпок — шелковых платьев, белья самого тонкого, батистового, похожего на паутинку (мне, как другу семьи, показывали),— всего этого тряпья наберется тысяч на 50. Три сундука и шкаф битком набиты...

— Parbleu! [1] — вскричал молодой щеголь, небрежно вынимая из кармана плоские золотые часы с жемчужной монограммой:

— Я, вероятно, еще успею пригласить ее на вальс!

И было время: оркестр, невидимо скрытый на хорах, заиграл в этот момент упоительный вальс — и благоухающие пары закружились...

* * *

Так романисты писали раньше.

* * *

А вот так романисты должны писать теперь...

* * *

...Графиня вошла в бальный сарай — и ропот восхищения пробежал среди блестящих гостей...

На графине было платье из роскошного зеленого ситца, отделанное настоящими костяными пуговицами... На алебастровой шее сверкало и переливалось роскошное колье из кусочков каменного угля, в крохотные ушки были продеты две изящных, еще не использованных, спички, а царственная головка венчалась пером настоящей многотысячной домашней курицы.

Два молодых человека в изящных фраках, сшитых из мучных мешков, тихо беседовали о графине:

— Да! Отец дает за ней 18 миллионов деньгами, 2 пары шерстяных чулок и флакон из-под французских духов!

— Ничего подобного,— вмешался третий, одетый в кретоновый смокинг из обивки кресла, лорнируя графиню в осколок пивной бутылки, вделанный в щипцы для завивки.— Отец дает за графиней гораздо больше 18 миллионов!!

— Именно?

— Он дает за ней корову с теленком и двух уток.

— Parbleu! — вскричал молодой щеголь в рединготе из четырех склеенных номеров вчерашней газеты.— Я, вероятно, еще успею пригласить ее на вальс!..

Он вынул из кармана будильник на дверной цепочке, бросил на него косой взгляд и помчался к графине.

И было время: граммофон хрипло заревел упоительный вальс, танцующие сняли ботинки, чтобы зря не трепать подметок,— и пары, шлепая изящными пятками, закружились...

Страна без мошенников

Три человека собрались на пустынном каменистом берегу моря, под тенью, отбрасываемой огромной скалой; три человека удостоверились — не подслушивают ли их, и тогда старший из них начал:

— Именем мошенничества и преступления — я открываю заседание! Мы все трое, бывшие завсегдатаи тюрьмы и украшение каторги,— собрались здесь затем, чтобы с сего числа учредить преступное сообщество для совершения краж, грабежей и, вообще, всяких мошенничеств. Но...— насмешливо усмехнулся председатель,— может быть, за то

время, что мы не виделись,— вы уже раскаялись и хотите начать честную жизнь?

— Что ты! — укоризненно вскричали двое, бросая на председателя обиженные взгляды.— Мошенниками мы были, мошенниками, надеюсь, и умрем!

— Приятно видеть таких стойких негодяев,— одобрительно сказал председатель.

— Да! И в особенности под руководством такого мерзавца, как ты.

— Господа, господа! Мы здесь собрались не для того, чтобы расшаркиваться друг перед другом и отвешивать поклоны и комплименты. К делу! Что вы можете мне предложить?

Тогда встал самый младший мошенник и, цинично ухмыляясь, сказал:

— Я знаю, что теперь сливочное масло на базаре нарасхват. Давайте подделывать сливочное масло!

— А из чего его делать?

— Из маргарина, желтой краски, свечного сала...

Председатель усмехнулся:

— А известно ли моему уважаемому товарищу, что сейчас свечное сало и краска — дороже сливочного масла?

— В таком случае, простите. Я провалился. Тогда говори ты.

Встал второй:

— Я знаю, господа, что в одном торговом предприятии, в конторе, в несгораемом шкафу всегда лежат несколько миллионов!

— А как мы вскроем несгораемый шкаф?

— Как обыкновенно: баллон с кислотой, электричество, ацетилен, автоматические сверла...

— Где же мы их достанем?

— Раньше всегда покупали в Лондоне.

— Ну, подумай ты сам; сколько будет стоить — поехать одному из нас в Лондон, купить всю эту штуку на валюту, погрузиться, заплатить фрахт, выгрузить на месте, доставить на извозчике... Я уверен, это влетит фунтов в 80, т. е. миллионов в восемь! А если в шкафу всего пять миллионов? Если три? Да если даже и десять — я не согласен работать из 20 процентов. Тогда уж прямо отдать свой оборотный капитал под первую закладную.

— Мне интересно, что же в таком случае предложит председатель — так жестоко бракующий наши предложения?

— А вот что! Я предлагаю подделывать пятисотрублевки. Во-первых, они одноцветные, голубые, во-вторых, рисунок не сложный, в-третьих...

— А что для этого нужно?

— Медная доска для гравировки, кислота, краска, бумага, пресс для печатания.

— Сколько же мы в месяц напечатаем таких фальшивок?

— Тысяч десять штук!

Средний мошенник взял карандаш и погрузился в вычисления...

— Сейчас вам скажу, во что обойдется одна штука.

— Ну, что же?

— Н-да-с... Дело любопытное, но едва ли выгодное. Одна пятисотрублевка будет нам стоить 720 рублей!

— Черт возьми! А как же правительство печатает?

— Как, как?! У них бумага и краска еще старого запаса.

Долго сидели молча, угрюмые, раздавленные суровой действительностью.

— Ну, и страна! — крякнул председатель. — За какое мошенничество ни возьмись — все невыгодно!

— А что, если, — робко начал самый младший мошенник, — что, если на те деньги, которые у нас есть, — купить две-три кипы мануфактуры, да сложить ее в укромное местечко, да, выждав недели три, продать.

— Что ж из этого получится?

— Большие деньги наживем.

— Постой, какое же это мошенничество?

— Никакого. Зато выгодно.

— Постой! Да ведь мы мошенники! Ведь нам как-то неприлично такими делами заниматься!

— Почему?

— Ну, вот предположим, полиция узнает о нашей мануфактуре — что она нам сделает?

— Ничего.

— Вот видишь... Как-то неудобно. Я не привык такими темными делами заниматься.

— Но ведь не виноваты же мы, что это выгоднее, чем фальсификация продуктов, фальшивые бумажки и взлом кассы!

— Бож-же! — вскричал председатель, хватаясь за голову, — до какого мы дошли падения, до какого унижения!

С души воротит, тошнит, а придется заняться этой гадостью!

И они встали, пошли в город. Занялись.

* * *

Вот почему теперь так мало мошенников и так много спекулянтов...

Русская сказка

Отец прижал голову крохотного сына к груди и начал сказку:

— В одном лесу жил мальчик и жила Баба-Яга Костяная Нога... Впрочем, ну ее, эту Бабу-Ягу, правда?

— Ну ее,— охотно согласился ребенок.

— Вот какую сказку я лучше расскажу: жили да были дед и баба, у них была курочка ряба... Хотя скучно это! Пусть она провалится, эта курочка!

— И дед с бабой пусть провалятся! — сверкая глазами, согласился мальчик, обуреваемый столь свойственным детям инстинктом разрушения...

— Верно. Пусть они лопнут — и дед и баба. А вот эта — так замечательная сказка: у отца было три сына, старший умный был детина, средний был и так и сяк...[2]

— Пусть они тоже лопнут...— внес категорическое предложение малютка, улыбаясь с веселой свирепостью.

— И верно, сын мой. Туда им и дорога. Это все, конечно, чепуха, труха. Хорошая сказка рассказывается после соответствующего разбега. А так как я уже достаточно разбежался, то ... слушай!

* * *

...Жил-был твой папа, и у папы была твоя мама, и была она потому, что тогда не было сыпного тифа. И жили твои папа с мамой в квартирке из шести комнат, и даже для сына была отдельная комнатка, где стояла его колыбелька. Теперь мы с тобой и дядей Сашей живем в одной комнате, а тогда у меня было шесть.

— У кого реквизировал?

— Держи карман шире! Тогда не было реквизиций! Кто какую квартиру хотел, такую и снимал. Хоть бы двадцать комнат! И вот однажды приезжаю я...

— С фронта?

— С которого? Никакейших тогда фронтов не было!

— А что ж мужчины делали, если нет фронта! Спекулировали, небось?

— Тогда не спекулировали.

— А что же? Баклуши били?

— Дядя Саша, например, был адвокатом. Петр Семеныч писал портреты и продавал их, дядя Котя имел магазин игрушек...

— Что-й-то — игрушки?

— Как бы тебе объяснить... Ну, например,— видел ты живую лошадь? Так игрушка — маленькая лошадь, неживая; человечки были — тоже неживые, но сделанные, как живые. Пищали. Даванешь живот, а оно и запищит.

— А для чего?

— Давали детям, и они играли.

— Музыка?

— Чего музыка?

— Да вот, играли.

— Нет, ты не понимаешь. Играть это значит, скажем, взять неживого человечка и посадить верхом на неживую лошадку.

— И что ж получится?

— Вот он и сидит верхом.

— Зачем?

— Чтоб тебе было весело.

— А кто ж в это время играет?

— Фу, ты! Нельзя же быть таким серьезным. Однако — вернемся. Вот, значит, мы так и жили...

— А что ты делал?

— Я был директором одной фабрики духов.

— Что-й-то?

— Духи? Бутылочка такая. Откроешь пробочку, капнешь на костюм, а оно хорошо и пахнет.

— А зачем?

— Да так. Зря. Раньше много чего зря делалось. У меня, например, был человек, который стоял у дверей, и если кто-нибудь приходил ко мне, он шел впереди него и говорил, кто пришел.

— Да зачем тебе? Ты бы и сам через минуточку увидел бы.

— Так было принято. Много чего зря делали. Мы с мамой, например, раз в месяц бал закатывали.

— Во что закатывали?

— Ни во что. Возьмем и закатим бал. Приглашали музыку, оркестр целый... Сад увешивали цветными фонариками и под музыку танцовали...

— Что-й-то?

— Танцовать? А вот мужчина брал даму одной рукой за ее руку, другой за это место, где у тебя задняя пуговица курточки — и начинали оба топать ногами и скакать.

— Зачем?

— Зря. Совершенно зря. Пользы от этого не замечалось никакой. После танцев был для всех ужин.

— Небось, дорого с них сдирал за ужин?

— Кто?!

— Ты.

— Помилосердствуй! Кто ж с гостей за ужин получает? Это бесплатно. Я их угощал. Повар готовил ужин, шампанское, фрукты, мороженое.

— Сколько ж тебе это стоило? Небось — за... этого... закатывал в копеечку?

— Ну, как тебе сказать... Помнишь, мы сегодня после обеда пили с тобой этакую чуть-чуть газированную теплую дрянь на сахарине? Ситро, что ли? Ну, вот сколько мы заплатили за бутылочку, помнишь?

— Полторы тысячи.

— Правильно. Так раньше — бал с музыкой, фонариками и ужином стоил половину такой бутылки.

— Значит, я сегодня целый бал выпил?

— Представь себе! И не лопнул.

— Вот это сказка! У маленького мальчика бал в животе. Хе-хе-хе!

— Да, уж. Это тебе не Баба-Яга, чтоб ей провалиться!

— Хе-хе! Не у отца три сына, чтобы им лопнуть.

— Да... И главное, не Красная Шапочка, будь она проклята отныне и до века!

II. Обнищание культуры

Володька

Завтракая у одного приятеля, я обратил внимание на мальчишку лет одиннадцати, прислонившегося у притолоки с самым беззаботным видом и следившего за нашей

беседой не только оживленными глазами, но и обоими на диво оттопыренными ушами.

— Что это за фрукт? — осведомился я.

— Это? Это мой камердинер, секретарь, конфидент и наперсник. Имя ему — Володька. Ты чего тут торчишь?

— Да я уже все поделал.

— Ну, черт с тобой. Стой себе. Да, так на чем я остановился?

— Вы остановились на том, что между здешним курсом валюты и константинопольским — ощутительная разница,— подсказал Володька, почесывая одной босой ногой другую.

— Послушай! Когда ты перестанешь ввязываться в чужие разговоры?!

Володька вздернул кверху и без того вздернутый, усыпанный крупными веснушками нос и мечтательно отвечал:

— Каркнул ворон — «Никогда!» [3].

— Ого! — рассмеялся я.— Мы даже Эдгара По знаем... А ну, дальше.

Володька задумчиво взглянул на меня и продолжал:

«Адский дух или тварь земная,— произнес я, замирая,—
Ты — пророк. И раз уж Дьявол
или вихрей буйный спор
Занесли тебя, крылатый, в дом
мой, Ужасом объятый,
В этот дом, куда проклятый Рок
обрушил свой топор,
Говори: пройдет ли рана, что нанес его топор?
Каркнул Ворон «Never more» [4].

— Оч-чень хорошо,— подзадорил я.— А дальше?

— Дальше? — удивился Володька.— Да дальше ничего нет.

— Как нет? А это:

«Если так, то вон, Нечистый!
В царство ночи вновь умчись
ты!»

— Это вы мне говорите? — деловито спросил Володька.— Чтоб я ушел?

— Зачем тебе. Это дальше По говорил ворону.

— Дальше ничего нет,— упрямо повторил Володька.

— Он у меня и историю знает,— сказал с своеобразной гордостью приятель.— Ахни-ка, Володька!

Володька был мальчик покладистый. Не заставляя себя упрашивать, он поднял кверху носишко и сказал:

— ...Способствовало тому, что мало-помалу она стала ученицей Монтескье, Вольтера и энциклопедистов. Рождение великого князя Павла Петровича имело большое значение для всего двора...

— Постой, постой?! Почему ты с середки начинаешь? Что значит «способствовал?» Кто способствовал?

— Я не знаю кто. Там выше ничего нет.

— Какой странный мальчик,— удивился я.— Еще какие-нибудь науки знаешь?

— Знаю. Гипертрофия правого желудочка развивается при ненормально повышенных сопротивлениях в малом кругу кровообращения: при эмфиземе, при сморщивающих плеврите и пневмонии, при ателектазе, при кифосколиозе...

— Черт знает что такое! — даже закачался я на стуле, ошеломленный.

— Н-да-с,— усмехнулся мой приятель,— но эта материя суховатая. Ахни, Володька, что-нибудь из Шелли:

— Это, которое на обороте «Восточные облака»?

— Во-во.

И Володька начал, ритмично покачиваясь:

Нам были так сладко желанны они,
Мы ждали еще, о, еще упоенья
В минувшие дни.
Нам грустно, нам больно, когда
вспоминаем
Минувшие дни.
И как мы над трупом ребенка
рыдаем,
И муке сказать не умеем: «Усни»,
Так в скорбную мы красоту обращаем —
Минувшие дни [5].

Я не мог выдержать больше. Я вскочил.

— Черт вас подери — почему вы меня дурачите этим вундеркиндом. В чем дело — объясните просто и честно?!

— В чем дело? — хладнокровно усмехнулся приятель.— Дело в той рыбке, в той скумбрии, от которой вы оставили хвост и голову. Не правда ли, вкусная рыбка? А дело простое. Оберточной бумаги сейчас нет, и рыбник

скупает у букиниста старые книги, учебники — издания иногда огромной ценности. И букинист отдает, потому что на завертку платят дороже. И каждый день Володька приносит мне рыбу или в обрывке Шелли, или в «Истории государства Российского», или в листке атласа клинических методов исследования. А память у него здоровая... Так и пополняет Володька свои скудные познания. Володька! Что сегодня было?

— «Но Кочубей богат и горд
Не златом, данью крымских орд,
не родовыми хуторами. Прекрасной
дочерью своей
Гордится старый Кочубей!..
И то сказать...»

Дальше оторвано.

— Так-с. Это, значит, Пушкин пошел в оборот.

У меня больно-пребольно сжалось сердце, а приятель, беззаботно хохоча, хлопал Володьку по плечу и говорил:

— А знаешь, Володиссимус, скумбрия в «Докторе Паскале» Золя была гораздо нежнее, чем в пушкинской «Полтаве»!

— То не в Золя была, — деловито возразил Володька. — То была скумбрия у этом, где артерия сосудистого сплетения мозга отходит вслед за предыдущей. Самая замечательная рыба попалась!

* * *

Никто тогда этому не удивился: ни приятель мой, ни я, ни Володька...

Может быть, удивлен будет читатель?

Его дело.

Косьма Медичис

Бродя по Большой Морской, остановился я у витрины маленького «художественно-комиссионного» магазина и, вглядевшись в выставленные на витрине вещи, сразу же обнаружил в этих ищущих своего покупателя сокровищах разительное сходство с сокровищами в знаменитой гостиной Плюшкина.

Я даже не погрешу против правды, если просто выпишу это место из «Мертвых душ»:

— «...Стоял сломанный стул и рядом с ним часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же лежала куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете, лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха (тут, на витрине, было полдюжины таких лимонов в банке изпод варенья), отломленная ручка кресел, кусочек сургуча, кусочек тряпки, два пера, запачканные чернилами, зубочистка, совершенно пожелтевшая,— а из всей этой кучи заметно высовывался отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога».

Это, если вы помните, было у Плюшкина. Буквально то же самое красовалось на витрине, но с прибавкой небольшого крайне яркого плаката, стоявшего на самом выгодном месте, посредине...

Плакатик изображал разноцветного господина, держащего в одной руке сверкающую резиновую калошу, а пальцем другой указывающего на клеймо фирмы на подошве: «Проводник».

Меня очень рассмешила эта ироническая улыбка нашего быта: резиновых калош нельзя достать ни за какие деньги, а хозяин магазина упорно продолжает их рекламировать.

Так как хозяин стоял тут же, у дверей своей сокровищницы, я спросил его:

— Зачем вы рекламируете калоши «Проводник»?

— Где? — удивился он.— Это? Помилуйте! Да это картина. Мы это продаем.

— Как продаете? Да кому ж это нужно...

— Покупают. Повесишь в комнате на стенке, очень даже украшает. Видите, какие краски!

В торгашеском азарте он снял с витрины господина, указующего перстом на сверкающую калошу, и преподнес это произведение к самому моему носу.

— Вот она, картинка-то. Купите, господин.

Я вспомнил свою петербургскую квартиру, украшенную Репиным, Добужинским, Билибиным, Ре-Ми, Александром Бенуа,[6] — и рассмеялся.

— А в самом деле, не купить ли?

Раз наступает такая дикариная жизнь, что скоро будем ходить голыми, то для украшения наших вигвамов хорош

будет и юркий господин, сующий под нос обаятельно сверкающую калошу.

В этот момент к нам приблизился незнакомец в темно-зеленом пиджачке в обтяжку и соломенной шляпе-канотье...

Он на секунду застыл в немом восхищении перед господином с калошей, снял шляпу, самоуверенно обмахнулся ею и спросил:

— Что ж вы мне прошлый раз, когда я покупал картины, не показывали этой штуки? Занятно!

— Купите! Замечательная вещь,— захлопотал хозяин, почуяв настоящего покупателя.— Настоящая олеография! Это не то что масляные краски... Те — пожухнут и почернеют... А это — тряпкой с мылом мойте — сам черт не возьмет!

— Цена? — Уронил покровитель искусств, прищурившись с видом покойного Третьякова, покупающего уники для своей галереи...

— Четыре тысячи.

— Ого. И трех предовольно будет. Достаточно, что вы прошлый раз содрали с меня за женскую головку «Дюбек лимонный» — шесть тысяч.

— Та же больше. И потом на картоне наклеена — возьмите это во внимание!

— Ну, заверните. А фигур нет?

— То есть скульптуры? Очень есть одна стбящая вещь: Диана с луком.

— Садит? что ли?

— Чего?

— Лук-то.

— Никак нет. Стреляет. Замечательный предмет (хозяин сделал ударение на первом слоге) — настоящий, неподдельный гипс! — Вещь — алебастровая!!

Когда меценат, закупив часть живописных и скульптурных сокровищ,— довольный собой, удалился, я сделал серьезное лицо и спросил:

— Скажите, фамилия этого нового покровителя искусств — не Косьма Медичис?

— Никак нет, совсем напротив: Степан Картохин. Оне тут у портного в мастерах служат и огромадные деньги нынче вырабатывают: до восьмисот тысяч в месяц! Известно, девать некуда — вот оне в валюту все перегоняют — вещи покупают. И опять же, искусство любят.

И почувствовал я, что все мы, прежние, до ужаса устарели со всеми нашими Сомовыми, Добужинскими, Репиными, Обри Бердслеями, Ропсами, Билибиными и Александрами Бенуа [7].

Шире дорогу! Новый Любим Торцов идет!

Бумажки бьют из его карманов двумя фонтанами, и в одной руке у него сверкает всеми цветами радуги «Дюбек лимонный», в другой — «Покупайте калоши „Проводник“ »!

— Ars longa, vita brevis! [8]

Разговоры в гостиной

20-й век. Года́ 1910—1913-й

— Не знаю, куда в этом году поехать заграницу... Все так надоело, так опостылело... Не ехать же в эту олеографическую постылую Швейцарию, с ее коровами, молочным шоколадом, альпенштоками и пастушьими рожками.

— А на Ривьеру?

— Тоже нашли место! Это проклятое, вечно синее небо, это анафемское вечно лазурное море, эти экзотические пальмы, эта назойливая красота раскрашенной открытки!.. И в Германию я не поеду. Эта сытость животного, эта дешевка мне претит! Махнуть в Норвегию, что ли, для оригинальности? Или в Голландию...

— ...Вчера я перечитывала «Портрет Дориана Грея»... Какая утонченность, какая рафинированность. Вообще, если меня в последнее время что и занимает, так это — английская литература последних лет — весь ее комплекс...

— ...А я вам говорю, что ставить в Мариинке «Электру» [9] — это безумие! Половина певцов посрывает себе голоса!..

— Читали?

— Да, да! Это какой-то ужас. Весь Петербург дрогнул, как один человек, когда прочитал о горе бедной Айседоры Дункан. Надо быть матерью...

— ...Понимаете, между акмеизмом и импрессионизмом та разница, что акмеизм как течение...

— Позвольте, позвольте! А Игорь Северянин?..

— ...Расскажу, чтобы дамы не услышали. После Донона поехали мы в «Аквашку», были: князь Дуду, Ирма, Вовочка и я. Ну, понятно, заморозили полдюжинки...

— ...А я вам говорю, что Мережковский такой же богоискатель, как Розанов — богоборец!

— ...В последнем номере «Сатирикона»...

— ...Будьте любезны передать ром.

— ...Вы спрашиваете, отчего вся Россия с ума сошла? От Вилли Ферреро![10]

— Господа, кто вызывал таксомоторы? — два приехало.

— Прямо не знаю, куда бы мне и дернуть летом... Венеция надоела, Египет опостылел... Поехать, разве, на Карпаты для шутки?..

13-й век. Год 1920-й

— Кушайте колбасу, граф!

— Merci. Почем покупали?

— 120.

— Ого! Это, значит, такой кусочек рублей 7 стоит...

— ...Я вам советую поехать в Сербию, хотя там неудобно и грязновато, но русских принимают довольно сносно. Даже в гостиницы пускают...

— Что вы говорите?!

— ...В кают-компании все стояли, прильнув друг к другу, сплошной массой, но я придумал штуку: привязал себя ремнями от чемодана к бугшприту и так довольно сносно провел ночь. Благо тепло!

— Что это не видно моего кузена Гриши?

— Разве вы не знаете? На прошлой неделе от сыпняка кончился.

— Ах, вот что! То-то я смотрю... А булки почем покупали?

— ...Представьте себе, купила я две свечи, а одна из них без фитиля.

— Что же вы?

— А я растопила стеарин в стакане, потом взяла шнурок от корсета и стала обмакивать в стакан: обмакну и вытащу. Стеарин застывает быстро. Так и получилось несколько маленьких свечечек.

— ...Нет, простите! На чемодане спать удобно, только нужно знать — как. Другой осел будет пытаться спать на закрытом чемодане. А нужно так: все вещи из чемодана вынуть и завернуть в простыню; раскрытый чемодан положить крышками вверх, а сбоку, как продолжение, вынутые вещи; получается площадь в два аршина длины и в аршин ширины; впадина на ребре чемодана затыкается носками...

— Баронесса, по вас что-то ползет...

— Ах, это я с князем Сержем на грузовике каталась. Наверное, от него.

— ...Лучшая мазь от этих гадов — тинктура сабадилли. Мне жених подарил на именины целый флакон.

— Дуся! Дайте подушиться!

— ...Из Харькова мы ехали 28 дней. Я — с эшелоном солдат. Сначала питались орехами, у меня было 2 фунта,— а потом на станции Роскошной я выменяла у жены стрелочника свою кофточку на курицу. Солдаты сварили из нее суп в цветочном горшке, и мы ели. Я ела двойной ложечкой, для заварки чаю. Неудобно только, что вся жидкость в дырочки протекала прямо на платье. Ну, я потом платье в станционной бочке выстирала.

— ...Не знаю, куда мне и поехать: англичане не пускают русских в Англию, французы не пускают в Париж, немцы...

— Что это за масло у вас такое странное? Я уже второй бутерброд ем, ем и не могу разобрать...

— Это не масло. Мазь от экземы для Шурочки. Вот дура тетка! Неужели она на стол поставила? Ну, ничего — тут еще немного осталось — хватит.

— Вы читали «Портрет Дориана Грея»?

— Не читал. А вы читали приказ о выселении всех, кто живет тут меньше двух лет?

— ...Помню я, в толстовской «Смерти Ивана Ильича»...

— Скажите, он тоже от сыпного?

— А однажды я два дня спал на пишущей машине...

— Какой системы?..

— Если спирт и с бензином — это ничего, он годится... Надо только положить туда корицы, перечной мяты и лимонной корки. Наполовину отбивает запах.

— Не знаю, куда и поехать: туда не пускают, сюда не пускают...

Век — черт его знает какой...
год 1923-й

...Собираюсь в Константинополь.

— Как же вы поедете, если пароходов нет?!

— А мы с Иваном Сергеичем собираемся вплавь. Пузыри подвяжем, пробки. Удочки берем с собой, рыбку по дороге будем ловить... Пропитаемся. Мы высчитали — не больше трех недель плавания.

— Скажите, граф, вы читали «Письма Чехова»?

— Простите, я только по-печатному. Писанное от руки плохо разбираю.

— Слушайте, а как вы думаете, если мы поплывем с Иван Сергеичем на Батум — там англичане по шее не дадут?

— Дадут. Они же запретили русским показываться в Англии.

— ...Понимаете: купила я свечу, а она вдруг оказывается с фитилем! Чуть я себе зуб не сломала!..

— Вы читали, баронесса, «Портрет Дориана Грея»?

— Чаво?

— Читали Оскара Уайльда?

— Мы неграмотные.

— ...И поймал он, можете представить, на себе насекомую. С кулак величиной и весом в полтора фунта.

— Что же он?

— Натурально, зарезал, ощипал и в борщ. Наваристая, каналья.

— ...Сплю я, сплю, вдруг слышу, что-то меня кусает... высекаю я огонь и что же! — оказывается, Иван Николаич за ногу. Уже чуть не пол-икры отъел! Убил я его, повернулся на другой бок, снова заснул. ....
....
....

III. Денежная гипертрофия

Крах семьи Дромадеровых

Существует такой афоризм:

«Семья — это государство в миниатюре».

И никогда этот афоризм не был так понятен и уместен, как в 1919 году.

* * *

В семье Дромадеровых сегодня торжественный день: после долгих совещаний с женой и домочадцами глава семьи решил выпустить собственную монетную единицу.

Долго толковал он с женой о монетном обращении, об эмиссионном праве, о золотом запасе, и, наконец, все эти

государственные вопросы пришли к благополучному разрешению.

Тезисы финансовой стороны дела были выработаны такие:

I. Семья Дромадеровых для внешних сношений с другими семьями и учреждениями выпускает собственную монетную единицу.

II. Ввиду отсутствия металлов монетная единица будет бумажная.

Примечание: при изготовлении монеты надлежит принять все меры к тому, чтобы затруднить подделку монеты.

III. Для того, чтобы избежать перенасыщения рынка кредитными билетами семьи Дромадеровых, вводится эмиссионное право.

IV. О золотом запасе. Выпущенные кредитные билеты семьи Дромадеровых обеспечиваются всем достоянием госуд..., т. е. семьи Дромадеровых, имеющей в своих кладовых два золотых массивных браслета, брошь, четыре кольца и двое золотых часов с золотой же массивной цепью.

V. Министром финансов назначается жена Дромадерова; ей же предоставляется право разрешения эмиссий.

* * *

Монетный двор был устроен на столе, в кабинете главы семьи.

Материалом для изготовления кредиток послужили три сотни когда-то заказанных и испорченных визитных карточек, на которых по недосмотру типографщика было напечатано:

«Николай Тетрович Дромадеров».

Сын Володька оттискивал на оборотной стороне карточек гуттаперчевые цифры «3 р.», «5 р.», «10 р.», отец ставил сбоку подпись, а гимназистка Леночка внизу приписывала:

— «Обеспечивается всем достоянием семьи Др.»

— «За подделку кредитных билетов виновные преследуются по закону».

— Морду буду бить,— свирепо пояснял отец семейства эту юридическую предпосылку.— Лучше бы ему, подлецу, и на свет не родиться. Ну-с, эмиссионное право на 2 тысчонки выполнили. Соня! Прячь в комод деньги и остаток материалов.

— Папочка,— попросил Володька.— Можно мне выпустить свои полтинничные боны? Так, рублей на пятьдесят?

— Еще чего! — рявкнул отец.— Я тебе покажу заводить государство в государстве!! Не сметь.

— Ну, слава Богу,— вздохнула жена Соня.— Наконец-то у нас есть человеческие деньги. Коля, я возьму 29 рублей, схожу на рынок. А то у нас на кухне совсем сырья нет.

— Сырья одного мало,— возразил Дромадеров.— Его еще обработать надо. Потребуется топливо и рабочие руки.

— Так я возьму еще сто рублей. Куплю дров и найму кухарку.

— Только скорей, а то население голодает.

* * *

На бирже новая монетная единица была встречена очень благожелательно.

В зеленной лавке «дромадерки» сразу были приняты без споров сто за сто, а мясник даже предпочитал их керенкам, на которых были очень сомнительные водяные знаки.

— Верные деньги,— говорил он.—Это не то что советская дрянь, обеспеченная, как говорится, блохой на аркане. Опять же скворцовки я приму, и воропьяновки я приму, потому — и Скворцов господин, и Воропьянов господин — очень даже солидные финансовые заборщики. Их даже в казначействе принимают. А волосаток мне и даром не надо, потому что — это уж все знают — господин Волосатов сущий жулик и свое эмиссионное право превысил раз в десять! А золотого запаса у него разве только коронка на зубе.

На денежном рынке дромадерки заняли прочное положение: при котировке за них давали даже скворцовки с некоторым лажем, а волосатовки предлагали триста за сто дромадерок — и то не брали!

Жена Соня расширяла два раза эмиссионное право, рынок искал дромадерок, как араб ищет воду в знойной пустыне, сам Дромадеров стал уже искоса с вожделением поглядывать на международный рынок, допытываясь у всех встречных — почем вексельный курс на Лондон и Париж,— как вдруг...

Но тут мы должны предоставить слово самому Дромадерову... Только он своим энергичным стилем может изоб-

разить весь тот ужас, всю ту катастрофу, которая постигла так хорошо налаженный монетно-финансовый аппарат:

— Сначала обратил я внимание, что у подлеца Володьки появились цветные карандаши, конфекты и даже серебряные часы-браслет... «Где взял, каналья?» — «Карандаши, говорит, товарищ подарил и конфекты тоже, а часы-браслет нашел»... Ну, нашел и нашел; ну, подарили и подарили... Ничего я себе такого не думал... Вдруг, слышу, говорят, Володька на бильярде сто рублей проиграл... «Где деньги взял?».— «Часы, говорит, продал».— «Врешь! Они у тебя на руке!» — «Это я, говорит, другие нашел»... Подозрительно, а? Стал я приглядываться к дромадеркам, которые мне изредка в руки попадали,— глядь, а на двух вместо «Тетрович» — «Петрович» напечатано.

Я к Володьке... «Ты анафема? Признавайся!!» В слезы. Покраснел как рак... «Я, говорит, папочка, только расширил эмиссионное право»... Ну, показал я ему это расширение права... До сих пор рука опухшая!..

— Чем же это все кончилось? — спрашивал сочувственный слушатель.

— Крахом! — отвечал несчастный отец, проливая слезы.— Кончилось тем, что теперь волосатовки идут выше: за одну волосатовку четыре дромадерки... Каково? Все финансовое хозяйство разрушил, подлый мальчишка!

Записки дикаря

Не так давно — управляющий конторой той газеты, где я иногда писал фельетоны,— отвел меня в сторону и сунул мне в руку целую пачку разноцветных бумажек разного фасона и формата.

— Что это? — слегка удивился я.

— Это вам.

— Зачем?!

— За то, что вы у нас пишете.

— Да что же я с этим буду делать?

— Берите. Такой у нас порядок.

— Какие смешные бумажки...

Чтобы не обижать симпатичного управляющего конторой, я сделал вид, что пачка этих странных обрезков раскрашенной бумаги очень меня обрадовала, отошел в сторону и стал рассматривать бумажку за бумажкой.

Были очень потрепанные, склеенные, но были и новенькие, от которых еще вкусно пахло типографской краской...

Одни кусочки чрезвычайно напоминали мне ярлычки на спичечной коробке, другие — наклейку на лимонадной бутылке, третьи — наклейку на нарзановой бутылке — даже орел был нарисован, — четвертые — очень походили на крап игральных карт.

Были и просто спокойные сорые бумажки...

А одна бумажка, размером побольше других, даже понравилась мне: очень красиво на ней была изображена яркая — желтая с черным — георгиевская лента.

— Послушайте, — робко сказал я, приблизившись к управляющему, — нельзя ли мне обменять этот ярлычок от спичечной коробки на большую штучку с желтой ленточкой.

— Можно, — усмехнулся управляющий. — Только я у вас возьму за одну с ленточкой — 25 ярлычков.

— Ловкий какой, — подумал я, отходя. — 25 ярлычков! Штуки три я бы еще дал, а 25... Ищи других дураков!

Я отобрал самые красивые кусочки с картинками и ярлыки — и сунул все это в карман, а узенькие маленькие ленточки были некрасивые — я их выбросил: улучил минуту, когда управляющий не смотрел на меня, и бросил в угол.

А то заметит еще, обидится...

* * *

Пришел я домой, вынул пачку подаренных мне бумажек и положил их в ящик письменного стола — в этом ящике у меня всякий дрязг валяется: кусочки обгорелого сургуча, приглашения на свадьбу с золотым обрезом и пуговицы от давно уже погибших брюк.

А вчера слышу, маленький сынишка соседки так раскапризничался, что сил нет — работать мешает.

Взял я часть полученной мною пачки, пошел к нему, стал его утешать:

— Погляди-ка, какая цаца: если не будешь плакать, я тебе подарю.

Подошла мать, посмотрела на нас, сказала небрежно:

— Вы ему этих засаленных бумажек не давайте — еще заразится, не дай Бог... Дайте ему лучше эту, с черно-желтой ленточкой.

— Пожалуйста. На тебе, Петя... Видишь, какая хорошая ленточка. И вот тебе еще две серенькие бумажечки с красными дядями. Видишь, какие хорошенькие мордочки в кружочке.

Заинтересованное дитя сразу затихло.

Вообще, детей можно купить всяким пустяком. Нужно только знать, как к ним подойти...

* * *

Вчера писал для одного знакомого рекомендательное письмо...

Он сидел тут же, ждал.

В перо попала волосинка и повезла, замазывая все закругления букв.

Я выругался, поискал глазами клочок бумажки, чтобы очистить перо, не нашел, выдвинул ящик стола, взял один ярлычок и стал обтирать перо.

И тут я с удивлением заметил, что на лице моего знакомого отразился ужас.

— Что вы делаете?! — крикнул он.

— Разве не видите? Обтираю.

— Чем? Да ведь это керенка!!

— Ну? Я не знал, что оно так называется.

— Да ведь это деньги!!!

— Что вы говорите? — ахнул я, искренно огорченный.— Неужели на эту бумажку можно купить костюм?

— Ну, положим, для костюма нужно таких штук пятьсот, шестьсот.

— Вот видите! Где же мне столько набрать... А башмаки можно купить?

— Штук двести нужно.

— То-то и оно. А у меня их и пятидесяти штук не наберется. Тут, впрочем, еще есть такие, с красными портретиками...

— Это украинки!..

— Что вы говорите! А эти вот, розово-лиловенькие, пестренькие...

— Ну да! Крымские двадцатипятирублевки. Только это фальшивые.

— Плохо сделана, что ли?

— М...м...да, если хотите. Ее у вас не примут.

— Выбросить, что ли?

— Придержите пока. Может быть, какой-нибудь дурак возьмет.

— А я давеча мальчишке дал поиграть такими вот. Одна была с ленточкой. Черная с желтым.

— И глупо сделали. Ведь вы на эти бумажечки можете чего-нибудь купить.

— А чего?

— Ну, я уж не знаю. Пойдите на базар и купите.

«Врет, поди»,— недоверчиво подумал я.

Но — решил попробовать.

* * *

Как смешно!

Оказывается, действительно, за эти обрезочки кое-что дают.

Я пошел на базар, положил на прилавок одного ларька всю пачку и спросил:

— Что дадите за это?

Оказывается, дали:

1. Целого гуся.
2. Два десятка яиц.
3. Фунт масла.

Подумайте только: целый фунт масла!

А и бумажек-то этих было не больше четверти фунта.

Я схватил все завернутое мне — гуся, яйца и масло — и поспешно ушел, почти убежал, боясь, чтобы торговец не раздумал.

Вдруг да вернет.

Гусь оказался очень милым, сочным, да и из яиц добрая половина была свежая, съедобная.

Эге-ге...

Начинаю понимать смысл жизни...

Давно собирался покушать жареного поросенка. Завтра же пойду к управляющему конторой, попрошу: не даст ли он мне еще с полфунтика бумажек.

Узнал я также, что напрасно выбросил тогда узкие длинные ленточки: за четыре таких ленточки дают коробку спичек.

Это говорят:

— Купон.

А черт же его знал!

Купон — не купон.

По виду некрасивый.

Эту историю рассказал мне один очень симпатичный человек.

— Видите,— сказал он мне, показывая в театре на сидящего в ложе полного блондина.— Видите этого господина? Инженер Пятеркин. Замечательно светлая личность! Я очень хотел поступить к нему на службу и, представьте себе,— никак, ну, никак — не могу!

— Что ж... не хочет он, что ли? — спросил я вяло, без любопытства, как спрашивают, обыкновенно, предчувствуя впереди скучный безынтересный рассказ.

— Он-то не хочет? Да он спит и видит, чтобы меня к себе залучить!

— Значит, вы не хотите?

— Хочу! С руками и ногами готов пойти!

— Понимаю! Значит, дело у вас еще не открылось?

— На полном ходу дело!

— Догадался: вакансий нет?

— Есть! Как раз для меня!

— Жалование маленькое, что ли?

— Еще вчера он предлагал мне 20 тысяч в месяц!

— Да провалитесь вы! В чем же дело?! Он хочет, вы хотите, дело интересное, жалованье большое,— а поступить не можете!

И тут, отведя меня в уголок за дверью, он рассказал мне одну из самых диких историй наших диких дней.

* * *

...Этот Пятеркин обо мне очень много наслышан.

Как-то встречает меня:

— Поступайте ко мне на службу!

— К вам-то? Да с удовольствием. А какое жалование?

— Три тысячи в месяц.

— Пожалуй, подходит. Закончу дела на своей теперешней службе и через две недели к вам.

Закончил я дела, собрался к инженеру Пятеркину, узнала жена, одобрила. Потом спрашивает:

— А какое жалование?

— Три тысячи.

— С ума ты сошел? Не хватит!

— Постой... А я уже две недели тому назад покончил с ним.

— То было две недели тому назад, а то теперь! Тогда масло стоило 30 рублей фунт, а теперь 45, тогда ботинки стоили тысячу рублей, а теперь полторы. И все так... Пойди, измени условия!

Прихожу: рассказываю. Инженер Пятеркин, как я уже изволил вам докладывать,— светлая личность! Да, говорит, вы правы... За эти две недели жизнь поднялась в полтора раза. Хорошо. Будете вы у меня получать четыре с половиной тысячи!

Радостный, побежал я к жене. До того бежал, что вспотел, пронизало меня ветром, пришел домой и слег.

Инфлюэнца.

Две недели провалялся. Встал, собираюсь к инженеру Пятеркину.

А жена опять:

— Постой! Как же ты будешь получать четыре с половиной тысячи, когда жизнь опять вздорожала на 35 процентов. Масло, что стоило 2 недели тому назад 45,— теперь 60, ботинки вместо полторы — две тысячи!

Пошел я к этой светлой личности Пятеркину, рассказал.

С одного слова все понял человек!

— Верно,— говорит.— Ежели,— говорит,— по маслу равняться — цена вам шесть тысяч. Только подождите две недельки. Пока вы болели, я на ваше место взял на месяц временного человека. Дослужит он и уйдет. А вы на его место.

Подождал я две недели, собираюсь идти к Пятеркину.

Жена опять:

— А какое жалование?

— Шесть тысяч.

— Что ты, милый! Как же можно на шесть тысяч прожить, когда масло уже 120, ботинки — четыре тысячи...

Прихожу к этой буквально замечательной личности Пятеркину — рассказываю...

— Верно,— говорит.— Если уж начали мы по маслу равняться и по ботинкам — так и будем продолжать. Значит, полагается вам 9 тысяч. Контракт на 3 года, как у нас установлено...

Тут меня и осенило.

— Позвольте! — говорю.— Ежели за это время каждый месяц цены на все увеличиваются вдвое, то как же я могу

застыть на одном и том же жалованье? Ведь этак я месяца через три умру с голода.

До чего это была светлая личность — сказать даже не могу.

— Верно,— кричит,— совершенно бесспорно! Тогда мы, если вы хотите, сделаем расчет прогрессивный. Два месяца тому назад сколько стоило масло?

— 30 рублей.

— Месяц тому назад?

— 60.

— Теперь?

— Значит, 120.

— Ботинки?

— То же самое: тысяча — две тысячи — четыре тысячи...

— Так,— говорит,— теперь, когда мы математически установили вздорожание жизни в месяц ровно вдвое... (ох, и математик же был, шельма! Светлая голова! недаром — инженер!)... то теперь мы, говорит, равняясь по маслу и ботинкам, исчислим математически и увеличение вашего жалования... Этот месяц вы получите 9 тысяч, второй — 18, третий — 36, четвертый — 72, пятый — 134, шестой — 288, седьмой — 576, восьмой... ну, будем для ровного счета считать — миллион в месяц. На девятый месяц — 2 миллиона, десятый — четыре, одиннадцатый — 8, двенадцатый — 16 миллионов...

Он погрузился в вычисления, потом оторвался, покрутил головой:

— Гм...да! Выходит, что к концу второго года вы получите ежемесячно 64 миллиарда, а к середине третьего года свыше четырех биллионов в месяц.

— Многовато,— задумчиво сказал я.

— Да, дело, пожалуй, этого не выдержит.

— И возиться с ними, с такой уймой деньжищ, тоже, знаете, затруднительно. Ведь эти четыре биллиона домой привезти — обоз нанимать придется!

— И верно! А сколько миллиардов один обоз будет стоить? Да помещение для хранения нужно... Сухое, железобетонное! Да страховка от пожара, да сторожа, да счетчики...

Говорю ж вам — светлая был голова инженер Пятеркин — все высчитал — даже сторожей не забыл!

Сидим мы, молчим оба — грустные-прегрустные.

— Что ж теперь делать? — спрашиваю. — Может, плюнуть пока на эти расчеты и поступить к вам тысяч на десять!.. А там видно будет.

— А контракт на 3 года? Ведь по уставу нашего общества — мы без контракта не можем.

Вздохнул я. Ушел.

И так вот до сих пор хожу я к нему. Поговорим, поговорим и разойдемся.

И мне хочется служить, и ему страх как хочется, чтобы я поступил. И прошло уже с тех пор три недели. И масло уже 180, ботинки вчера жене купил — 7000, значит, наш расчет по маслу был верен, а поступить все не могу!..

Сойдемся оба и чуть не плачем ....
....
....

* * *

Голова рассказчика уныло свисла на грудь.

— А я, собственно, не понимаю, — заметил я, — почему вам было не подписать контракт на эти 4 биллиона? Получали бы вы 4 биллиончика в месяц, а ботинки стоили бы тогда биллиончика три...

— Мы-то оба понимаем, но главное — перевозка! Да наем сухого железобетонного сарая, да сторожа, да счетчики, да кассиры... Инженер Пятеркин — светлейшая голова — он уже все высчитал!

Да... Страшные, леденящие кровь драмы совершаются около нас каждый день, а мы проходим себе мимо, как дураки, и ничего не замечаем...

IV. Спекуляция

Борцы

На первом организационном собрании «Общества русских граждан, соорганизовавшихся для борьбы со спекуляцией» («Обспек») — инициатор организации Голендухин говорил:

— Господа! Не только административными мерами нужно бороться со спекуляцией! На помощь власти должны прийти сами граждане, должна прийти общественность! Посмотрите на Англию (и все посмотрели на Англию) —

там однажды торговцы повысили цену на масло — всего два пиастра на фунт — и что же! Вся Англия встала на ноги, как один человек,— масло совершенно перестали покупать, всеобщее возмущение достигло такой степени, что...

— Простите...— поправил Охлопьев,— но в Англии пиастров нет. Там — пенни.

— Это все равно. Я сказал для примера. Обратите внимание на Германию (и все обратили внимание на Германию) — там на рынке фунт радия стоит...

— Я вас перебью,— сказал Охлопьев,— но радий на фунты не продается...

— Я хотел сказать — на пиастры...

— Пиастры — не мера веса...

— Все равно! Я хочу сказать: если мы сейчас повернемся в сторону России (и все сразу повернулись в сторону России), то... Что мы видим?!

— Ничего хорошего,— вздохнул Бабкин.

— Именно, вы это замечательно сказали: ничего хорошего. У нас царит самая безудержная спекуляция, и нет ей ни меры, ни предела!... И все молчат, будто воды в рот набрали! Почему мы молчим! Будем бороться, будем кричать, разоблачать, бойкотировать!!

— Чего там разоблачать,— проворчал скептик Турпачев.— Сами хороши.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я хочу сказать о нашем же сочлене Гадюкине.

— Да, господа! Это наша язва, и мы ее должны вырвать с корнем. Я, господа, получил сведения, что наш сочлен Гадюкин, командированный нами за покупкой бумаги для воззваний, узнал, что на трех складах, которые он до того обошел, бумага стоила по 55 тысяч, а на четвертом складе с него спросили 41 тысячу... И он купил на этом складе 50 пудов и продал сейчас же в один из первых трех складов по 47 тысяч.

— Вот-те и поборолся со спекуляцией,— вздохнул Охлопьев.

— Ловко,— крякнул кто-то с некоторой даже как будто завистью.

— Именно что не ловко, раз попался.

— Внимание, господа! — продолжал Голендухин.— Я предлагаю пригвоздить поступок Гадюкина к позорным столбцам какой-нибудь видной влиятельной газеты, а самого его в нашей среде предать... этому самому...

— Чему?

— Ну, этому... Как его остро... остра...

— Остракизму? — подсказал Охлопьев.

— Во-во! Самому острому кизму.

— Чему?

— Кизму. И самому острейшему.

— Позвольте: что такое кизм?

— Я хотел сказать — изгнание! Долой спекулянтов!

Встал Охлопьев.

— Господа! Конечно, мы должны бичевать спекулянтов, откуда бы они ни появлялись... Но вместе с тем мы должны и отдавать дань уважения тем коммерсантам, которые среди этого повального грабежа и разгильдяйства сохранили «душу живу». Я предлагаю послать приветствие оптовому торговцу Чунину, который, получив из заграницы большую партию сгущенного молока, продает его по 1100 р., в то время, когда другие оптовики продают по 1500, и это при том условии, что сгущенное молоко еще подымется в цене!!

— А где он живет? — задумчиво спросил Бабкин.

— А вам зачем?

— Да так, зашел бы... поблагодарить. Отдать ему дань восхищения...

— Он живет: Соборная, 53, но дело не в этом...

Встал с места Турпачев.

— Предлагаю перерыв или вообще даже... Закрыть собрание...

— Почему?

— Да жарко... И вообще... Закрыть лучше. До завтра.

— Да! — сказали Грибов, Абрамович и Назанский. — Мы присоединяемся. Закрыть.

Большинством голосов постановили: закрыть.

* * *

У ворот дома Соборная, 53 столкнулись трое: Абрамович, Бабкин и Грибов.

— Вы чего тут?!

— А вы?

— Да хочу зайти просто... От имени общества принести благодарность Чунину, этому благородному пионеру, который на фоне всеобщего грабежа, сияя ярким светом...

— Бросьте. Все равно опоздали!

— Как... опоздал?

— Свинья этот Голендухин. А еще председатель! Инициатор...

— Неужели все скупил?

— До последней баночки. А? По 1100... А я-то и пообедать не успел, и извозчика гнал.

— Возмутительно!! В эти дни, когда общественность должна бороться... Где он сейчас?

— Только что за угол завернул. Еще догоните.

Из ворот вышел Турпачев.

— Господа! Я предлагаю не оставлять безнаказанным этого возмутительного проступка представителя общественности, в то время, когда наша Родина корчится в муках, когда уже брезжит слабый свет новой прекрасной России...

— Слушайте, Турпачев... А он по 1300 не уступил бы?

— Какое! Я по 1400 предлагал — смеется! Если мы, господа, обернем свои взоры к Англии...

Но никто уже не оборачивал своих взоров к Англии.

Стояли убитые.

Торговый дом «Петя Козырьков»

Мы уже стали забывать о тех трудностях, с которыми сопряжено добывание денег «до послезавтра».

В свое время — до революции, которая поставила все вверх ногами,— это было самое трудное, требующее большой сноровки искусство.

Подходил один знакомый к другому и, краснея и запинаясь и желая провалиться сквозь землю, тихим, умирающим голосом спрашивал:

— Не можете ли вы одолжить мне пятьдесят рублей на две недели?

— Знаете что? — находчиво возражал капиталист.— Я лучше одолжу вам два рубля на пятьдесят недель.

Иногда ловили на ошеломляющей неожиданности:

— Послушай,— запыхавшись, подлетал один к другому,— нет ли у тебя двугривенного с дырочкой?

— Н-нет...— растерянно бормотал спрашиваемый.— В... вот — без дырочки есть.

— Ну, черт с тобой, все равно, давай без дырочки!

И, выхватив у сбитого с толку простака серебряный двугривенный, исчезал с ним.

Были случаи и явно безнадежные:

— Что это у вас?.. Новая сторублевка? Вы знаете, моя жена еще таких не видела. Дайте, снесу покажу ей... Да вы не бойтесь — верну. Дня через три-четыре встретимся, и верну.

А вот случай, чрезвычайно умилительный по своей беспочвенности:

— Что это вы все в землю смотрите?

— А? Полтинник ищу.

— Обронили, что ли?

— Я? Нет. Но я думаю, может, кто другой обронил.

Ах, с каким трудом раньше давали взаймы.

По свидетельству старинных летописцев (да позволено нам будет выразиться по-церковнославянски),— это было «дело великого поту»...

Должник-приступал к этой несложной операции, будто к операции собственного аппендицита, дрожа, заикаясь и спотыкаясь, заимодавец — с наглостью и развязностью необычайной, неслыханной — третировал несчастного en canaille [11], задавая ему ряд глупых вопросов и одаривая его попутно ни к черту не годными советами:

— А? Что? Да! Взаймы просите. Вы что же думаете, что у меня денежный завод, что ли? Нужно жить экономнее, молодой человек, сообразуясь с вашими средствами! Если бы я еще сам печатал деньги — тогда другое дело!.. А то ведь я их не печатаю — не правда ли? Чего вы там бормочете? А? Что? Ничего не понимаю!

Фу, какое было гадкое чувство!

А теперь у нас, в России, настал подлинный золотой век:

— А, что? Просите 7 тысяч? Да какой же это счет — 7 тысяч? Не буду же я ради вас менять в лавочке десятитысячную?! Или берите целиком десятитысячную, или подите к черту.

— Очень вам благодарен... Поверьте, что я на будущей неделе... сейчас же...

— Ладно, ладно, не отнимайте времени пустяками...

— Ей-Богу, я как только получу от папы деньги...

— Да отстанете вы от меня или нет?.. Действительно, нашел о какой дряни разговаривать...

— Поверьте, что я никогда не забуду вашей... вашего...

— А, чтоб ты провалился! Не перестанешь приставать — выхвачу обратно бумажку и порву на кусочки!

— Однако... Такое одолжение... Так выручили...

Сразу видно, что это старозаветный, допотопный должник.

Новый возьмет и даже не почешется.

А если вся требуемая сумма — тысяча или две — так он это сделает мимоходом, будто, летя по своим делам, на чужой сапог сплюнул.

— Сколько стоят папиросы? Две тысячи? Сеня! Заплати, у меня нет мелких. Как-нибудь сочтемся, а не сочтемся — так тоже неважно!

И Сеня платит, и Сеня смеется, распялив рот, не менее весело, чем жизнерадостный курильщик.

* * *

Позвольте рассказать об операции, которую любой из читателей может проделать в любой день недели и которая тем не менее несет благосостояние на всю остальную жизнь...

Один ушибленный жизнью молодой человек, по имени Петя Козырьков, не имея ни гроша в кармане, лежал в своей убогой комнате на кровати и слушал через перегородку, как его честила квартирная хозяйка:

— И черт его знает, что это за человек? Другие, как люди: спекулируют, хлопочут, торгуют, миллионы в месяц зарабатывают, а этот!.. И знакомства есть всякие, и все... а черт его знает, какой неудалый! Слушайте, вы! Еще месяц я вас держу и кормлю, потому я вашу покойную маму знала, а через месяц со всеми бебехами вон к чертям свинячим! Вот мое такое благородное, честное слово...

А надо сказать, Петя не зря лежал: он дни и ночи обдумывал один проект.

Теперь же, услышав ультиматум, дарующий ему совершенно точно один месяц обеспеченной пищей и кровом жизни, Петя взвился на дыбы, как молодой конь, и, неся в уме уже выкристаллизованное решение,— помчался на Нахимовский проспект.

Известно, что Нахимовский проспект это все равно что Невский проспект: нет такого человека, который два-три раза в день не прошелся бы по нем.

И вот на этом свойстве Нахимовского построил Петя свою грандиозную задачу: стал у окна гастрономического

магазина Ичаджика и Кефели, небрежно опершись о медный прут у витрины, и стал ждать...

Ровно через три минуты прошел первый знакомый...

— Афанасий Иванович! Сколько лет, сколько зим... Голубчик! У меня к вам просьба: дайте десять тысяч. Не захватил с собой бумажника, а нужно свечей купить.

— Да сделайте ваше такое одолжение... Пожалуйста. Что поделываете?..

— Так, кой-чего. Спасибо. Встречу, отдам.

— Ну, какие глупости. Будьте здоровы. Почин, говорят, дороже денег.

Через полчаса у Пети было уже 70 тысяч, а через четыре часа 600.

Это была, правда, скучная работа, но Петя для развлечения варьировал ее детали: то ему нужно было купить не свечей, а винограду для именинницы, то «ему предлагали приобрести очень миленькое колечко за триста тысяч» и не хватало десяти.

Короче говоря — к шести часам вечера — Петя встретил и задержал на минутку сто знакомых, что составляло по самой простой арифметике — миллион!

Пересчитал Петя добычу, сладко и облегченно вздохнул и помчался в кафе.

Уверенно подошел к одному занятому столику.

— Сгущенное молоко есть?

— Сколько надо?

— А почем?

— Оптом две тысячи.

— Пятьсот коробок.

— Ладно. Завтра утром на склад.

Свез Петя пятьсот коробок домой, сунул их под кровать, лег на кровать — и начался для него месяц самой сладкой жизни: дни и ночи лежал он на кровати, этот умный Петя, и чувствовал он, что в это самое время под ним совершается таинственный и чудный процесс постепенного, но верного обогащения его сгущенным швейцарским молоком, — не исследованный еще новыми экономистами процесс набухания и развития.

И ровно через месяц слез Петя с кровати, пошел в кафе и, усевшись за столик, громогласно сказал:

— Есть пятьсот банок сгущенного молока. Продаю.

Налетели, как саранча.

— Почем?

— А сколько дадите?

— По четыре!

— По шесть дайте.

— По пять!!

— Сделано.

Получил Петя два с половиной миллиона, расплатился с добросердечной хозяйкой, пошел на Нахимовский, стал на то же место и принялся ловить своих заимодавцев:

— Афанасий Иванович! Сколько лет, сколько зим. Что это я вас не видел давно? Там за мной должок... Вот, получите.

— Ну, что за глупости. Стоит ли беспокоиться. Я, признаться, и забыл. Спасибо. Ну, что поделываете?

— Так, кой-чего. Александр Абрамович! Одну минутку. Здравствуйте! Там за мной должок.

— Ну, какой вздор. Спасибо. Что это за деньги, хе-хе. Одни слезы.

— Ну, все-таки!

До вечера простоял у магазина Ичаджика и Кефели честный Петя, а на другой день — купил на оставшийся миллион спичек и папирос, сунул их под кровать, сам лег на кровать, и так далее..

....

Если вы, читатель, ходите по Нахимовскому, а живя в Севастополе, вы не можете избежать этого — вы должны заметить большой магазин, заваленный товарами, а над огромным окном — золоченая вывеска:

«Торговый дом «Петр Козырьков». Мануфактура и табачные изделия. Опт.»

Прогнившие насквозь

Зал ресторана. Пустынно. Только за одним из столиков сидят муж и жена, за другим столиком, поодаль от мужа и жены, — элегантный молодой господин.

У стены уныло, как осенняя муха, дремлет лакей.

Вот и вся рельефная карта, вот и вся диспозиция той местности, где должна произойти битва житейская.

Начинается тем, что муж бросает целый дождь сердитых взглядов то на жену, то на молодого человека.

Взгляды делаются все ревнивее, все яростнее.

Наконец, муж не выдерживает, вскакивает, надевает нервно перчатки и, скрестив руки, подходит к элегантному господину:

— Милостивый государь!!

— Милостивый государь? — хладнокровно приподымает одну бровь молодой господин.

— Я заметил, что вы смотрели на мою жену!

— Согласитесь сами, что я не могу вывинтить свои глаза и спрятать в карман. Надо же их куда-нибудь девать.

— Да! Но вы смотрите на нее особенным взглядом.

— Почем вы знаете — может быть, у меня все взгляды особенные.

— Вы на нее смотрели любовным взглядом!!

— Вы должны гордиться, что ваша жена может внушить такое серьезное чувство.

— Ах, так вы же еще и издеваетесь? В таком случае — вот вам!

Муж стаскивает перчатку и бешено бросает ее в лицо молодому господину.

— Что это значит?

— Я бросил вам перчатку! Вызываю вас к барьеру!

— О, сделайте одолжение! Я подымаю брошенную вами перчатку и принимаю ее.

— То есть как принимаете? Вы должны мне ее вернуть!

— Ничего подобного! Дуэльный кодекс Дурасова[12] гласит...

— Плевать я хотел на дурасовский кодекс, когда мои перчатки стоят 28 тысяч!!

— Вот эти вот перчатки?! Полноте!

— Вы считаете меня лжецом?

— Я вас не считаю лжецом, но вас просто ограбили. Содрали с вас. Я вам дюжину пар таких перчаток могу достать за 200 тысяч.

— Ей-Богу? А гросс[13] можете?

— Пожалуйста! Какие номера?

— Я вам сейчас запишу. Одну минутку.

Оба начинают записывать в записные книжки.

Жена, наблюдавшая с волнением начало этой сцены, вдруг начинает рыдать.

— Что такое, — оборачивается муж. — В чем дело? Постой, мы сейчас кончим.

— Ты сейчас кончишь?! О слизняк, для которого дюжина перчаток дороже чести жены. Я долго колебалась и со-

мневалась в твоем ничтожестве... Но теперь — увы! Сомненья нет. Ни одной минуты я не могу быть под одной крышей с такой торгово-промышленной слякотью, с такой куртажной мразью! Я ухожу от тебя.

— Опомнись, Катя, милая...

— Прочь с моего пути! Давай мне миллион, и я ухожу от тебя навсегда!

— Какой миллион! За что?

— Нужно же мне жить чем-нибудь?

— Прости, но я взял за тобой в приданое всего 12 тысяч...

— Да! Восемь лет тому назад! Когда наш золотой десятирублевик стоил 10 рублей. (Обращаясь к молодому человеку.) Эй, вы! Сколько бы теперь это стоило? Те 12 тысяч! Ну, скорее!

Молодой человек с готовностью выхватывает записную книжку.

— Сию минуту-с! Высчитаю.

Муж и жена усаживаются за разные столики, с нетерпением ждут конца вычисления.

— Ну что же вы? (нервничает жена).

— Скоро?

— Вот! По золотому курсу, это 183 миллиона 752 тысячи.

Жена энергично:

— Видишь, грабитель? Отдавай мне мои 183 миллиона!

— Постой... Ведь мы же их проживали вместе. Знаешь что? Возьми семьсот тысяч?

— Миллион!

Муж, вынимая из кармана деньги:

— Эх! Всюду убытки.

Жена идет к выходу, потом возвращается.

— Да! Я позабыла: давай еще шестьсот тысяч.

— За что?

— Как за что? Ведь я от тебя завтра утром переезжаю!

— Ну, так что?

— Значит, освобождаю свою комнату. Ты ее сейчас же сдашь — я тебя знаю — и сдерешь за нее тысяч сто в месяц! Вот и давай мне за первый год половину.

Муж, хватаясь за голову:

— А я тебя так любил... Человек, счет!

Официант подбегает с бумажкой в руке.

— Что-о? — кричит муж, просматривая счет. — За бутылку этого гнусного вина вы дерете 15 тысяч?!

— Помилуйте, господин... Себе в покупке стоит 12 тысяч.

— Вот эта дрянь? Да я вам по девяти с половиной сколько угодно достану!

— Годится! Два ящика можете? Фра́нко * ресторан?

Оба садятся за столик, записывают сделку. В это время оставленный всеми молодой господин бочком подбирается к даме, шепчет что-то...

— Фра́нко ваша квартира? — улыбаясь, спрашивает дама.

— Фра́нко любая моя комната.

Оба смеются, он берет ее под руку. Уходят.

Муж, аккуратно записав в книжку новую сделку, поднимает голову:

— Человек! А где же жена?

— Она ушла с тем молодым человеком.

— О, Боже! — со стоном вскрикивает муж, опуская голову на руки. — Какой ужас!

Тихо рыдает.

Растроганный лакей, склонившись над ним, ласково гладит его по плечу:

— Вы очень страдаете, господин?

— Еще бы! Гросс перчаток, дюжина по двести, — и я не успел записать его адреса!

V. Демократия

Драма на море

Матросы одного океанского судна поймали акулу...

Вытащили ее крюком на палубу и распластали.

— А интересно, братцы, что у нее в желудке, — сказал судовой врач.

Бравый матрос одним ударом ножа вспорол акулий желудок, бесстрашно сунул туда руку и вытащил... человеческий череп и записную книжку в прочном коленкоро-

* Франко (итал. franco, букв. — свободный) — в сделках купли-продажи (поставки) товара термин, обозначающий распределение транспортных расходов между продавцом и покупателем. — *Прим. сост.*

вом переплете, только чуть-чуть разъеденную едким желудочным соком.

— Глянь, ребята,— сказал юнга.— Обезьяничий череп.

— Ничего подобного,— возразил доктор.— Судя по форме — это череп первобытного дикаря. Первая ступень развития.

— Не думаю, чтоб «первая ступень»,— засмеялся младший офицер.— Не думаю, чтобы первобытный дикарь, ибо при черепе есть записная книжка. Несомненно — обладатель черепа и книжки — одно и то же лицо. А ну, поглядим... Ба! написано по-русски. Значит, компатриот! Угораздило беднягу. Послушайте-ка!

* * *

«Сыя записная книжка принадлежит члену «Профсогреба» Веденею Дрыкину.

Воскресение. Ужас, ужас и еще раз ужас. Наша старая рыбачья шхуна «Амфитрита» пошла ко дну ко всем чертям. Спасся только начальник и мы, шестеро... Плывем в лодке — куда неведомо! Хорошо еще, что начальник захватил компас и карту... Говорит, что берег в 80 милях и если хорошо грести, то в шесть дней догребем до берега. Навались, ребята!

Понедельник. Гребем. Подсчитывали рационы. Если по два сухаря и куску солонины в день, то на 5—6 дней хватит. Гребем день и ночь.

Вторник. Гребли, гребли, вдруг встает товарищ Алеша Гайкин и говорит этот Алеша Гайкин:

— А что, говорит, товарищи,— ведь тяжелая штука эта гребля.

— Очень, говорим, тяжелая.

— Это, говорит, труд, а всякий труд должен быть организован! Поэтому, говорит, предлагаю немедленно основать профессиональный союз гребцов для защиты наших пролетарских гребцовских интересов!

Начальнику это не особо чтобы понравилось:

— Что вы, говорит, ребята! Какие там союзы? Гребите себе, и конец! Доберемся до берега — тогда что хотите делайте.

— Нет,— говорит Алеша,— это ты врешь! Тогда уже поздно будет, на берегу-то. Мы должны организоваться сейчас. Выбирай, товарищи, председателя!

Вот оно, что значит: сознательный! Сразу сказал — что к чему! Мозговитая башка.

Побросали мы весла — стали выбирать. Ну, понятное дело — Алешу и выбрали.

— В таком разе,— кричит Алеша (радостный такой),— раз вы меня выбрали, то требую восьмичасового рабочего дня, и никаких гвоздей!

А начальник — смех на него смотреть — прямо что только не плачет:

— Да с ума вы, говорит, посходили! Где же это, кричит, видано, чтобы публика чуть ко дну не идет, а сама восьмичасового дня требует?! Да я сам, своими руками, буду хоть 15 часов грести... Одумайтесь, ребята.

— Думали,— говорит Алеша,— достаточно... И раз у нас проснулось классовое самосознание, то никаких ваших разговоров не должно быть. Правильно, товарищи? Голосуйте вставанием...

Проголосовали вставанием — чуть лодку не опрокинули.

А меня секретарем выбрали. Вот-то здорово! И сам не ожидал.

Среда. Решили грести так: четыре часа до обеда, четыре — после обеда. А так как обед был не особо чтобы какой, то Алеша потребовал увеличения пайка под угрозою забастовки.

Прямо плакал наш буржуй-начальник:

— Для вас же, чертей, берегу рационы... Ведь с голоду подохнете.

— Это,— говорит Алеша,— все трефовый разговор... А раз, что пролетариат работает — он должен и сносно питаться. Иначе минимум производительности!

Четверг. Вынул нынче Алеша из кармана книжечку-календарчик, глянул в него да как крикнет — таково радостно:

— Братцы-товарищи! А ведь нынче престольный праздник! Никто не имеет такого права, чтобы заставить нас у праздник работать. Бросай весла!

Ай и голова же! Прямо сил нет.

Пятница. Нынче у нас первый день забастовки. Вся штука вышла из-за того, что Алеша предъявил начальнику от имени профсоюза требование о больничной кассе и обеспечении на случай потери трудоспособности.

Получили отказ — забастовали.

Алеша называет это: «конфликт с предпринимателем».

Вот мозух! Где-нибудь в Англии или еще где — министром был бы, а у нас так, зря околачивается.

Суббота. Забастовка протекает — нормально.

До берега 68 миль.

Рационы — только на завтра. Если потом начальник перестанет кормить — поломаем весла.

Алеша так это и называет: «Порча орудий производства».

Появились акулы.

Этой сволочи еще чего надо?

Воскресенье. Рационы прикончили. Надо же питаться трудящему человеку.

Акулы прямо с ума спятили. Шныряют около лодки день и ночь — никакого им 8-часового рабочего дня нет!

Алеша чивой-то притих, а море, наоборот, разыгрывается. С запада желтая туча ползет, стерва, прямо как живая...

Акулы прямо чуть не через борт прыгают... Алеша даже одну кулаком по морде хватил.

Воскресенье (вечер). Буря. Алеша чего-то плачет.

— Простите, говорит, братцы, меня окаянного... Через меня все подох... ....

До чего сволочевый вал — чуть лодку не перевернул! Акулы... ....

Братцы, что ж это так... ....

* * *

От последней буквы записи тянулся длинный нервный карандашный хвост — будто кто-то помешал секретарю профсоюза дописать слово.

Дальше шли чистые листки.

* * *

— Какая странная история,— прошептал доктор, швыряя череп через борт.— И ужаснее всего, что никто от этого не выиграл!..

Офицер возразил:

— Как никто? А акулы?

Мне нужно было заказать себе костюм. Я пришел к портному и спросил:

— Вы портной?

— Видите ли,— отвечал он.— Короче говоря, я действительный член профессионального союза «Игла».

— Костюм мне сшить можете?

— М-м-м... Пожалуй. Только ведь это очень трудная штука — сшить костюм. Вы не думайте, что это так себе, пустяк.

— Я знаю. Если бы это было «так себе», я сшил бы сам. Сколько возьмете с моим матерьялом?

— Триста тысяч.

— Виноват, я даю и подкладку.

— А то как же. И пуговицы за ваш счет, и нитки. А иначе, согласитесь сами... Давайте задаток. Сто.

Я дал задаток и выжидательно остановился перед ним.

— Чего ж вы стоите? Ступайте домой. Как-нибудь на днях заверните.

— Виноват... А мерку?

— Можно и мерку. Впрочем, это не важно — рост у нас один. На какой-нибудь вершок вы выше и худее.

* * *

Вернувшись домой, я спросил у соседа:

— Сколько зарабатывает теперь ремесленник или рабочий?

— А черт его знает. Тысяч триста, я думаю.

— Не может быть! С меня сейчас за шитье одного костюма взяли триста тысяч!!

— А может быть, он будет шить ваш костюм целый месяц.

— Как месяц?! Раньше в два дня шили!

— Кто?!

— Портные.

— А теперь кто шьет?

— Действительный член профессионального союза «Игла».

— Ну, вот видите.

— А может, и этот, тово... В два дня... А?

— Тогда нужно предположить, что за 24 рабочих дня в месяц он зарабатывает три миллиона шестьсот тысяч.

— Это неслыханно!!
— Вот видите.

* * *

Через неделю я пошел к портному на примерку. Он сказал:
— Не готово к примерке.
Я беспомощно обвел глазами комнату, и вдруг мой взгляд упал на тоненькую тетрадку, валявшуюся на краю огромного стола. На обложке было написано:
«Дневник действ. члена проф. союза «Игла» Еремея Обкарналова»...
— Хоть стакан воды дайте,— кротко попросил я.
Он пошел за водой, а я украл тетрадку, сунул ее в карман и тихо вышел.
Дома прочитал. Записываю без сокращений и изменений.

* * *

2-го числа. Принимал сегодня заказ. Пока снимал мерку, торговался с заказчиком, глядишь — и день прошел.
3-го числа. Рассматривал материю. Какой хороший материал носят проклятые капиталисты, а? Пока пил чай, обедал, то, се — ан уж и вечер. Прямо ничего не поспеваешь делать. Засяду с завтрашнего дня!..
4-го числа. Праздник. Не работал. Отдыхал.
5-го числа. Ходил за нитками и пуговицами. Прихожу к магазину, а он закрыт. Вот черти — все бы им обедать. Вернулся домой, пил чай, пошел опять,— а магазин совсем и закрылся. До чего народ дармоед пошел. Когда они и торгуют — не понимаю.
6-го числа. Воскресенье. Отдыхал.
7-го числа. Хоть голова и трещит, но работа — первое дело.
Кроил штаны. Выкроил одну штанину — так разломило спину, что разогнуться не могу. Когда же, наконец, эта наглая эксплуатация нашего каторжного труда прекратится?
8-го числа. Престольный праздник. Слава Богу, хоть денечек отдохнем.
9-го числа. Опять ходил за пуговицами. Три магазина обошел, пока нашел, что нужно. Так и проваландался.

А здорово, черти, делают шашлык в погребе «Майская роза»! Только куда я задевал пуговицы? Неужто в «Майской розе» оставил? Пойтить, узнать.

10-го числа. Ну, да там. Как это я ей-Богу...

11-го числа. Штаны почти совсем выкроил. Разломило спину. Пьют, пьют нашу кровь, и когда это кончится неизвестно.

12-го числа. Скроить жилетку, что ли?

13-го числа. Воскресенье. Разгибал спину.

14-го числа. Кроил жилетку. Ножницы совсем тупые Снести поточить, что ли ча?

15-го числа. И где это я мог забыть? Неужто опять в «Майской розе»?

16-го числа. Так и есть.

17-го числа. Табельный день.

18-го числа. Собрание профессионального союза «Игла». Когда же это я за пиджак примусь?

19-го числа. Очень большой праздник.

20-го числа. Воскресенье.

21-го числа. Заказчик ругался, как какая-то собака. Побыл бы в моей шкуре! В биоскопе — картина «Зачем ты, безумная, губишь того, кто увлекся тобой». Пойтить после работы, что ли...

22-го числа. Принимал заказ от какого-то Аверченки. Очень подозрительная личность. Чуть ли не собирался торговаться. Наглеет публика, сил нет. «Мерку, говорит, сними». Смех один. Будто с покойника.

23-го
24-го
25-го
26-го } Кройка брюк, полпиджака, «Майская роза», пуговицы в лавке, в биоскопе «И сердцем, как куклой, играя, вы сердце, как куклу, разбили». Прямо чуть не плакал.

....

На этом дневник обрывался.

* * *

Было время, когда рабочие и ремесленники с оружием боролись за введение 8-часового рабочего дня.

Я думаю, если бы мы, буржуи, ввели теперь для рабочих и ремесленников восьмичасовой рабочий день они оказали бы нам вооруженное сопротивление.

Так как не сегодня-завтра это придет, то не будем, подобно страусу, зарывать голову в песок...

Давайте взглянем этому страшному «ЗАВТРА» прямо в его смеющуюся, строющую гримасы — харю.

* * *

У сапожника Сысоя Закорюкина («Мужская и дамская обувь, заказы и починка») сегодня бал...

Особняк его залит огнями, из окон на улицу доносятся звуки струнного оркестра, а мордастый щвейцар вальяжно прохаживается у подъезда, щеголяя красной с желтым ливреей (родовые цвета Сысоя Закорюкина) и помахивая на потеху собравшимся мальчишкам увесистой булавой.

Наверху же, у входа в зал, как это и полагается,— хозяин и хозяйка дома, Сысой и Анисья,— встречают именитых гостей.

Увидев приближающегося гостя, Сысой привычным элегантным жестом вытирает руку о шевиотовые штаны и подает ребром, лихо рубанув ею воздух.

— Проходите, проходите,— приветливо говорит он.— Нечего тут топтаться.

Анисья стирает концом шейного платка пот с пылающего лба и сияюще подмигивает гостям:

— Мой-то, а? Каки кренделя выкомаривает! А?

Гости все прибывают и прибывают — один гость именитее другого: портной Птахин, слесарь Огуречный, владелец лимонадной будки Гундосов, яичная торговка Голендуха Паскудина — не та, что умерла Макридой-миллионершей, а ее сестра, Голендуха, еще один портной — Обкарналов — все самая изысканная финансовая аристократия.

Среди гостей носятся даже слухи, что обещал прибыть портовый грузчик Вавило Рыклов — аристократ из аристократов, денди из дендев.

Его историографы и мемуаристы утверждали даже, что он в «двадцать одно» не моргнув глазом ставит на карту по полтораста, двести тысяч и выпивает в день по 3 бутылки мартелевского коньяку.

Наконец, все гости съехались.

Оркестр грянул «Алеша, ша», и пары закружились.

Хозяйка дома сидела у стены с солидным владельцем лимонадной будки и вела солидный, но увлекательный разговор.

— Набавил я на стакан воды двести — и что же вы думаете? — пьют, черти. Никто даже слово не скажет. Сосет, анафема, по два, по три стакана. Прямо ты его хоть с кашей ешь!

В голосе Гундосова слышалось почтительное удивление.

— Народ, диствительно,— покачала солидно головой хозяйка.— Прямо будем говорить — озверел! Приходит заказчик: «Сколько за сапоги?» — «Четыреста тысяч!» — «За пару?» Мой-то прищурился да как ляпнет: «Где там за пару! За штуку. Пара — восемьсот». И ведь заказывают!

— Дела! Музыку откуда достали?

— Один тут профессор консерватории обтяпал! Головастый, а иногда по роялю жарнет так, что чертям тошно.

— Известно, с голоду чего не сделаешь. У меня вот тоже бывший атташе посольства заказы принимает — прямо на улице подобрал я его — так ведь до чего лих с заказчиком говорить — прямо уму непостижимо! Такого ему Оскара Уайльда вотрет...

— Стаканчик мороженого!

— И очень даже. Здорово закручено. Сами крутили?

— Зачем сами. У нас тут бывший профессор химии прinанят для энтого дела. Рикиминдовали, что будто по какому-то анабиозу собаку съел. Вот мы его для мороженого и приспособили. Нехай себе крутит. Вообще, знаете, теперь вся энтилигенция на службе у капитала. Хотели мы даже концертик нынче соорудить, Собинова с Аверченкой договаривали, да ломучие они какие-то, Бог с ними. Пойдите вы, говорят, к этому самому... и слово то забыла, нехорошее слово. Одначе танцами дирижирует у нас балетмейстер киевского Оперного театра, а стол украшал художничек тут один — он еще в 16 году от Академии поездку в Италию получил. Известно, жрать всякому хотца...

* * *

Под утро бал у Сысоя Закорюкина («Мужская и дамская обувь, заказы и починка») — кончился.

Усталая, но довольная разъезжалась по домам новая аристократия.

И у подъезда долго еще можно было слышать зычные выкрики швейцара — бывшего оперного баса, творца партии Мефистофеля в «Фаусте»:

— Кучер, барон Менгден! Давай карету Гундосина.

— Шофер Голендухи Паскудиной, князь Белопольский! заводи мотор!

— Куда запропастился, черт его дери, граф Гронский?!

И из предутренней мглы слышался сонный голос:

— Граф Гронский поехал в чайную, а потом лошадей поить!..

* * *

Раньше на старом добром стяге было написано:

«Сим победиши!»[14]

Теперь, вместо Сима, пришла пора другого Ноева сына...[15]

На русском стяге красуется по новому правописанию:

«Хам победиши!»

VI. Бесквартирье

Ищут комнату

По всему угрюмому зимнему побережью звенит один и тот же надрывный крик:

— Дайте комнату!

Но нет комнаты...

«И висела ночь без исхода»...

На последней странице газеты в правой ее стороне толпой собираются бледные призраки безысходно ищущих, и еле-еле слышишь в сутолоке жизни их бескрасочный шелест:

— Дайте же комнату...

Впрочем, не все публикации вялы и бескрасочны... В последнее время жизнь научила ищущих придавать своим стонам яркую, пышную, красочную оболочку:

«3000 руб. тому, кто укажет комнату, безразлично где».

«Дайте комнату! Буду отапливать своими дровами всю квартиру».

«За комнату буду готовить и себе и хозяевам обед из своего провианта, а также научу любой музыке».

Есть и сложные объявления:

«Ищу комнату. Если с отдельным ходом — отдам хозяйке свои новые лаковые открытые туфли и японские ширмы. Если же отдельный ход и центр города — прибавлю еще перламутровый бинокль и право брать продукты в кооперативе «Одно удовольствие». Тут же продается беличья шубка, крытая рипсом».

А вот расчет на психологию:

«Указавшему комнату уплачу *1000 руб.* франками».

Человек, так сказать:

«Берет на валюту».

А вот публикация, прямо умилительная своей наивностью, беспочвенностью и полной бесцельностью:

«Ищу комнату для одинокой. С предложениями (?!) обращаться на имя М. С.».

Разве во время воя тропической бури можно услышать жужжание комара?

Таких же результатов достиг бы лондонский Дрюри-Ленский театр[16], если бы анонс о своем спектакле вывесил на верхушке пальмы в центре африканской пустыни Калахари.

Бедная наивная «одинокая».

Тогда уж понятнее эти две строки:

«*Если вы порядочные люди*, дайте комнату одинокому!»

Тут хоть вопль слышится, какой-то шум производит человек: авось, кто-нибудь и преклонит свое ухо.

* * *

Один мой приятель, человек очень серьезный, не мальчишка, не вертопрах,— вертелся, вертелся без квартиры, мучился, мучился, изучал, изучал быт и психологию газетных публикаций о комнатах, да, вдумавшись хорошенько во все это дело,— и бухнул в газете объявление:

«*Согласен жениться на хозяйской дочери* за комнату. Возраст безразличен, цена безразлична, все безразлично, кроме комнаты! Адресуйте предложения руки и сердца и комнаты — туда-то»!

Большого ума человек был мой приятель: в тот же день к нему явился пожилой господин.

— Я по поводу своей дочери.

— И комнаты, конечно? — осторожно добавил мой приятель.

— Ну, само собой разумеется. Одно без другого не будет.

— А-а. Очень приятно. Хорошенькая?

— Ничего себе, росту небольшого, но зубки...

— К черту зубки! я о комнате спрашиваю: комната хорошенькая?

— Ничего себе. А дочь, можете представить, такая способная: кончила за четыре класса...

— Светлая?..

— М...м... Как вам сказать? скорее, каштановая.

— Обои, что ли?

— Нет одна. У меня единственная.

— Обои, вы говорите, каштановые или что?!

— Волосы.

— Чьи?!

— Дочкины.

— А чтоб вас! Я вас о серьезном спрашиваю, а вы мне о пустяках.

— Ах, вы о комнате? Да ничего... светловатая. Она у меня все перебирала, не хотела выходить, вот и доперебиралась! Досиделась до того, что рада и втемную...

— Как втемную? Чего втемную! Вы же говорите: светловатая.

— Я говорю о замужестве. Засиживаться долго нельзя.

— Что? Ну, до часу-то можно. Пока горит электричество?

— При чем тут электричество?

— Если гости придут.

— Моя дочь не такая.

Мой приятель задумчиво пожевал губами и спросил:

— Теплая?

— То есть температура? Нормальная, что вы! 36,5.

— Ах ты, Господи! Да на дочке вашей я все равно женюсь; чего вы мне ее расхваливаете. Вы лучше о комнате расскажите.

— Виноват, я все-таки хотел бы, чтоб все вышло вроде как по любви... Все-таки я отец.

— А я квартирант. Это почище будет! Кстати, самовар будете давать?

— Полный гарнитур! Рубашек кружевных 6, панталон...

— Бросьте, папаша! Пойдем лучше, посмотрим...

— Она еще не одета.

— Комнату, папаша, комнату!

* * *

Комната оказалась премиленькой, чего нельзя было сказать о невесте, но приятель мой чувствовал себя на седьмом небе:

— Ведь я три месяца спал на трех мыльных ящиках да неделю под прилавком обувного магазина! Наконец, нашел тихую пристань!

Но... Когда молодые вернулись из церкви и уселись за брачный стол вкупе с полдюжиной родственников — молодая жена нежно поцеловала мужа где-то между ухом и затылком и сказала:

— Ну, Гришенька, справим мы медовый месяц — нам на это и недельки довольно — да и отправимся на поиски...

— Чего?

— Квартиры. Не можем же мы вдвоем, да еще с прислугой, жить в одной комнате!..

* * *

Прокурор плакал навзрыд и заявил, что он не обвинять, а защищать будет убийцу.

Присяжные собрали в его пользу тысячу рублей, а окружной суд вынес приговор: «Признать убийство совершенным в целях самозащиты и умоисступления. Подсудимого оправдать».

— А с тюрьмой как же? — огорченно спросил оправданный Гриша.

— Вы свободны. Больше в тюрьму не вернетесь.

— Жаль. Может бы, в сумасшедший дом посадили?

— Нельзя. Вы нормальны.

— Ну, в контрразведку.

— Вы свободны!!!

— Значит, опять на мыльные ящики? Ну, и суд у нас в России!

Сентиментальный роман

Один Молодой Человек влюбился в одну девушку. Он встретился с нею у одних знакомых, познакомился и — влюбился.

Дело известное.

А девушка тоже в него влюбилась.

Такие совпадения иногда случаются.

Они пошли в кинематограф, потом в оперу. И влюблялись друг в друга все больше и больше по мере посещения кинематографа, оперы, цирка и театра миниатюр.

Молодому Человеку пришла в голову оригинальная мысль: объясниться с девушкой и предложить ей руку и сердце.

Этот Молодой Человек был проворный малый и знал, что первое дело при предложении руки и сердца — стать на колени. Тогда уж никакая девушка не отвертится.

Но где проделать этот гимнастический акт?

В опере? В цирке? В театре миниатюр светло и людно. Всюду такие сборы, что яблоку упасть некуда, не то что Молодому Человеку — на колени.

В кинематографе? Там, наоборот, темно, но и это плохо. Девушка может подумать, что он уронил шапку и ползает в темноте на коленях, отыскивая ее. В таких делах минутное недоразумение — и все погибло.

Мелькала у Молодого Человека мысль пригласить девушку к себе, но она была застенчива и никогда бы не пошла на эту авантюру.

И вдруг Молодого Человека осенило:

— Пойду к ней!

— Можно вас навестить, Марья Петровна? — однажды осведомился он сладким голосом.

— Мм... пожалуйста. Но у меня тесно.

Молодой Человек парировал это соображение оригинальной мыслью.

— В тесноте, да не в обиде.

— Ну, что ж... приходите.

— Ей-Богу, приду! Посидим, помечтаем. Вы мне поиграете.

— На чем?!

— Разве у вас нет инструмента?

— Есть. Для открывания сардинок.

— Да,— печально согласился Молодой Человек.— На этом не сыграешь. Ну, все равно приду.

* * *

Молодой Человек надавил пальцем пустой кружочек, оставшийся от бывшего звонка, стукнул ногой в дверь и кашлянул — одним словом, проделал все, что делают

люди в наш век пара и электричества — чтобы им открыли дверь.

— Что вам угодно? — спросил его сонным голосом неизвестный господин.

— Дома Марья Петровна?

— Которая? Их в квартире четыре штуки.

— В комнате номер три.

— В комнате номер три их две.

— Мне ту, что рыженькая. В сером пальто ходит.

— Дома. А вы чего ходите в такое время, когда люди спят?

— Помилуйте,— изумился Молодой Человек.— Всего 7 часов вечера.

— Ничего не доказывает. У нас три очереди на сон. Всегда кто-нибудь да спит. Идите уж.

Столь приветливо приглашенный, Молодой Человек вошел в указанную комнату — и остолбенел: глазам его представилось очень большое общество из мужчин и дам, а в углу, на чемоданчике,— мечта его юных дней.

— Что это? — робко спросил он, переступая через человека, лежащего посередине пола на шубе и укрытого шубою же.— У вас суарэ?[17] Вы, может быть, именинница? Недобрая! Неужели скрыли?

— Какое там суаре! Это жильцы.

— А где же ваша комната?

— Вот она.

— А они чего тут?

— Они тут живут.

— В вашей комнате?

— Трудно и разобрать — кто в чьей: они ли в моей, я ли — в их. Садитесь на пол.

Молодой Человек опустился на пол и ревниво спросил:

— Где же вы спите?

— На этих чемоданах.

— Но... тут же мужчины?

— Они отворачиваются.

— Марья Петровна! Я хотел с вами серьезно поговорить...

— Что слышно на фронте, Молодой Человек? — спросил господин, выглядывая из-под шубы.

— Не знаю. Я вот хотел поговорить с Марией Петровной по одному интересному вопросу.

— Послушаем! — откликнулся старик, набивавший папиросы.— Люблю интересные вопросы.

— Но это... дело интимное! — в отчаянии воскликнул Молодой Человек (не могу же я перед таким обществом бухнуть перед ней на колени!).

— Что ж, что интимное. Мы тут все свои. Только... виноват! Вы своей левой ногой залезли в мою площадь пола. Если бы вы у меня были в гостях — другое дело.

— Послушайте... Марья Петровна,— шепнул ей на ухо Молодой Человек, подбирая ноги.— Я должен вам...

— В обществе шептаться неприлично,— угрюмо сказала старая дева, поджимая губы.

Из угла какой-то остряк сказал:

— Отчего говорят: «не при лично»? Будто переть нужно поручать своему знакомому.

— Марья Петровна! — воскликнул Молодой Человек, горя, как факел, в неутолимой любовной лихорадке...

— Марья Петровна! Хотя я сам происхожу из небогатой семьи...

— А ваша семья имеет отдельную комнату? — с любопытством спросил старик.

Молодой человек вскочил на ноги... Пробежал по комнате, лавируя между всеми жильцами, перескочил через лежащего на полу и, придав себе таким образом разгон,— бухнулся на колени:

— Марья Петровна,— скороговоркой сказал он.— Я вас люблю надеюсь что и вы тоже прошу вашей руки о не отказывайте молю осчастливьте а то я покончу с собой!

Старик и господин под шубой завопили:

— Несогласны, несогласны! Знаем мы эти штуки!!

— Позвольте!..— с достоинством сказал Молодой Человек, поднимаясь с колен.— Что значит «эти штуки»?

— Насквозь вижу вас! Просто вы хотите этим способом втиснуться в комнату седьмым! Дудки-с! Нет моего согласия на этот брак!

— Господа! — моляще сказала Марья Петровна, соскальзывая с чемодана и простирая руки к жильцам.— Мы тут в уголку будем жить потихонечку... Я его за этим чемоданом положу — его никто и не увидит. О, добрые люди! Дайте согласие на этот брак!

— К черту! — ревел жилец из-под шубы.— Он уже и сейчас въехал ногами в плацдарм Степана Ивановича! А тогда, за чемоданом, он будет въезжать головой в мое расположение. Нет нашего благословения!

— Однако,— возразил удивленный Молодой Человек.— С чего вы взяли, что я буду жить здесь? У меня есть своя комната, и я заберу от вас даже Марью Петровну.

Дикий вопль радости исторгся из всех грудей.

— Милый, чудный Молодой Человек! Желаем вам счастья! Господа, благословим же их скорее, пока они не раздумали! Дайте, я вас поцелую, шельмец! Ах, какая чудная пара! Знаете, вы бы сегодня и свадьбу справили, а? Чего там!

Энтузиазм был неописуемый: старик совал в рот Молодому Человеку только что набитую папиросу. Старая дева порывисто дергала его за руку с явным намерением изобразить этим поступком рукопожатие, человек на полу под шубой — ласково трепал Молодого Человека по лодыжке, а в углу у чемоданов невесты двое жильцов, рыча и фыркая, как рассерженные пантеры, планировали по-новому свои угодья, примыкавшие к участку Марьи Петровны.

А когда счастливый, пьяный от радости Молодой Человек спускался с лестницы — его догнал старик, набивщик папирос.

— Слушайте,— задыхаясь, шепнул он.— Обратили внимание на другую девушку? Она хоть и немолодая, но замечательная — ручаюсь вам. Человек изумительного сердца! Нет ли у вас для нее какого-нибудь подходящего приятеля? Она сделает счастье любому человеку, да и мы бы заодно избавились от этой старой ведьмы, прах ее побери!

ЗАПИСКИ ПРОСТОДУШНОГО

Предисловие Простодушного

(*Как я уехал*)

> — Ехать так ехать,— добродушно сказал попугай, которого кошка вытащила из клетки.

Осенью 1920 года мне пришлось наблюдать в Севастополе редкое климатическое явление...

Именно, когда уже наступили прохладные дни, обещавшие с каждой неделей делаться все прохладнее и прохладнее, пока вся эта вереница суток по исконным правилам календарей не закончилась бы зимой,— в эти осенние дни ко мне пришел знакомый генерал и сказал:

— Вам нужно отсюда уезжать...

— Да мне и тут хорошо, что вы!

— Именно вам-то и нельзя оставаться. Скоро здесь будет так жарко, что не выдержите...

— Жарко?! Но ведь уже осень,— чрезвычайно удивился я.

— Вот-вот. А цыплят по осени считают. Смотрите, причтут и вас в общий котел... Говорю вам — очень жарко будет!

— Я всегда знал, что климатические условия в Крыму чрезвычайно колеблющиеся, но, однако, не до такой степени, чтобы в октябре бояться солнечного удара?!

— А кто вам сказал, что удар будет «солнечный»? — тонко прищурился генерал.

— Однако...

— Уезжайте! — сухо и твердо отрубил генерал.— Завтра же рано утром, чтобы вы были на борту парохода!

В голосе его было что-то такое, от чего я поежился и только заметил:

— Надеюсь, вы мой пароход подадите к Графской пристани? Мне оттуда удобнее.

— И в Южной бухте хороши будете.

— Льстец,— засмеялся я, кокетливо ударив его по плечу булкой, только что купленной мною за три тысячи...— Хотите кусочек?

— Э, не до кусочков теперь. Лучше в дорогу сохраните.

— А куда вы меня повезете?

— В Константинополь.

Я поморщился.

— Гм... Я, признаться, давно мечтал об Испании...

Ну, вот и будете мечтать в Константинополе об Испании.

В тот же день я был на пароходе, куда меня приняли с распростертыми объятиями. Это, действительно, правда, а не гипербола, насчет объятий-то, потому что, когда я, влезши на пароход, сослепу покатился в угольный трюм, меня внизу поймали чьи-то растопыренные руки.

На пароходе я устроился хорошо (в трюме на угольных мешках); потребовал к себе капитана (он не пришел); сделал некоторые распоряжения относительно хода корабля (подозреваю, что они не были исполнены в полной мере) и, наконец, распорядился уснуть.

Последнее распоряжение было исполнено аккуратнее всего...

Путешествие было непродолжительное, но когда мы подошли к Константинополю, то меня ни за что не хотели спускать на берег.

Я сначала думал, что команда и капитан так полюбили меня, что одна мысль расстаться с таким приятным человеком была им мучительна, но на самом деле случилось наоборот: не пускала на берег союзная полиция, а команда не прочь была бы даже выкинуть нас всех за борт, только чтоб развязаться с беспокойным непоседливым грузом.

Не желая быть в тягость — ни команде, ни полиции,— я ночью потихоньку перелез на стоявший подле русский пароход-угольщик, где старые морские волки приняли меня как родного...

Милые вы люди! Если вы сейчас где-нибудь в плавании по бурному океану — пусть над вами ярко и ласково сияет солнце, а под килем нежная морская волна пусть нежит вас, как колыбель,— крепко желаю вам этого!

* * *

Приступая к «запискам», я прежде всего хочу сказать несколько теплых слов — в защиту одного господина...

Того самого, который, по утверждению старинной русской легенды, прегорько рыдал на свадьбе и весело плясал на похоронах.

Этого господина легенда окрестила ярким исчерпывающим именем:

— Дурак.

Да полно! Так ли это! Не произошло ли в данном случае жестокой исторической несправедливости? Дурак!.. Не наоборот ли? Не мудрец ли этот русский, проникший светлым умом в самые глубинные тайны русского бытия.

Человек горько плачет на свадьбе... Да ведь он прав! Ему, конечно, жалко эту безумную пару, бросающуюся, очертя голову, рука об руку в пучину, из которой и одному-то не выбраться!

Человек веселится на чужих похоронах... Да ведь и тут он тысячу раз прав, этот мудрец, тихо радующийся, что вот, дескать, хоть один человек, наконец, устроился как следует: не нужно ему ни пайка, ни визы, ни перескакивания с одного берега на другой.

Пора, пора — давно пора — пересмотреть наше отношение к дураку. Он мудрец. Может быть, раньше это было трудно понять, но теперь, когда вся Россия вывернулась наизнанку и сидит на чемоданах и узлах,— мы многое должны пересмотреть и переоценить.

Впрочем, если быть искренним, то за «бывшего» дурака, а ныне мудреца я распинаюсь не без тайной цели: попутно я хочу оправдать и себя, потому что отныне я тоже решил «улыбаться на похоронах»...

Первый день в Константинополе

...Я забрал с парохода свои вещи, сел в лодку и поехал к Галатскому берегу.

И едва лодка клюнула носом каменную плиту пристани, и едва в лодку свалился живой клубок разнокалиберных тел — я понял, что меня здесь знают. Потому что — так орать и спорить из-за сомнительной чести тащить мои чемоданы — могут только люди, искренно чтущие любимого писателя.

Эти восточные поклонники быстро расхватали мои вещи — и мы понеслись в голубую неизвестную даль, короче говоря на Перу[1], а еще короче говоря, в ту маленькую комнату, которую мне наняли заранее.

На Пере среди грохота и гвалта меня остановила какая-то Божья старушка — столь уже уместная тут, как цветочек незабудки в пасти аллигатора.

— Что вам, бабушка?

— Голубчик мой, а где ж тут турки?

— Которые?

— Да ведь это, чай, Турция.

— Чай, она.

— А чего ж турка ни одного нет?

Чтобы успокоить эту мятущуюся душу, я ткнул пальцем в какого-то господина в феске, свирепо пожиравшего слоеную дрянь с лотка.

Это был единственный турок на горизонте.

— Вот этот? Вы чего ж, батюшка, в германскую войну давеча втемяшились? [2]

Турок пожал плечами и отвечал:

— Эх, тетя! Нешто не признали? Вместе на «Сиаме» из Севастополя ноги уносили...

И обернулся к продавцу:

— Комбьен сетт гато? [3]

— Бешь груш [4].

— Олл райт. А риведерчи [5], тетушка.

Как во время настоящего приличного столпотворения — все говорили на всех языках.

Однако больше всего ухо улавливало французский язык. Говорили на нем беженцы так, что даже издали слышался густой запах нафталина, как от шубы, которая долго лежала в сундуке без употребления и которую наконец-таки извлекли на свет Божий и стали перетряхивать.

Около ресторана Сарматова я слышал такой диалог.

Господин сделал испуганное лицо и, подбирая французские слова с таким страхом, с каким неопытная барышня впервые заряжает револьвер, спросил прохожего:

— Комм же пуве алле дан л'амбассад рюсс? [6]

Спрошенный ответил:

— Тут-де сюит. Вуз алле ту а гош, а гош, апре анкор гош, е еси будут... гм... черт его знает, забыл, как поихнему, железные ворота? [7]

— Же компран [8], — кивнул головой первый. — Я понимаю, что такое железные ворота. Ла порт де фер [9].

— Ну, вот и бьен [10]. Идите все а гош — прямо и наткнетесь.

* * *

В этот вечер я заснул рано, а проснулся еще раньше: ужасный, нечеловеческий вопль прорезал утренний воздух под самым моим окном.

Мой компаньон по комнате вскочил с кровати и поглядел на меня диким взглядом:

— Понимаете, что это значит? Кемалисты[11] вошли в город.

Н-да, въехали мы в историю, пробормотал я. Из огня да в полымя. Однако, пойдем на улицу. Вы не боитесь?

Ну вот, не видал я этих резнев. Чего там бояться. Русские, чай.

А крики, вопли, стоны и мольбы о помощи все неслись и неслись с улицы. Чувствовалось, что там, за стеной, растут целые гекатомбы[12] свеженарезанных тел, обильно орошенных кровью.

Мы не могли больше... Мы выбежали на улицу.

Молодой грек стоял около корзиночки, на дне которой терялось полдесятка полудохлой скумбрии,— и, разинув рот, ревел во все горло...

Мы остолбенели.

Слушайте, а ведь это он кричит.

Но ведь его не режут.

А надо бы. Не кричи, каналья.

— Товар продает. Известно, трудно им.

Однако, послушайте... Если, продавая только полдесятка дохлой скумбрии, он так орет, какие же он издает звуки, если ему поручить продать шестиэтажный дом?

Рев, крики, стоны и вопли неслись уже со всех сторон.

Зверь встал на задние лапы, потянулся и, широко раскрыв огромную пасть, оглушительно заревел: зверь хотел кушать.

Галантная жизнь Константинополя

Шел я недавно по той улице, на которой живу,— вдруг мое праздное внимание привлек один большой ярко освещенный дом. Изнутри доносилась странная, чисто восточная, музыка и слышался топот чьих-то танцующих ног. В окнах мелькало много женских теней.

Э! сказал я сам себе. Это, наверное, гарем какого-нибудь константинопольского вельможи! Очевидно, он справляет день рождения и захотел повеселить бедных гаремных затворниц! Вот они где — чарующие тайны загадочного Востока!

Не успел я этого подумать, как из дверей выпорхнула очаровательная женская фигурка и, схватив меня за рукав,

ясно показала, что ей хочется втащить меня внутрь таинственного дома.

Надо сознаться, что я славлюсь своей скромностью по всему Анатолийскому побережью, но надо также сознаться, что в тот момент — пикантное приключение совсем вскружило мне голову.

Возможность проникнуть в гарем знатного вельможи на секунду очень соблазнила меня, и я даже сделал движение по направлению к дверям, но тут же одумался.

А что дальше?

А что, если паша вдруг неожиданно поймает меня в гареме? Я человек храбрый — и не за себя я боялся!.. Нет, я боялся за жизнь этого кроткого, застенчивого, полудикого создания, которое так доверчиво тащило меня за рукав, очевидно, чрезвычайно очарованное моей респектабельностью и манерами. Я боялся, что не взойдет и два раза луна на небе, как эта женщина будет лежать в мешке на дне Босфора. Мой коллега Пьер Лоти[13] неоднократно писал о таких штуках.

Эти соображения охладили меня. Я освободил свой рукав, сделал селям бедной затворнице и быстро удалился, давая дорогу четырем английским матросам — очевидно, близким друзьям паши, потому что они вошли в дом без доклада, как близкие люди.

На другой день утром — о, слабость человеческая! — я решил похвастать перед друзьями своим головокружительным успехом у турецкой дамы и рассказал все приключение, не утаив ни капельки...

Мне случалось видеть, как смеются люди, я сам люблю иногда хихикнуть в подходящем случае — но это был не смех! Это было сокрушительное ржание обезумевших жеребцов.

— Не понимаю, что здесь смешного,— пожал я плечами.— Конечно, одни мужчины имеют больший успех у женщин, другие — меньший, но...

— Знаете, что это за дом? — спросил один приятель, отдышавшись.

И шепнул на ухо словцо, которое заставило вспыхнуть меня до корней волос.

— Быть не может! — воскликнул я в ужасе.— Ведь на этой же улице находится моя квартира!!

— Ну, что ж такое. Подобное соседство здесь бывает зачастую.

— Нет! Ни одного дня моя нога не останется в этой квартире. Как? Не предупредить меня, когда я снимал комнату? Сейчас же иду и выскажу своей хозяйке все, что я о ней думаю!!

Разгоряченный, я выскочил из кафе на улицу и... тут же — одно веское соображение приковало меня к месту. На каком языке я выскажу хозяйке негодование? Она говорит только по-гречески, а мой запас слов на этом языке был чрезвычайно ограничен: кали-мерос[14], Венизелос[15] и малиста[16] — вот те три слова, которыми мог я орудовать и которые в самой остроумной комбинации все-таки не могли быть материалом для продолжительной морально-этической беседы.

На мое счастье, я тут же наткнулся на древнюю согбенную гречанку, продавщицу спичек, предлагавшую товар на ломаном русском языке.

— Нет, бабушка,— сказал я.— Мне ваших спичек не надо. Но если вы переведете моей хозяйке все то, что меня обуревает,— я вам заплачу пол-лиры.

Предложение оказалось соблазнительным — и мы через минуту уже шагали рука об руку к моему дому.

— Как по гречески «нога»? — спросил я.

Она ответила каким-то бесформенным, клейким, как рахат-лукум, словом.

— Ну, вот. Так скажите, что мое это самое у нее в доме не будет!

На звонок нам открыла сама хозяйка.

И вдруг, увидев нас, она подняла такой крик, что, вероятно, слышно было на Пере.

— Что она кричит? — спросил я старушку, которая вдруг сразу расцвела от хозяйкиного рева и даже кокетливо поправила выцветшую косынку на безволосой голове.

— Ма, она говорити, сто вы не моги приводить себе на квартиру даму! Она говорити, сто эта неприлицна, сто эта цестный дома, сто нельзя дами водити...

— Какую даму? — остолбенел я.— Я никого не приводил.

— Она эта говорити на меня. Я — дама.

И, польщенная этим диким предположением, она игриво толкнула меня полуразрушенным локтем.

Я сочно выругался, вынул пол-лиры и сунул ей в руку.

— Пошла вон, старая ведьма. Будьте вы обе прокляты.

И тут же заметил на лице хозяйки чувство сожаления ко мне, как к человеку, который заплатил за любовь деньги, не насладившись в то же время радостями этой любви...

Деловая жизнь

Ознакомившись с городом, я решил заняться делами. Узнав, что все деловые люди собираются в специальном кафе на Пере, я пошел туда, потребовал чашку кофе и уселся выжидательно за столик — не наклюнется ли какое дельце.

На ловца, как говорится, и зверь бежит. Ко мне подсел неизвестный господин, потрепал меня по плечу и сказал:

— Здравствуйте, господин писатель. Не узнаете меня?

— Как не узнаю,— с вялой вежливостью возразил я.— Очень даже хорошо узнал. Как поживаете?

— Дела разные ломаю. А вы?

— Я тоже думаю каким-нибудь делом заняться.

— Лиры есть?

— Немножко есть,— хлопнул я себя по карману.

Лицо моего собеседника выразило напряженное внимание.

— Гм!.. Что бы мне для вас придумать?.. Гм!.. Есть у меня одно дельце, да... Впрочем, поделюсь с вами. Скажите! Вы знаете, сколько весит баран?

— Какой баран? — удивился я.

— Обыкновенный. Знаете, сколько он весит?

— А черт его знает. Я до сих пор писал рассказы, а не взвешивал баранов.

— Как же вы не знаете веса барана? — с упреком сказал незнакомец.

— Не приходилось. Впрочем, если нужно, я как-нибудь на днях... когда будет свободное время...

— Ну, так вот! Знайте же, что средний баран весит три пуда!!!

Я изобразил на своем лице напряженное удовольствие.

— Смотрите-ка! Кто бы мог подозревать.

— Да, да... Три пуда. А вы знаете, сколько стоит фунт баранины? Пятьдесят пиастров.

— Да... вообще сейчас жизнь очень запуталась...— неопределенно заметил я.

— Ну, для умного человека жизнь проста, как палец. Итак, продолжаю. А знаете ли вы, сколько стоит целый

баран в Кады-Киое?! Десять лир! Итак — вот вам дело: вы даете двадцать лир и я двадцать лир — я покупаю двух овец, режу их...

— Не надо их резать,— сентиментально попросил я.— Они такие хорошенькие.

— А как же иначе мы их на мясо продадим? Я их сам зарежу, не бойтесь. Итак, на ваши двадцать лир вы будете иметь шесть пудов овечьего мяса, по розничной цене — шестьдесят лир!!! Да шкура в вашу пользу, да рога.

Хотя я до сих пор рогатых овец не встречал, но это была, очевидно, особая местная порода.

Я кивнул головой с видом знатока:

— Очень хорошее дельце. А когда прикажете внести деньги?

— Да, хоть сейчас! Чем скорее, тем лучше. Сколько тут у вас? Ровно двадцать? Ну, вот и спасибо. Завтра утром бараны уже будут у нас. Хотите, я приведу их к вам показать?

Я замялся.

— Не знаю, удобно ли это... Вдруг ни с того ни с сего бараны заходят на квартиру... Да еще моя хозяйка против этих посторонних визитов... Нет, лучше их просто зарежьте. Только не мучайте, хорошо?

Мой новый компаньон заверил, что смерть этих невинных созданий будет совершенно безболезненна и легка, как сон,— и, пожав мне руку, умчался с озабоченным лицом...

....

С тех пор прошло 8 дней. Пока я не вижу ни моего компаньона, ни баранов, ни прибыли.

Очевидно, с компаньоном что-нибудь случилось...

Иногда по ночам меня мучит совесть: прав ли я был, поручив этому слабосильному человеку опасную процедуру умерщвления баранов? А что, если они по дороге сбежали от него? А что, если они перед смертью вступили с ним в борьбу и, разъяренные предстоящей участью, растерзали моего бедного компаньона?..

* * *

Вчера со мной произошел удивительный случай: иду по улице — вдруг вижу — мой компаньон навстречу.

Я радостно кинулся к нему.

— Здравствуйте, голубчик! Ну, что слышно с баранами?

Он удивленно взглянул на меня:

— Какие бараны? Простите, я вас совершенно не знаю!

— Ка-ак? Да ведь мы же вместе хотели заработать на баранах?

— Простите, я вас в первый раз вижу. Я иногда зарабатываю на баранах, но зарабатываю один.

И, отстранив меня, он пошел дальше.

«Однако, какое удивительное сходство»,— бормотал я себе под нос, провожая его взглядом.— «То же лицо, тот же голос, и даже на баранах зарабатывает, как и тот!»

Много тайн хранит в себе чарующий загадочный Восток.

Русские женщины в Константинополе

Я спросил своего приятеля, разбитного малого и доку по здешним делам.

— Слушай... Я все вижу только одну уличную, по-моему, очень неприглядную жизнь... А где здесь, например, хорошее русское общество?

— А вот зайдем... Здесь есть за углом кабачок. Вот оно и будет хорошее русское общество.

— В кабаке?

— Ну уж и «в кабаке». Нужно, милый мой, выражаться мягче: «в кабачке», «в ресторанчике»... А то, что это за скифское: «кабак».

Мы подошли к каким-то дверям и... с этих пор мой приятель повел себя крайне странно: расцеловался с бравым швейцаром, дружески пожал руку бородатому буфетчику за стойкой и, усаживаясь за столик, потер руки с тем непередаваемым значением, когда русский человек собирается хватить рюмку водки с подобающей этому напитку закуской:

— Ну-с... Полбутылочки очищенной, селедочку в горчице и балычка с перчиком.

Я осмотрелся. В одном углу за столиком сидела с кавалером известная всему Петербургу Динка-Танцуй, в другом Манька-Кавардак, в третьем два именитых столичных шулера, битых в свое время так, что выдубленная кожа на их лицах сделалась нежной и гладкой, как атлас.

— Вот это, по-твоему, хорошее русское общество?! — ахнул я.

— Да не это, чудак. Ты на слуг обрати внимание.

Прехорошенькая дама в кокетливом передничке подошла к нам с карточкой.

— Честь имею приветствовать вас, графиня,— изысканно расшаркался приятель.— Позвольте, графиня, представить вам моего друга писателя Простодушного.

— Ну, как же, знаю,— милостиво сказала графиня, протягивая очаровательную ручку.— Когда мой муж был товарищем министра — мы часто в сумерки читали вас вслух. Бывало, заеду к Вольфу...

— Катя,— подошла к графине другая дама с крайне озабоченным видом.— Тебя к седьмому номеру просят. Неси им шницель.

— Поспеют с козами на торг! Потом я вас часто видела в Мариинском на премьерах. У нас был абонемент в третьем ряду, а у вас... Зиночка, запиши там, пожалуйста, сорок пиастров за камбалу! Однажды даже около Фелисьена, когда мой автомобиль испортился, вы предоставили любезно свой эки... Маруся, смотри, твой гость, кажется, уходит, не заплативши!.. Вот жулье! Да, позвольте! Ведь вы даже танцовали со мной однажды на балу в итальянском посольстве... Пошли ты хозяина к черту, Зинка! Как я пойду в кабинет, когда там все пьяные, как зюзя! Пусть сам принимает заказ! Вы не знакомы? Зинаида Николаевна, баронесса фон Толь. Присаживайся, Зинка. Верите ли, господа, так редко теперь увидеть настоящих культурных людей. Иногда только с нашим швейцаром перекинешься словом...

— Почему... со швейцаром?..— растерялся я.

— Он бывший профессор Бестужевских курсов.

— Может, и человек у вешалки бывший полковник?— пошутил я.

— Нет, что вы! Генерал. У нас только один буфетчик из разночинцев: бывший настоятель Покровского собора.

Мы еще посидели с полчасика с графиней и баронессой; выпили графинчик водки, поговорили о последнем романе Боборыкина; съели сосиски с капустой; поспорили о Вагнере; закончили чашкой турецкого кофе и обсуждением последних шагов Антанты.

Целуя на прощанье дамам руки, я спросил:

— А ваш супруг, графиня, тоже здесь?

— То есть где? Да, он в Константинополе, но здесь не бывает.

— Тяжело? — тихо спросил я.

— Нет, здешний хозяин не пускает. Мужьям, вообще, вход воспрещен. Как гость, конечно, может, но ему, понимаете ли, не до того: газеты на Пере продает.

Когда мы вышли, приятель мой сказал:

— Ну, вот и повращались в обществе...

....

Встретил около Токатлиана друга своего Филимона Бузыкина. Правду сказать, это была дружба наполовину: только он считал меня своим другом, я же относился к нему с той холодной унылостью, которая всегда является следствием колебания: пожать ли ему руку или дать пинка в живот.

Звали его Филимон Бузыкин — бывший оптовый торговец бычачьими шкурами и солеными кишками.

Именовал он себя «ходоком насчет женского пола», но в какие места ходил Филимон Бузыкин за этим священным делом, я не рискнул бы указать печатно.

— Писатель! — заревел он наподобие одного из его быков во время операции сдирания шкуры. — Вот здорово! И вы туточки?! Ну, как насчет женского пола?

— Подите к черту, — посоветовал я.

— Нет, серьезно. Вот, знаете, где нашему брату — лафа! Такие, брат, бабеночки, и все русские, и все русские! Княгиня — пожалуйста! Баронесса — пожалуйста!

И, согнувшись в виде буквы «Г», — он оглушительно захохотал.

Своим хохотом он занял весь тротуар, потому что тротуары здесь очень узенькие, а буква «Г» вовсе не такая буква, чтобы дать кому-нибудь проход своей верхней перекладиной.

Проходивший англичанин наткнулся на эту живую преграду, постоял, крякнул, смел стеком смешливого Филимона на мостовую и — длинный, прямой, холодный, как палка, — проследовал дальше.

Я разогнул Филимона и попросил его держать себя тише и прямее.

— Ой-же-ж, не могу, до чего тут хорошие бабенки в ресторанчиках!

— Осел вы, — строго сказал я. — Из-за того, что приличные женщины, по нужде, пошли служить в ресторан, вовсе не надо взвизгивать и икать на всю Перу.

— Приличные?! Ой, вы ж меня уморите. Да любая из них даст вам поцелуйчик! Я одну поцеловал —она так разнежилась: «Ах ты, говорит, стюпидик мой, со[17], говорит, ты мое!» — так и режет по-французски.

— Филимон, ты глуп,— нетерпеливо сказал я.

— Я глуп? А хотите, вот сейчас пойдем в эту кабачару — тут есть прехорошенькая. Если не сорву поцелуйчика — я вас угощаю Моэтшандоном, сорву — вы меня.

Это был редкий случай, когда честь женщины колебалась на горлышке шампанской бутылки.

Филимон втащил меня в ресторан, плюхнулся за столик и, вертя корявым пальцем, подозвал к себе пышную золотоволосую блондинку в традиционном передничке.

— Маруся! Подь-ка сюды.

— Я не Маруся,— спокойно возразила дама, глядя холодными застывшими глазами поверх головы Филимона Бузыкина.

— А кто же вы? — спросил Филимон, разглядывая ее с тупой раздумчивостью.

— Я — баронесса Тизенгаузен. Меня зовут Елена Павловна.

— А! Очень приятно. Каково прыгается? Присели бы, а?..

— Не могу, простите. Должна принять заказ на другом столе.

Филимон толкнул меня в бок и обратился к даме чертовски фривольным тоном:

— О, сетт аффре![18] В таком случае я должен вам сказать два слова по секрету.

Он вскочил, взял растерявшуюся от его бурного натиска даму за локоть и отвел за дверь пустого кабинетика.

Первое мгновение там была мертвая тишина, но потом разразился звук,—очевидно, поцелуя,— потому что расторопный Филимон ручался мне в этом.

Однако никогда в жизни не приходилось мне слышать более отчетливого поцелуя. За дверью будто сговорились дать мне ясно понять, что пропала моя бутылочка Кордон-Вэр'а.

Я вздохнул, печалясь не столько о бутылке, сколько о баронессе...

Дверь отворилась. Мимо меня быстро прошла баронесса и скрылась в буфетной. За ней вышел Филимон, по своему обыкновению, цепляясь носком одной ноги за каблук другой.

— Слышали? — спросил он с вялым торжеством в голосе.

— Да. Звук отчетливый. Позвольте, Филимон! Ведь она поцеловала только один раз?

— Один, — с досадой огрызнулся он. — Не сто же. Я больше и не хотел.

— В щеку поцеловала?

— Да, этого... в щечку.

— Странно: один поцелуй, а на щеке пять красных следов.

— Губы накрашены, — угрюмо пробормотал Филимон, глядя в угол.

— Нет... Вы видите, краска все бледнеет и бледнеет... Вот уже и сошла. Нет, это не губная помада, Филимон! В чем же дело, Филимон?

— Отстаньте.

— Позвольте... Пора же суммировать все происшедшее... Что случилось? Человек решил за дверью сорвать у дамы поцелуй. Сказано — сделано. Я услышал за дверью звук. Но звук был один, очень отчетливый звук, а следов на щеке пять. Как же это понять, Филимон, а?..

— А может, у нее рука накрашена, — сказал Филимон, но тут же спохватился, вспыхнул и повесил голову.

— Скверная бабенка, — со вздохом сказал он. — Невоспитанная.

— Ну, что вы! Я ее немного знаю по Петербургу. Она окончила Смольный институт.

— И чему их там в этом институтишке учат? — сердито буркнул Филимон и, постучав согнутым пальцем по столу, гаркнул:

— Эй, Гарсон, Унь бутыль кордону Веру и апре келкшоз[19] юнь жареный миндаль. Плю вить поворачивайся.

Я налил первый бокал и, не чокаясь с Филимоном, тихо в одиночестве выпил. Выпил за скорбный, покрытый кровью, слезами и грязью, неприветливый путь нынешней русской женщины.

Иди, женщина русская, бреди по колена в грязи. Дойдешь же ты, наконец, или до лучшего будущего, или... до могилы...

Там отдохнешь от жизни.

У меня на глазах стояли слезы.

Надо отдать Филимону справедливость: рассчитывался он за шампанское тоже со слезами на глазах.

Русское искусство

— Вы?

— Я.

— Глазам своим не верю!

— Таким хорошеньким глазкам не верить — это преступление.

Отпустить подобный комплимент днем на Пере, когда сотни летящего мимо народа не раз толкают вас в бока и в спину,— для этого нужно быть очень светским, чрезвычайно элегантным человеком.

Таков я и есть.

Обладательница прекрасных глаз, известная петербургская драматическая актриса, стояла передо мной, и на ее живом лукавом лице в одну минуту сменялось десять выражений.

— Слушайте, Простодушный! Очень хочется вас видеть. Ведь вы — мой старый милый Петербург. Приходите чайку попить.

— А где вы живете?

Во всяком другом городе этот простой вопрос вызвал бы такой же простой ответ: улица такая-то, дом номер такой-то.

Но те таков городишко — Константинополь!

На лице актрисы появилось выражение небывалой для нее растерянности:

— Где я живу?.. Позвольте... Не то Шашлы-Башлы, не то Биюк-Темрюк. А может быть, и Казанлы-Базанлы. Впрочем, лучше дайте мне карандашик и бумажку — я вам нарисую.

Отчасти делается понятной густая толпа, толкущаяся на Пере: это все русские стоят друг против друга и по полчаса объясняют свои адреса: не то Шашлы-Башлы, не то Бабаджан-Османлы.

Выручает обыкновенно карандаш и бумажка, причем отправной пункт — Токатлиан[20]: это та печка, от которой всегда танцует ошалевший русский беженец.

Рисуют две параллельных линии — Пера. Потом квадратик — Токатлиан. Потом...

— Вот вам,— говорила актриса, чертя карандашом по бумаге,— эта штучка — Токатлиан. От этой штучки вы идете налево, сворачиваете на эту штучку, потом огибаете эту штучку — и тут второй дом — где я живу. Номер 22. Третий этаж, квартира барона К.

Я благоговейно спрятал в бумажник этот странный документ и откланялся.

На другой день, вечером, когда я собирался в гости к актрисе, зашел знакомый.

— Куда вы?

— Куда? От Токатлиана прямо, потом свернуть в одну штучку, потом в другую. Квартира барона К.

— Знаю. Хороший дом. Что ж это вы, дорогой мой, идете в такое историческое место — и в пиджаке.

— Не фрак же надевать!

— А почему бы и нет. Вечером в гостях фрак — самое разлюбезное дело. Все-таки это ведь заграница!

— Фрак так фрак,— согласился я.— Я человек сговорчивый.

Оделся и, сверкая туго накрахмаленным пластроном фрачной сорочки,— отправился на Перу — танцевать от излюбленной русской печки.

Если в Константинополе вам известна улица и номер дома, это только половина дела. Другая половина — найти номер дома. Это трудно, потому что 7-й номер помещается между 29-м и 14-м, а 15-й скромно заткнулся между 127-б и 19-а.

Вероятно, это происходит потому, что туркам наши арабские цифры неизвестны. Дело происходило так: решив перенумеровать дома по-арабски, муниципалитет наделал несколько тысяч дощечек с разными цифрами и свалил их в кучу на главной площади. А потом каждый домовладелец подходил и выбирал тот номер, закорючки и загогулины которого приходились ему больше по душе.

Искомый номер 22 был сравнительно приличен: между 24-м и 13-м.

На звонок дверь открыла дама очень элегантного вида.

— Что угодно?

— Анна Николаевна здесь живет?

— Какая?

— Русская. Беженка.

— Ах, это вы к Аннушке! Аннушка! Тебя кто-то спрашивает.

Раздался стук каблучков, и в переднюю выпорхнула моя приятельница, в фартуке и с какой-то тряпкой в руке.

Первые слова ее были такие:

— Чего тебя, Ирода, черти по парадным носят?! Не мог через черный ход приттить?!

— Виноват,— растерялся я.— Вы сказали...

— Что сказала, то и сказала. Это мой кум, барыня. Я его допрежь того в Питербурхе знала. Иди уж на кухню, раздевайся там. Недотёпа!

Кухня была теплая, уютная, но не особенно пригодная для моего элегантного фрака. Серая тужурка и каска пожарного были бы здесь гораздо уместнее.

— Ну, садись, кум, коли пришел. Самовар, чать, простыл, но стакашку еще нацедить — возможное дело.

— А я вижу, вы с гран-кокет перешли на характерные,— уныло заметил я, вертя в руках какую-то огромную ложку с дырочками.

— Чаво? Я, стало быть, тут у кухарках пристроилась. Ничего, хозяева добрые, не забиждают.

— На своих харчах? — деловито спросил я, чувствуя, как на моей голове невидимо вырастает медная пожарная каска.

— Хозяйские. И отсыпное хозяйское.

— И доход от мясной и зеленной имеете?

— Законный процент. (В последнем слове она сделала ударение на «о»). А то, может, щец похлебаешь? С обеда остались. Я б разогрела.

Вошла хозяйка.

— Аннушка, самовар поставь.

Во мне заговорил джентльмен.

— Позвольте, я поставлю,— предложил я, кашлянув в кулак.— Я мигом. Стриженая девка не успеет косы заплести, как я его ушкварю. И никаких гвоздей. Вы только покажите: куда насыпать угля и куда налить воды.

— Кто это такой, Аннушка? — спросила хозяйка, с остолбенелым видом разглядывая мой фрак.

— Так, один тут. Вроде как сродственник. Он, барыня, тихий. Ни тебе напиться, ни тебе набезобразить.

— Вы давно знакомы?

— С Петербурга,— скромно сказал я, переминаясь с ноги на ногу.— Аннушка в моих пьесах играла.

— Как... играла? Почему... в ваших?

— А кто тебя за язык тянет, эфиоп,— с досадой пробормотала Аннушка.— Места только лишишься из-за вас, чертей! Видите ли, барыня... Ихняя фамилия — Простодушный.

— Так чего ж вы тут, господи! Пожалуйте в столовую, я вас с мужем познакомлю. Мы очень рады...

— Видала? — заносчиво сказал я, подмигивая. — А ты меня все ругаешь. А со мной господа за ручку здороваются, к столу приглашают.

С черного хода постучались. Вошел еще один Аннушкин гость, мой знакомый генерал, командовавший третьей армией. Он скромно остановился у притолоки, снял фуражку с галуном и сказал:

Чай да сахар Извините, что поздно. Такое наше дело швейцарское

* * *

Мы сидели в столовой за столом, покрытым белоснежной скатертью. Мы трое кухарка, швейцар и я.

Хозяин побежал в лавку за закуской и вином, хозяйка на кухне раздувала самовар.

А мы сидели трое — кухарка, швейцар и я — и, сблизив головы, тихо говорили о том, что еще так недавно сверкало, звенело и искрилось, что блистало, как молодой снег на солнце, что переливалось всеми цветами радуги и что теперь — залилось океаном топкой грязи.

Усталые, затуманенные слезами глаза тщетно сверлят завесу мглы, повешенную Господом Богом... Какая это мгла? Предрассветная? Или это сумерки, за которыми идет ночь, одиночество и отчаяние?

Константинопольский зверинец

Послушайте, Простодушный, — обратился ко мне приятель. — Хотите посмотреть зверинец?

— А разве в Константинополе есть?

Есть.

С удовольствием. Я обожаю зверей.

— Ну, это надо делать с разбором, — наставительно процедил сквозь зубы приятель. — Так пойдем. Сейчас как раз час их кормления.

Конечно, я Простодушный. Но не до такой же степени, чтобы не отличить простой обыкновенный зверинец от простого ресторана.

А место, куда привел меня приятель, как раз и было препошлейшим рестораном, в котором если и были звери, то на тарелках и в самом неузнаваемом виде...

– Что ж вы меня дурачите? строго спросил я.

Он усмехнулся в усы.

— Не сердитесь, Простодушный. Уверяю вас, это самый настоящий константинопольский зверинец. В крайнем случае — паноптикум [21]. Что ни фигура — то редкая зоологическая разновидность.

— Ну, что, например, интересного в том рыженьком с фиолетовым галстуком?

— В нем-то? Да это, если правду сказать,— единственный человек в мире, который ухитрился сам себя за волосы над землей приподнять.

— Но ведь сейчас он не в этом приподнятом состоянии?

— Нет. Опустился порядочно. Но, вообще... Знаете ли, что этот человек ухитрился три года пробыть военнопленным у русских?

— Ничего нет удивительного. Немец?

— Русский.

— Но воевал-то — в рядах немцев?

— В русских рядах.

— Да, тогда это, действительно, что-то странное. Русский — и очутился в русском плену? Может, врет?

— Нет, эту историю я знаю досконально. Видите ли, попал он в качестве русского солдата на передовые позиции. Ну, сами понимаете,— холодно, иногда голодно, а вообще — страшно; стрельба, атаки и прочие жуткие вещи. А тут однажды выслали его часовым в сторожевое охранение. И когда остался парень глухою ночью один, когда между ним и австрийцами не было никакой преграды — такая жуть взяла его, что он чуть не взвыл от страху... Так испугался, что бросил ружье и побежал куда глаза глядят. И вдруг — трах! — наткнулся на что-то. Смотрит — убитый австриец, совсем холодный. Почесал наш воин свой промерзлый затылок, раздел австрийца, надел все это на себя, захватил ружье — и твердыми шагами пошел обратно — прямо в штаб соседнего полка. Набежали наши, схватили, привели: «Ты кто?» — «Славянин. Не желаю воевать. Желаю в плен. Я люблю русских».— «Ну, молодец». Угостили водкой, отослали в тыл, а потом и отправили в Сибирь, в лагерь военнопленных. Три года прожил как у Христа за пазухой.

— Гм... да. Любопытный зверь. А это кто?

— Этот? Тоже штучка. Помните крымскую эвакуацию? Легко было тогда списаться на берег? То-то оно. И рекомендацию требовали, и поручительство, и отзыв о поведении...

А он сделал проще: подстерег, когда французская комиссия на пароход приехала — да и запутался между французами в качестве переводчика. Суетился, переводил — больше всех... Совсем подкупил французов... Те и спрашивают: «А вы тут что делаете?» — «А я, говорит, с вами приехал с берега — родственника хочу взять». — «А вы сами кто такой?» «Помилуйте — у меня тут свой завод, я его туда инженером пристрою — на тысячу лир в месяц... Он замечательный человек!! Идеальная личность! Я его хочу на всю жизнь обеспечить. Вот и паспорт его — поставьте штемпелечек!» Да и подсунул свой паспорт. Они видят — такое солидное лицо ручается — поставили!

— Да... — задумчиво заметил я. — Вот это я называю самодеятельностью... Сам себя расхвалил, сам себя взял на поруки и сам же себя списал на берег... Ваш зверинец начинает меня заинтересовывать! Что это, например, за редкая черная птица?

— О нем — два слова. Буквально два. Я даже не скажу их, а только покажу визитную карточку.

Приятель бесцеремонно подошел к жгучему брюнету, пестро одетому, попросил визитную карточку и, улыбаясь уголками рта, вернулся ко мне.

— Глядите — характеристика всего в два слова: «Христофор Христолидис — комиссионер удовольствий».

Я даже присвистнул.

— Да разве есть такая профессия?

— Очевидно.

— Ну, какое же удовольствие может доставить мне этот «комиссионер удовольствий»?.. Скажем, для меня лучшее удовольствие, когда я лягу в постель, почитать рассказы Андреева или Куприна. Что ж он будет сидеть около меня и читать?

Приятель рассмеялся.

— Поистине, вы с честью носите свою кличку Простодушного! Нет, Христо комиссионер совсем не таких буколических удовольствий... Дайте ваше ухо.

— Ну, раз ухо — тогда я понимаю и без уха. Хорошая птица!.. И лицо этакое... выразительное... и клюв на месте... А вон у того господина, наоборот, очень приличный вид.

— Еще бы! Импресарио Шаляпина.

— А-а! Возил Шаляпина?

Нет, не возил.

Но вы же говорите импресарио.

— Видите ли... Он устраивал во всех городах концерты Шаляпина, но ему всегда не хватало одной маленькой подробности: самого Шаляпина.

Однако это ведь очень густо пахнет тюрьмой...

— Помилуйте, за что же! У него все это было без уголовщины. Скажем, приезжает он в Кременчуг, выпускает афиши: «концерт Ф. И. Шаляпина» — публика валом валит в кассу, однако там уже аншлаг: все билеты проданы. Все в отчаянии, но тут выходит этакий благодетель — он же самый — и шепчет на ухо тому, другому, третьему: «Есть у меня десятирублевые билетики, да только меньше 15 никак не могу продать». «Голубчик, продайте». Продает. А когда все билеты проданы из-под полы за полуторную цену новый анонс: «Ввиду болезни Шаляпина — концерт отменяется. Деньги за билеты можно получить обратно в кассе». И честно возвращает: на билете — 10, получи 10, на билете 20, получи 20. До копеечки со всеми расплачивается.

Черт его знает, опасливо покосился я на импресарио. — Мы тут сидим, разговариваем, как ни в чем не бывало, а ведь они все не в клетках. На свободе.

И как будто в подтверждение моих слов на меня сзади накинулся один зверь, щелкая зубами и сверкая глазами.

— А-а, — кричал он, — кого я вижу! Сколько лет, сколько зим! Я ведь вас по Питеру еще знаю. Говорят, недурно устроились. Случайно есть замечательно выгодное для вас дело.

— Если замечательно выгодное, — серьезно сказал я, — то заранее иду на него.

— Вот и прекрасно! Видите ли, у меня в Орле есть дом. Так как там большевики, а мне нужны деньжата, то я бы вам его дешево продал. За три тысячи лир Даже за полторы. Я вам и адрес дам. Дайте пока 500.

— Согласен! — весело вскричал я. — Дом беру. Тем более, что у меня около Орла есть именьице, на которое я не прочь поменять дом. Ваш дом стоит 3000, мое именьице 3200. Доплатите мне 200 лир и забирайте все именьице. Там и адреса не нужно — всякий дурак знает. Спросите «Аверченковку». Коровы есть, павлины.

Но он не слушал. Шептал уже что-то за другим столиком.

Мой приятель смеялся.

— Ничего,— говорил он.— Это не страшно. Иногда даже можно просунуть руку сквозь прутья клетки и пощекотать их за ухом.

Второе посещение зверинца

— Ваш константинопольский зверинец мне очень понравился,— сказал я, подмигивая опытному приятелю при встрече.— Не сведете ли вы меня туда снова?

— То-то же. Я сразу угадал в вас опытного зоолога. Ну, что с вами делать — пойдем.

В зверинце я увидел почти всех старых знакомых: и «комиссионера удовольствий», и человека, который сам себя поднял за волосы, и того, что в одном случае дал о себе восторженный отзыв... Но кроме этих удивительных прежних экземпляров были и новые, свеженькие.

Осмотрел я сначала грузного, плохо выбритого мужчину с каменным, неискусно высеченным лицом.

— Посмотрите вы на него: как будто ни одной тонкой мысли не может отразиться на его лице — а на самом деле — тонкий психолог! Достоевский по проникновенности в глубины человеческого духа.

— Писатель он, что ли?

— Совсем напротив, как говорят институтки. Каторжная у него профессия.

— Ну, не томите!

— Слушаю-с. Сей муж ходит по Пере и ищет подходящих для дела парочек. Скажем, идет такая, тесно прижавшись друг к другу, он ей все время бубнит вполголоса неиссякаемое, вечное: «Ольга Петровна, знаете ли вы, что ваш образ не дает мне покою: день и ночь стоите вы, прекрасная, чуткая, передо мною»...— «Виноват!» — вдруг раздается сбоку голос «психолога». «Можно на минутку?» — «Что прикажете?» — отрывается от сладких слов в сторону влюбленный. «Психолог» наклоняется к его уху и выразительно шепчет три слова. Понимаете?— три слова!

— Какие?!

— Три слова: «Лиру или в морду!» И у него при этом такое мужественное решительное лицо, что третьего выхода, очевидно, быть не может. Влюбленный сразу соображает все шансы pro и contra[22]: затеешь скандал, получишь

пощечину при любимой девушке — одна сторона. Сделать приятное лицо и вручить безболезненно лиру мужественному «психологу» — другая сторона. «С удовольствием»,— с напряженной приветливостью отвечает влюбленный, вынимает из бумажника лиру и вручает по принадлежности.

«Кто это?» — спрашивает девушка, когда «психолог» отошел. «Это? Один мой старый приятель, впавший в бедственное положение. Понимаете, у него тоже есть любимая женщина, которая больна сейчас. Понимаете, не мог не помочь. Он меня растрогал до слез».— «Какой вы добрый»,— шепчет умиленно девушка и крепче прижимается к своему спутнику. И все довольны. А «психолог» снова спешит к новой намеченной парочке и снова шелестит его категорический шепот: «Лиру или в морду!»

Я взглянул на стенобитное лицо «психолога». Очевидно, он очень много бил на своем веку. Но и его били немало.

— Следующий экземпляр,—тоном сторожа при клетках, дающего объяснения, продолжал опытный приятель.— Их, собственно, даже двое — видите, рядышком сидят. Но прежде, чем о них,— взгляните на это письмецо!

Я прочитал вынутое им из кармана письмо:

— «Вам пишет женщина, которую вы не знаете, но которая безумно, молниеносно влюбилась в вас. Что вы со мной сделали? Я молода, говорят, очень красива, за мной хвост платонических вздыхателей, но никто мне не нужен с тех пор, как я увидела вас, моя звездочка. Я хочу встретиться с вами! Буду завтра в ресторане «Слон». Подождите меня за бутылкой Кордон-Вэр, бокал которого и я выпью. Вся и всегда ваша — Людмила N...»

— Счастливец вы,— со вздохом зависти сказал я.— Как вас любят женщины!!!

— Черта с два,— грубо перебил опытный.— Я, как дурак, проторчал полтора часа, выпил всю бутылку и ушел!

— Наверное, ее муж не пустил,— утешал я.

— Какой там к черту муж, когда письмо, как я потом выяснил, написано этими двумя фруктами, которые сидят перед вами.

— Но ведь они мужчины?! — простодушно изумился я.

— Ну да. Хозяева ресторана «Слон». Это они таким образом заманивали в свой вертеп публику. Узнавали адреса и катали в день по два десятка таких бильеду. Не щадили ни пола, ни возраста.

— Все-таки они дали вам несколько минут красивого переживания, когда вы ожидали за бутылкой шампанского. А что такое подлинное счастье? Оно заключается в ожидании счастья.

— Ну, вот вам последний экземпляр, и пойдем. Это, видите ли, теперь рантье, он тихо и честно живет на проценты с валюты, которую вывез из Крыма, а валюту он получил, благодаря успешной конкуренции с двадцатью пятью кошками.

— Поистине, эфенди, я ничего не понимаю!

— В этом вы похожи на тех кошек, которые тоже ничего не понимали. Была, видите ли, у него в Крыму богатая тетка — невероятная кошатница и ханжа. Вся ее жизнь была в двадцати пяти кошках и котах и в хождении в церковь на все обедни, вечерни и заутрени.

И приехал к ней гостить племянник, этот самый хитроумный молодой человек. Видит — кошкам все, ему ничего. Пронюхал даже, что сумасбродная старуха все свое состояние отказала на содержание котов, обойдя племянника. Думал он, думал, целыми днями валяясь на кровати,— и удумал... Снял однажды со стены арапник, пошел во флигель, где коты,— несколько раз перекрестился на образ и ну лупить котов арапником по спинам и по мордам... Коты, конечно, кто куда: под столы, на портьеры вскарабкались... И принялся он проделывать эту штуку целых полтора месяца — ежедневно. Как старуха в церковь, он сейчас же арапник со стены, во флигель войдет, истово перекрестится — и ну утюжить по голове, по чем попало. Те опять — кто куда... И вот однажды, когда счел он дрессировку законченной,— приходит к тетке и говорит: «Тетя! Вы человек богомольный... И мне тяжело говорить, тетя, что вы так котов любите, а в них нечистый дух сидит». «Зачем врешь,— возмутилась тетка.— Бедных котиков обижаешь. Откуда там в них нечистая сила?» — «А пойдем во флигель, докажу!» Вошли они, стал он посредине и только — перекрестился, как коты — кто куда, под столы, на комод, на портьеры карабкаются — визг, мяуканье, будто, действительно, в них дюжина бесов! «Видите, тетя!» Разогнала тогда старуха котов, а богомольному племяннику почти все деньги при жизни передала.

Я посмотрел на богомольного племянника: у него было кроткое, мягкое, женственное лицо. Такие лица бывают у каторжников, попавшихся за подделку ассигнаций...

Оккультные тайны Востока

Прехорошенькая дама повисла на пуговице моего пиджака и мелодично прощебетала:

— Пойдите к хироманту!

— Чего-о-о?

— Я говорю вам — идите к хироманту! Этот оккультизм такая прелесть. И вам просто нужно пойти к хироманту! Эти хироманты в Константинополе такие замечательные!

— Ни за что не пойду,— увесисто возразил я.— Ноги моей не будет... или, вернее, руки моей не будет у хироманта.

— Ну, а если я вас поцелую — пойдете?

Когда какой-либо вопрос переносится на серьезную деловую почву — он начинает меня сразу интересовать.

— Солидное предложение,— задумчиво сказал я.— А когда пойти?

— Сегодня же. Сейчас.

Фирма оказалась солидная, не стесняющаяся затратами.

Пошел.

* * *

Римские патриции, которым надоело жить, перед тем как принять яд — пробовали его на своих рабах.

Если раб умирал легко и безболезненно — патриций спокойно следовал его примеру.

Я решил поступить по этому испытанному принципу: посмотреть сначала, как гадают другому, а потом уже — и самому шагнуть за таинственную завесу будущего.

Около русского посольства всегда толчется масса праздной публики.

Я подошел к воротам посольства, облюбовал молодого человека в военной шинели без погон, подошел, попросил прикурить и прямо приступил к делу.

— Бывали вы когда-нибудь у хироманта? спросил я.

— Не бывал. А что?

— Вы сейчас ничего не делаете?

— Буквально ничего. Третий месяц ищу работу.

— Так пойдем к хироманту. Это будет стоить две лиры.

— Что вы, милый! Две лиры!!! Откуда я их возьму? У меня нет и 15 пиастров.

— Чудак вы! Не вы будете платить, а я вам заплачу за беспокойство две лиры. Только при условии: чтоб я присутствовал при гадании!

Молодой человек зарумянился, неизвестно почему помялся, оглядел свои руки, вздохнул и сказал:

— Ну, что ж... Пойдем.

Хиромант принял нас очень любезно:

— Хиромантия,— приветливо заявил он,— очень точная наука. Это не то что какие-нибудь там бобы или кофейная гуща. Садитесь.

На столе лежал человеческий череп.

Я приблизился, бесцельно потыкал пальцем в пустую глазницу и рассеянно спросил:

— Ваш череп?

— Конечно, мой. А то чей же.

— Очень симпатичное лицо. Обаятельная улыбка. Скажите, он вам служит для практических целей или просто как изящная безделушка?

— Помилуйте! Это череп одного халдейского мага из Мемфиса.

— А вы говорите — ваш. Впрочем, дело не в этом. Погадайте-ка сему молодому человеку.

Мой новый знакомый застенчиво протянул хироманту правую руку, но тот отстранил ее и сказал:

— Левую.

— Да разве не все равно, что правая, что левая?

— Отнюдь. Исключительно по левой руке. Итак, вот передо мной ваша левая рука... Ну, что ж я вам скажу?.. Вам 52 года...

— Будет. (Мягко возразил мой «патрицианский раб».) Пока только 24.

— Вы ошибаетесь. Вот эта линия показывает, что вам уже немного за пятьдесят. Затем проживете вы до... до... Черт знает что такое?!

— А что? — заинтересовался я.

— Никогда я не видел более удивительной руки и более замечательной судьбы. Знаете ли, до каких пор вы доживете, судя по этой совершенно бесспорной линии?!

— Ну?

— До двухсот сорока лет!!

— Порядочно! — завистливо крякнул я.

— Не ошибаетесь ли вы? — медовым голосом заметил обладатель удивительпой руки.

— Я голову готов прозакладывать!

Он наклонился над рукой еще ниже.

— Нет, эти линии!!! Что-то из ряду вон выходящее!!! Вот смотрите — сюда и сюда. В недалеком прошлом вы занимали последовательно два королевских престола — один около 30 лет, другой около сорока.

— Позвольте,— робко возразила коронованная особа.— 40 и 30 лет — это уже 70. А вы говорили, что мне и всего-то 52.

— Я не знаю, ничего не знаю,— в отчаянии кричал хиромант, хватаясь за голову.— Это первый случай в моей пятнадцатилетней практике! Ваша проклятая рука меня с ума сведет!!

Он рухнул в кресло, и голова его бессильно упала на стол рядом с халдейским черепом.

— А что случилось? — участливо спросил я.

— Да то и случилось,— со стоном вскричал хиромант,— что когда этот господин сидел на первом троне, то он был умерщвлен заговорщиками!! Тут сам черт ничего не разберет! Умерщвлен, а сидит. Разговаривает!!! Привели вы мне клиента — нечего сказать!!

— Были вы умерщвлены на первом троне? — строго спросил я.

— Ей-Богу, нет. Видите ли... Я служил капитаном в Марковском полку, а что же касается престола...

— Да ведь эта линия — вот она! — в бешенстве вскричал хиромант, тыча карандашом в мирную капитанскую ладонь.— Вот один престол, вот другой престол! А это вот что? Что это? Ясно: умерщвлен чужими руками!

— Да вы не волнуйтесь,— примирительно сказал я.— Вы же сами говорили, что Его Величество проживет 240 лет. Чего ж тут тревожиться по пустякам? Вы лучше поглядите, когда и от чего он умрет по-настоящему, так сказать — начисто.

— От чего он умрет?.. Позвольте-ка вашу руку...

Хиромант ястребиным взглядом впился в капитанскую ладонь, и снова испуг ясно отразился на его лице.

— Ну, что? — нетерпеливо спросил я.

— Я так и думал, что будет какая-нибудь гадость,— в отчаянии застонал хиромант.

— Именно?

— Вы знаете, от чего он умрет? От родов.

Мы на минутку оцепенели.

— Не ошибаетесь ли вы? Если принять во внимание его пол, а также тот преклонный возраст, который...

— «Который, который!!» Ничего не который! Я не мальчишка, чтобы меня дурачить, и вы не мальчишка, чтобы я вам мог врать. Я честно говорю только то, что вижу, а вижу я такое, что и этого молодого человека и меня нужно отправить в сумасшедший дом!! Это сам дьявол написал на вашей ладони эти Антихристовы письмена!!

— Ну, уж и дьявол,— смущенно пробормотал молодой человек.— Это считается одной из самых солидных фирм: Кнаус и Генкельман, Берлин, Фридрихштрассе, 345.

Мы оба выпучили на него глаза.

— Господа, не сердитесь на меня... Но ведь я же вам давал сначала правую руку, а вы не захотели. А левая, конечно... Я и сам не знаю, что они на ней вытиснули...

— Кто-о?— взревел хиромант.

— Опять же Кнаус и Генкельман, Берлин, Фридрихштрассе, 345. Видите ли, когда мне под Первозвановкой оторвало кисть левой руки, то мой дядя, который жил в Берлине, как представитель фабрики искусственных конеч...

Череп халдейского мудреца пролетел мимо моего плеча и, кляцнув зубами, зацепился челюстью за шинель капитана. За черепом полетели две восковых свечи и какая-то древняя книга, обтянутая свиной кожей.

— Бежим,— шепнул я капитану.— А то он так озверел, что убить может.

Бежали, схватившись за руки, по узкому грязному переулку. Отдышались.

— Легко отделались,— одобрительно засмеялся я.— Скажите, кой черт поддел вас не признаться, что ваша левая лапа резиновая, как калоша «Проводник»?

— Да я, собственно, боялся потерять две лиры. Вы знаете, когда пять дней подряд питаешься одними бубликами... А теперь, конечно, я сам понимаю, что ухнули мои две лирочки.

— Ну, нет,— великодушно сказал я.— Вам, Ваше Величество, еще 215 лет жить осталось, так уж денежки-то, ой-ой, как нужны. Получайте.

* * *

Встретил даму. Ту самую.

— Ну что, были?

— Конечно, был. Аванс отработал честно.

— Ну что же,— с лихорадочным любопытством спросила она.— Что же он вам сказал?

— А вы верите всему, что они предсказывают? — лукаво спросил я.

— Ну, конечно.

— Так он сказал, что с вас причитается еще целый ворох поцелуев.

До чего эти женщины суеверны, до чего доверчивы.

Лото-Тамбола

Оглянитесь назад, на детство: вы вспомните, что в каждом из училищ, в каждой гимназии — была такая неожиданно вспыхивающая эпидемия: вдруг — игра в перья! И все мальчишки, все классы с головой уходят в дурацкую игру, ходят, как пьяные, учебники плесневеют, в журналах стройным частоколом вытягивается ряд единиц... Но однажды, во время разгара игры в перья, кто-то, разжевав резинку, на что ушла добрая половина дня,— надул воздухом разжеванную массу и причудливо щелкнул ею. И вдруг — первая эпидемия (игра в перья) сразу, как по мановению волшебного жезла, прекратилась, к перьям потеряли всякий интерес, и крупные держатели этих, казалось бы, абсолютных ценностей — сразу потерпели крах...

И вместо перьев — целые ряды безмолвно сидящих за партами мальчишек, с дурацки-благоговейными лицами, с выпученными от напряжения глазами, с механически, как машина, двигающимися челюстями... Это — весь класс заболел новой эпидемией. Это — весь класс жует резину из-за сомнительного наслаждения один раз щелкнуть ею.

* * *

Лица людей, играющих в лото, напоминают мне физиономии мальчишек, жующих целыми часами резину, чтобы один раз щелкнуть ею.

Приходилось мне видеть всякие дурацкие игры, но такой идиотски-бессмысленной, как лото,—целый год ломай голову — не придумаешь.

В чем, собственно, дело? Как начинается лото?

Идет оборотистый человек по улице. Всматривается в выражение лиц прохожих, и приходит ему в голову мысль:

— А ведь почти ни одного умного, одухотворенного лица. Общая печать скудоумия и недомыслия... Надо им, канальям, лото устроить. Пусть играют; самая для них подходящая игра.

Тут же снимает пустое помещение, вешает вывеску, ставит обдирательный аппарат, нанимает вопильщика и говорит:

— Ну, вы... гуси лапчатые! Идите, обдирать вас буду.

И сразу фабрика начинает работать; публика с физиономиями, как стертые пятаки, втискивается в помещение, обдирательный аппарат с грохотом кружится, вопильщик вопит, а хозяин ходит от одного к другому и у всех отбирает деньги.

Дураковая психология постигнута в совершенстве: если у дурака просто отнять деньги — он будет плакать и стонать, а если ему посулить, что он на свои три лиры проигрыша может получить сорок лир выигрыша,— дураковый взгляд заискрится, заблистает, откроет дурак свой кругленький ротик и примется напряженно следить по куску картона, на котором натыканы без всякого смысла и толку цифры,— примется следить: не выиграет ли?

И сидит он так за куском картона час, три, десять — все свое свободное и несвободное время убухивает на рассматривание унылого бескрасочного куска картона...

А попробуйте сказать дураку:

— Что ты сидишь зря, Васенька? Пошел бы домой, спать...

— Нет, скажет, это очень выгодно: позавчера Иван Вахрамеич поставил лиру, а отхватил сразу девять пятьдесят!

Легенда об Иване Вахрамеиче поддерживает в нем радужные надежды, а хозяину только этого и надо... То и дело подходит:

— С вас полтинничек.

Будь я сам хозяином и имей я дело не с дураками, а с умными людьми, я просто и честно предложил бы им:

— Вот вы пришли играть в лото... Вносите вы деньги, а я из них каждый раз забираю 20 процентов. Пять игр сыграете — все ваши денежки у меня. Предположим, по десяти раз каждый из вас слазит в карман за деньгами и отдаст их мне все... Так не лучше ли, не проще ли, сделаем так: вы будете каждый день собираться у меня

к условному часу, отдадите все свои деньги, я из них выделю процентов 30, вы их по жребию поделите между собой, как выигрыш,— и ступайте домой. И никакого лото вам не нужно, не нужно торчать в душной и закуренной комнате и до ряби в глазах пялиться на картонную бумажку с бессмысленными цифрами...

Предложи я такую комбинацию — никто на нее не пойдет; и в то же время все делают то же самое — только что больше времени тратится, да лицо после игры приобретает одеревенелое выражение ободранной грабителями мумии из гробницы Фараона: видимость человека есть, внутри все пусто.

* * *

Недавно союзная полиция закрыла все лото.

Но...

Видели ли вы когда-нибудь, как па тоскливом черном пожарище вдруг начинает пробиваться молодая зеленая травка?..

Встречаю приятеля:

— Видели, как тараканы бегают?

— А что?

— Тут в одном доме тараканы бегают.

— Эва, нашли редкость! Я в России сотни домов видел, где тараканы бегают!

— Вы не понимаете! Тут устроены тараканьи бега. Есть старт, тотализатор, цвета жокеев и бегут живые тараканы. Масса пароду собирается играть. Есть верные тараканы! Фавориты!!!

* * *

О, бог азарта — великий бог.

Отнимите у человека карты — он устроит лото; отнимите лото он зубами уцепится за таракана; отнимите таракана, оп...

Да что там говорить: я однажды видел на скамейке Летнего сада няньку с ребенком на руках. Она задумчиво выдергивала у него волосик за волосиком и гадала: «Любит — не любит! Любит — не любит».

Это был азарт любви, той любви, которая может лишить волос даже незаинтересованную сторону...

О гробах, тараканах и пустых внутри бабах

Как-то давно-давно мне рассказывали забавный анекдот...

Один еврей, не имеющий права жительства, пришел к царю и говорит:

— Ваше величество! Дайте мне, пожалуйста, право жительства!

— Но ведь ты же знаешь, что правом жительства могут пользоваться только ремесленники.

— Ну, так я ремесленник.

— Какой же ты ремесленник? Что ты умеешь делать?

— Уксус умею делать.

— Подумаешь, какое ремесло,— усмехнулся скептически государь,— это и я умею делать уксус.

— И вы умеете? Ну, так вы тоже будете иметь право жительства!

Прошли идиллические времена, когда рождались подобные анекдоты: настали такие времена, когда не только скромные фабриканты уксуса, но и могущественные короли — не имеют права жительства...

Некоторое исключение представляет собой Константинополь: человек, который умеет делать уксус, здесь не пропадет. Искусство «делать уксус» в той или другой форме — все-таки дает право на жизнь.

Вот моя встреча с такими «ремесленниками, имеющими право жительства», не унывающими, мужественными делателями «уксуса».

* * *

Они сидели рядышком на скамейке в саду Пти-Шан и дышали теплым весенним воздухом — бывший журналист, бывший поэт и бывш... чуть, по привычке не сказал — бывшая журналистка... Нет, сестра журналиста была настоящая... Дама большой красоты, изящества и самого тонкого шарма...

Всем трем я искренно обрадовался, и они очень обрадовались мне.

— Здорово, ребята! — приветствовал я эту тройку.— Что поделываете в Константинополе?

Все трое переглянулись и засмеялись:

— Что мы поделываем? Да вы не поймете, если мы скажем...

— Я не пойму? Да нет на свете профессии, которой бы я не понял!

— Я, например,— сказал журналист,— лежу в гробу.

— А я,— подхватил поэт,— хожу в женщине.

— А я,— деловито заявила журналистова сестра,— состою при зеленом таракане.

— Все три ремесла немного странные,— призадумался я.— Делать уксус гораздо легче. Кой черт, например, занес вас в гроб?..

— Одна гадалка принаняла. У нее оккультный кабинет: лежу в гробу и отвечаю на вопросы клиентов. Правда, ответы мои глубиной и остроумием не блещут, но все же они неизмеримо выше идиотских вопросов клиентов.

— А вот вы... который «ходит в женщине». Каким ветром вас туда занесло?

— Не ветром, а голодом. Огромная баба из картона и коленкора. Я влезаю внутрь и начинаю бродить по Пере, неся на себе это чудовище, в лапах которого красуется реклама одного ресторана.

— Поистине,— сказал я,— ваши профессии изумительны, но они бледнеют перед карьерой Ольги Платоновны, состоящей при зеленом таракане!

— Смейтесь, смейтесь. Однако зеленый таракан меня кормит. Собственно, он не зеленый, а коричневый, но цвета пробочного жокея, которого он несет на себе,— зеленые. И потому я обязана иметь на правом плече большой зеленый бант: цвета моего таракана. Да что вы так смотрите? Просто здесь устроены тараканьи бега, и вот я служу на записи в тараканий тотализатор. Просто, кажется?

— Очень. Все просто. Один в гробу лежит, другой в бабе ходит, третья — при таракане состоит.

Отошел я от них и подумал:

— Ой, крепок еще русский человек, ежели ни гроб его не берет, ни карнавалье чучело не пугает, ежели простой таракан его кормит...

Это одна сторона — прекрасная сторона — русского характера...

А вот другая сторона...

Еще гроб

Иногда — ни с того, ни с сего — накатывает такое веселое, радостное настроение, что ходишь внутренне подпрыгивая, как козленок, что хочется весь мир обнять, что внутри — будто целая стая воробьев щебечет.

В такие минуты любо беспричинно бродить по улицам, обращая умиленное внимание на всякий пустяк, попадающий в поле зрения: на турка, исступленно выкрикивающего свой товар; на деловитого грека, бегущего из харчевни с тарелочкой, на которой — горсточка вареного риса, возглавленного крохотным кусочком баранины; на фотографическую витрину с усатыми, толстоногими гречанками, любящими сниматься непременно у фальшивого бутафорского рояля или около белой картонной лошади, шея которой обвивается топорной рукой самым шаловливым и грациозным образом, — все привлекает праздное, благодушное внимание, все заставляет или мимолетно усмехнуться, или мимолетно задуматься...

В таком безоблачном настроении любо зайти в светлый чистенький ресторанчик, проглотить кружку холодного пива и уничтожить какую-нибудь отбивную котлету, бродя рассеянно глазами по вечному портрету Венизелоса на стене, обильно засиженному мухами, и по разложенным листам бумаги от мух, девственно чистым, — на зависть облюбованному летучей армией Венизелосу.

Недавно зашел я в таком бодром искрящемся настроении в ресторанчик, уселся за стол; подошла очень недурная собой русская дама и, сделав независимое лицо аристократки времен французской революции, ведомой на гильотину, — кротко спросила:

— Чего вы хотите?

— Обнять весь мир, — искренно ответил я, еле сдерживая бурлящую внутри молодую радость жизни.

— Отчего все мужчины думают, — грустно сказала дама, — что если мы служим здесь кельнершами, то нам можно делать всякие предложения...

Я заверил ее, что в отношении к ней лично — у меня нет никаких агрессивных планов, и заказал телячью котлету и пиво.

— Салату желаете? осведомилась она таким душераздирающим тоном, будто спрашивала: сейчас меня будете расстреливать или потом?

— О, да! Украсьте салатом мою сиротливую жизнь, — игриво отвечал я, желая немного развлечь ее. Вы, наверное, беженка?

— Ах, и не говорите. Сейчас принесу пиво, а потом котлету.

Когда она вернулась, я сказал ей:

— Если вам не скучно, посидите со мной, поболтаем.

— Не скучно! А какое, спрашивается, веселье?.. Чему радоваться? Ах, вы знаете — раньше у меня были свои лошади, я приемы делала, а теперь... ботинок не на что купить.

Я отхлебнул пива. Оно показалось мне горьковатым.

— Сестра лежит с ангиной. Хозяева дома, греки, оскорбляют, потому что мы русские...

Я сделал второй глоток. Пиво как будто сделалось еще горче.

— Ничего. Даст Бог, все уладится. Опять будем жить хорошо.

— Не верю я. Ни во что не верю. Наверное, скоро все перемрем. Муж в Совдепии остался. Наверное, убили.

Отхлебнул, опустил голову.

Решительно, черт их возьми, пивные заводы стали беззастенчиво прибавлять желчь в пиво.

— А может, муж и жив, — утешил я.

— А если и жив — так с голоду умер.

Я сочувственно покачал головой, отломил поджаренную хрустящую корочку булки и, посолив, положил в рот.

— Гм... Вот белый хлеб, — со стоном заметила кельнерша. — У нас тут его сколько угодно, белого, мягкого, свежего, а там серый, как глина, со щепочками, с поло́вой, со жмыхами. Да если бы этакую порцию туда перенести — так хватило бы на четырех человек. Да и рыдали бы, пережевывая.

Все это было совершенно справедливо, но почему деревцо за окном вяло опустило ветки, портрет Венизелоса скривился на сторону, солнечное пятно на стене погасло и прожеванный кусочек хлеба никак не хотел, несмотря на мои судорожные усилия, — проскочить в горло... Я облил его глотком пива вкуса хины, мучительно улыбнулся и заметил:

— Но ведь если я сейчас не буду есть этого хлеба — я им этим не помогу?..

— Им уже ничто не поможет. Как мучаются! Как мучаются! От голода распухает лицо и все тело покрывается кровоточащими струпьями...

Она встала и пошла за котлетой.

Котлета оказалась на редкость сочная, в сухариках, с картошечкой, нарезанной этакими столбиками.

Я отрезал кус, мазнул горчицей и увенчал кусочком огурца.

— Я читала, что от голода шея начинает пухнуть и гнить. Отчего бы это?

— Не знаю отчего,— угрюмо промолвил я.

Мне показалось, что кусочек котлеты на вилке покраснел, распух и в нем что-то зашевелилось...

— Да... Вот вы, например, можете себе позволить здесь удовольствие съесть две или три жареные котлеты, а там даже дров нет, чтобы сварить головку ржавой селедки...

Ах, как все это было справедливо!.. Но котлета покоробилась, съежилась и сделалась вялой, неаппетитной...

— Дайте счет,— со вздохом попросил я.

Она черкнула что-то в книжечке, сардонически улыбаясь:

— Иногда пишешь счет, да как вспомнишь, чем была раньше, как роскошно жила,— так слезы и застилают глаза: цифр даже не вижу...

— Прощайте,— пробормотал я.

— Куда ж вы так скоро?

— Пойти на кладбище, что ли, повеситься.

— Да уж теперь это только и остается,— с готовностью одобрила она.

* * *

Вчера снова накатило на меня такое бодрое бурливое настроение. Я шел по улице, чуть не приплясывая, и, наконец, решил:

— Не зайти ли в ресторанчик?.. Только — дудки! В этот уж не пойду. Эта милая девушка снова доведет меня до логической мысли привязаться веревкой за шею к перилам Галатского моста, да и спрыгнуть вниз...

Поэтому я, насвистывая нечто мелодичное, вошел в другой ресторан и... первое, на что я наткнулся,— была та давешняя кельнерша.

— Вы... Здесь? — оторопел я.

— Да... Садитесь. Представьте, мне тот хозяин отказал. Вы, говорит, не умеете обращаться с публикой... А я уж, можно сказать, всякого, как родного, встречаю. Все, что есть на душе,— все выложишь. Что будете кушать? А у сестрицы, представьте, кроме ангины еще и дезинтерия... Несчастье за несчастьем... Садитесь! Куда ж вы?!

Благородная девушка

Самым серьезным человеком в свете я считаю своего друга Степана Фолиантова.

Даже в имени его и фамилии — есть что-то солидное, несокрушимое...

Поэтому я имел полное право окаменеть от изумления, когда одним весенним вечером он, как экваториальная буря, ворвался ко мне и сообщил, изнемогая на каждом слоге:

— Ну, конец, брат! Поздравь меня — я влюблен.

Если бы дьякон соборной церкви остриг волосы, вымазал лицо жженой пробкой и, надев красный фрак, выступил в кафе-концерте на эстраде в качестве негра, исполняющего кика-пу, — это было бы более подходящее, чем то, что сообщил мне Фолиантов.

— С ума ты сошел? — недоверчиво ахнул я.

— Ну, конечно! Я об этом же и говорю. Ах, какая женщина! Понимаешь: ручки, ножки и губки такие маленькие, что... что...

— Что их совсем не видно? — подсказал я.

А?.. Ну, это ты уж хватил. Нет, их видно, но они просто крохотные. А глаза, наоборот, такие огромные, что...

— Что занимают территорию всего лица?!

— А? Ну, ты скажешь тоже. Просто огромные глаза. И красивые до безобразия!.. Носик...

— Выпей вина и расскажи лучше о характере.

— Характер? Ангельский. Бескорыстие? Дьявольское! Достаточно сказать, что, когда мы бываем в кафе, — она всегда платит свою треть. Идем в театры — она за билеты платит треть. Садимся на извозчика...

— Почему же такая странная дробь — треть?

— А брат же с нами всегда.

— Чей?

— Странный вопрос: ее! Он ко мне очень привязался... Светлая личность! Бываем втроем. Ой, опоздал! Уж ждут.

И умчался этот странный Фолиантов — так же бурно, как и появился.

* * *

На другой день появился расстроенный.

— Выгнала.

— Вот тебе раз. За что?

— Я сдуру предложил денег. У них ведь не густо. И брат кричал тоже. Обиделся. Вот тебе и Константинополь! А говорят — город продажных женщин и торгующих женщинами мужчин.

Он вынул портрет прехорошенькой девушки и принялся жадно целовать его.

— Дай и я поцелую,— попросил я, глубоко растроганный.

— На. Ты ее тоже полюбишь, когда узнаешь.

Мы долго по очереди целовали портрет и потом сидели, глядя друг на друга со слезами на глазах...

— Ты, наверное, грубо предложил ей деньги,— укоризненно сказал я.— Вот она тебя и выгнала. А ты сделай как-нибудь деликатнее...

— Ну? Как же?

— Выдай ей вексель на круглую сумму и объясни, что все мы, мол, под Богом ходим, что мало ли что может случиться и что, если ты умрешь, для тебя будет невыносимой мысль, что любимый человек бедствует. Сколько ты ей, дурья голова, предложил?

— 500 лир.

— Ну, вот и напиши на эту сумму. Да вложи в коробку с шоколадом. Все-таки вексель в шоколаде — это не грубые материальные деньги в кулаке.

— А если совсем выгонит?

— В Константинополе-то? Не выгонит.

Умчался Фолиантов.

* * *

Примчался Фолиантов:

— Что было! Слезы, истерика. «Так ты, говорит, думаешь, что я тебя из-за денег люблю?! Уходи!» Два часа на коленках стоял. Сказал, что, если не возьмет,— пойду и утоплюсь в Босфоре. Она страшно испугалась, заплакала еще раз и взяла. Просила только брату не говорить.

— Вот видишь, как все хорошо.

Через два дня случилось происшествие, которое потрясло не только Фолиантова, но и меня.

— Понимаешь,— рассказывал он.— Все началось из-за того, что в театре она на кого-то посмотрела, а я приревновал... Вернулись к ней домой, я наговорил ей разных слов и, в конце концов, сказал, что она меня совершенно не

любит. Она заплакала, потом спросила: «Значит, выходит, если я тебя не люблю, то встречаюсь с тобой только из-за материальных интересов?! Так смотри же!» Вскочила, вынула из шкатулки мой злополучный вексель, порвала на клочки и бросила к моим ногам.

Я ахнул:

— Вот это женщина! Прямо-таки Настасья Филипповна из «Идиота»!.. Что ж ты думаешь теперь делать?

— Написал уже другой. Так или иначе — всучу ей.

— Вот тебе и Константинополь...— покачал я головой.— Встречусь с ней — в ножки поклонюсь.

Мы оба сияли, как солнце. Два солнца в одной комнате — это была редкая астрономическая комбинация.

* * *

— Помирились! — радостно крикнул мне с извозчика Фолиантов.— Уговорил принять новый. Ну, характер же! Порох.

На Пере, когда один человек едет на извозчике, а другой плетется по мостовой,— трудно разговаривать. Потому я не добился подробностей.

На другой день произошли новые события.

— Это огонь, а не женщина,— кричал мне с порога Фолиантов.— Теперь уже не я ее, а она меня приревновала!..

— Ну, и...

— И порвала в клочья второй вексель!

— Третий дай! — кричал я в экстазе.

* * *

С тех пор события приняли более или менее ритмичный характер...

При малейшем поводе эта странная бескорыстная девушка выхватывала из шкатулки пошлейший документ моего друга и тут же в бешенстве ревности или незаслуженной обиды — разрывала его в мелкие клочья.

Друг прибегал ко мне, мы оба долго сидели, растроганные, а потом, как два упорных осла, решали, что это девушке не поможет: она все равно получит новый вексель...

Я помню точно: эта борьба великодуший случалась ровно шесть раз. Шесть векселей было подписано, шесть

было выхвачено из шкатулки, шесть, в безумном порыве, было разорвано на глазах друга, шесть раз мы, растроганные, тихо плакали на груди друг у друга...

* * *

А сегодня мой друг Фолиантов явился таким расстроенным, каким я его никогда не видел.

— Шестой изорвала? — догадался я.

Он сидел молча, яростно покусывая головку трости.

— Что ж ты молчишь?.. Как поживает наш цветочек, наше ясное солнышко?..

— Чтоб оно лопнуло, это твое солнышко! — заревел мой друг, стуча тростью по дивану, как по злейшему врагу.— Если бы эту кобылу повесили — я с удовольствием дал бы намыленную веревку!..

— Послушай, Фолиантов... Есть такие границы, которые...

— Нет! Нет никаких границ — понимаешь ты это?! За что я теперь должен платить три тысячи лир или садиться в тюрьму?! А?

— Опомнись, какие три тысячи?!

— Да по векселям, которые я, по твоему же совету, на коленках преподносил этой жадной константинопольской собаке!

— Постой, постой... Об остальном я пока не спрашиваю... Но у нее же был только один твой вексель?..

— Черта с два! Все шесть — целехоньки.

— Да ведь она же их рвала?

— Поддельные рвала! Этот ее альфонс и подделывал под мой почерк.

— Светлая личность?! Ее брат?!

— Брат?! Такой же он ей брат, как ты мне падчерица! Полетел я к ней объясняться, а он выходит и говорит: «Если вы не оставите в покое мою жену и не прекратите преследовать ее своей любовью — я заявлю в английскую полицию!» — «А мои векселя?!» — «Это ваши личные коммерческие отношения — меня они не касаются. Если вы ей дали шесть векселей за проданную вам каустическую соду или подошвенную кожу — кому какое до этого дело? Ведь подпись на векселях ваша?» А?! как тебе это понравится? каустическая сода!!! подошвенная кожа?!!

— Признаться,— примирительно сказал я,— во всей этой истории я не узнавал до сих пор Константинополя, и это меня втайне немного тревожило. Теперь я снова узнаю его неизменяемое вечное лицо, и это меня успокаивает.

— То есть?!

— Раз девушка оказалась не девушкой, брат не братом, порванные векселя — не порванными и любовь — не любовью, а подошвенным товаром — все в полном порядке... Приветствую тебя, старый изможденный развратный мошенник — Константинополь!

— А как же векселя?..

— Есть деньги?

— Последние три тысячи лир были. Кое-как наскребу.

— Плати. Там заранее рассчитано.

Русские в Византии

Этот осколок константинопольской жизни мне хочется написать в благородной форме исторического романа — так он красочен...

* * *

Стояло ясное погожее утро лета 1921 года.

Впрочем, нет. Стоял вечер.

Автор начинает с утра только потому, что все русские исторические романы начинаются этой фразой.

А на самом деле стоял вечер, когда произошла завязка правдивого бытового романа.

Граф Безухов, не доложившись, неожиданно вошел в комнату жены и застал последнюю (она же была у него и первая) — в объятиях своего друга князя Болконского.

Произошла ужасная сцена.

— Милостивый государь! — вскричал взбешенный муж.

— Милостивый государь?

— Вы знаете, что вами осквернен мой семейный очаг!!

— Здесь дама, прошу вас не возвышать голоса. Орет, сам не знает чего.

Закусив нижнюю губу, бледный граф молча сдернул со своей руки перчатку, сделал два шага по направлению к князю и бросил перчатку прямо в лицо врагу.

— Надеюсь, вы понимаете, что это значит?! — угрюмо сказал он.

— Готов к услугам,— холодно поклонился князь Болконский.

— Мои секунданты будут у вас в 10 часов утра.

— Хоть в 9,— с достоинством ответил князь, отыскивая свою шляпу.

* * *

По соглашению сторон поединок решен был на завтра, на дуэльных пистолетах.

Выработав все условия и подробности, секундант графа, полковник Н., спросил у княжеского секунданта, гусарского корнета Ростова:

— Теперь — последний вопрос: у вашего доверителя есть дуэльные пистолеты?

— Никаких нет.

— А у вас?

— Откуда, голубчик? Я из Севастополя эвакуировался с маленьким ручным чемоданчиком... До дуэльных ли тут пистолетов!

— И у моего нету. Что ж теперь делать? Нельзя ли у кого-нибудь попросить на время? Например, у барона Берга?..

— Нашли у кого просить! Барон на Пере «тещиными языками» торгует с лотка — неужели, вы думаете, у него удержится такая ценная штука, как ящик с дуэльными пистолетами. Загнал!

Огорченные, разошлись секунданты по своим доверителям:

— Ну, что? — нетерпеливо спросил бледный, с горящими глазами граф Безухов.— Все готово? Когда?

— Черта с два готово! Пистолетов нет.

— Вот тебе раз! У барона Берга нет ли?

— «Тещины языки» есть у барона Берга. Не будете же вы драться «тещиными языками»!

— Может, в магазине можно купить? Если недорого...

— Ваше сиятельство, что вы! В константинопольском магазине?! Дуэльные пистолеты? Да на кой же шут их будут держать? Для греков, торгующих маслинами и халвой?.. Нашли тоже Онегиных!.. Они больше норовят друг друга по шее съездить или — еще проще — обчистить на «пенды-грош», а не дуэль! Заверяю вас, что среди местных греков нет ни Ленских, пи Печориных...

— Гм! Дьявольски глупо... Не отказываться же из-за этого от дуэли!

— Впрочем, попытаюсь пойти еще в одно место: в комиссионный магазин «Окказион» — не найду ли там?..

* * *

— Здравствуйте. Чем могу служить?

— У вас есть дуэльные пистолеты?

— Помилуйте, все есть! Ковры, картины, бриллианты, курительные трубки...

— Ну, на кой мне черт курительная трубка. Из нее не выстрелишь.

— Пардон, стреляться хотите? Дуэль?

— Не я. Я по доверенности.

— Ага. Так, так. Присядьте! Ну, желаю удачи. А пистолетики найдутся. Вам пару?

— Не четыре же! Эо не кадриль танцевать.

— Нет, я в том смысле спросил, что, может, одним обойдетесь.

— Что вы за чушь городите! Какая же это дуэль с одним пистолетом?!

— А почему же? Сначала первое лицо стреляет, потом, ежели не попал, передает партнеру, тот стреляет, и так далее. Экономически-с.

— Подите вы! Сколько стоит пара?

— Для вас? Двести лир.

— Вы с ума сошли! Они и шестидесяти не стоят!

— Не могу-с. А пистолеты такие, что поставьте в затылок пятерых — пятерых насквозь пронижет.

— Ну, вот! Что ж мы для вашего удовольствия еще четыре пары дуэлянтов подбирать будем? Уступите за сто.

— И разговору такого нет.

* * *

— Ну, что?!

— Черт его знает — с ума сошел человек! Он, может, из человеколюбия, но нельзя же драть двести лир за пару! Скажите, сколько вы ассигнуете?

— Мм... Могу отдать все, что имею — сорок лир.

— Впрочем, с какой стати вы сами будете нести все расходы. Вот еще! Пусть противник принимает на себя половину!

— Послушайте! Удобно ли обращаться... по такому поводу!

— В Константинополе все удобно! Я с него и за доктора половину сдеру!..

* * *

Колесо завертелось.

Полковник Н. пошел к корнету Ростову и потребовал, чтобы его доверитель, князь Болконский, заплатил свою долю за пистолеты — 40 лир; корнет пошел к князю — у князя нашлось только 25 лир; корнет отправился к полковнику, но полковник нашел, что шансы не равны, и предложил взять доктора — па счет князя; потом оба пошли в комиссионный магазин и стали торговаться...

Хозяин уступал за полтораста (без зарядов); секунданты давали 60 с зарядами; не сойдясь, оба разошлись по своим доверителям за инструкциями; граф предложил полковнику Н. взять пистолеты напрокат; полковник отправился к корнету Ростову; оба отправились в комиссионный магазин; хозяин согласился на прокат, но просил залог в полтораста лир; оба снова разошлись по доверителям; один из доверителей (граф) согласился дать в залог брошку жены (100 л.) с тем, чтобы князь Болконский доплатил остальное; корнет Ростов отправился к князю, по у князя оказалось всего-навсего 15 лир; граф передал через своего секунданта, что князь саботирует дуэль, а князь ответил через своего секунданта, что бедность не саботаж и что он, если и задолжает графу за пистолеты, то впоследствии, когда будут деньги, отдаст; граф чуть было не согласился, но жена его возмутилась: «С какой стати,— говорила она,— раз шансы не равны: если он тебя убьет, он этим самым освобождается от долга, а если ты его убьешь — ты с него ничего не получишь... Я вовсе не желаю терять на вашей дурацкой дуэли!»; граф возразил, что это не дурацкое, а дело чести; графиня ответила в том смысле, что, дескать,— какая честь, когда нечего есть; из комиссионного магазина пришел мальчик и простодушно спросил: «А что теи господа будут стрелять друг у друга или отдумали, потому как, может, найдутся другие покупатели — так отдавать или как?» Граф послал его к князю Болконскому, графиня послала его к черту, а он, вместо этого, раскрыл зонтик от дождя и побежал домой.

Наступала осень.

* * *

О, Ленские, Печорины, Онегины и Грушницкие!

Вам-то небось хорошо было выдерживать свой стиль и благородство, когда и пистолеты под рукой, и камердинеры собственные, и экипажи, и верховые лошади... «Дуэль? Пожалуйста! Такое-то место, такой-то час, деремся на пистолетах»... А попробуйте, милостивый государь господин Ленский, пошататься по «окказионам», да поторговаться до седьмого поту, да войти в сношения с Онегиным на предмет взятия на себя части расходов, да получить от Онегина отказ, потому что у него «юс-пара» в кармане... Так тогда — не «умру ли я, стрелой пронзенный» запоете, а совсем из другой оперы:

Помереть не померла,
Только время провела.

* * *

Бедные мы сделались, бедные...

И прилично ухлопать-то друг друга не имеем возможности!

Аргонавты и золотое руно

С тех пор, как осенью 1920 года пароход покинул берега Крыма, и до самого Константинополя они так и ходили нераздельно вместе — впереди толстый, рыжебородый со сложенными на груди руками, за ним, немного сзади, двое: худощавый брюнет с усиками и седенький, маленький. Этот вечный треугольник углом вперед — напоминал стаю летящих журавлей.

Только один раз я увидел их не в комбинации треугольника: они дружно выстроились у борта парохода, облокотясь о перила, и поплевывали в тихую воду Черного моря с таким усердием, будто кто-нибудь дал им поручение — так или иначе, а повысить уровень черноморской воды.

Я подошел и бесцельно облокотился рядом.

— Ну что, юноша,— обратился вдруг ко мне седенький.— Как делишки?

— Ничего себе, юноша,— приветливо ответил я.— Дрянь делишки.

— Что думаете делать в Константинополе?

— А черт его знает. Что придется.

— Так нельзя,— наставительно отозвался черноусый мужчина.— Надо заранее выработать план действий, чтобы не очутиться на константинопольском берегу растерянным дураком. Вот мы выработали себе по плану — и спокойны!

— Прекрасное правило,— пришел я в искреннее восхищение.— Какие же ваши планы?

Седенький подарил морскую гладь искусным полновесным плевком и, поглядывая на удалявшиеся с глаз плоды губ своих, процедил сквозь энергично сжатые губы:

— Газету буду издавать.

— Ого! Где?

— Что значит — где? В Константинополе. Я думаю сразу ахнуть и утреннюю и вечернюю. Чтобы захватить рынок. Вообще, Константинополь — золотое дно.

— Дно-то дно,— с некоторым сомнением согласился я.— Только золотое ли?

— Будьте покойны,— вмешался черноусый.— На этом дне лежат золотые россыпи, только нужно уметь их раскопать. Впрочем, мои планы скромнее.

И две стороны треугольника сейчас же поддержали третью:

— Да его планы скромнее.

— Журнал будете издавать? — попытался догадаться я.

— Ну, что там ваш журнал! Чепуха. Нет, мне пришла в голову свежая мыслишка. Только вы никому из других пассажиров не сообщайте. Узнают — сразу перехватят.

Я твердо поклялся, что унесу эту тайну с собой в могилу.

— Так знайте: я решил открыть в Константинополе русский ресторан.

— Гм... Я, правда, никогда до сих пор не бывал в Константинополе, но... мне кажется, что... там уже в этом направлении кое-что сделано.

— Черта с два сделано! Разве эти головотяпы сумеют? Нут, у меня все будет особенное: оркестр из живых венгерцев, метрдотель — типичный француз, швейцар — швейцарец с алебардой, а вся прислуга — негры!

— И вы всю эту штуку назовете русским рестораном?

— Почему бы и нет? Кухня-то ведь русская! Щи буду закатывать, кулебяки загибать, жареных поросят зашпаривать. На всю Турцию звон сделаю.

— Но ведь для этого дела нужны большие деньги!

— Я знаю! Тысяч десять лир. Но это самое легкое. Найду какого-нибудь богатого дурака-грека — в компании с ним и обтяпаем.

Молчавший доселе бородач вдруг захохотал, подарил морскую гладь сложнейшим плевком с прихотливой завитушкой и дружески ударил меня по плечу.

— Нет, это все скучная материя — дела, расчеты, выкладки. Вот у меня план, так план! Знаете, что я буду там делать?

— А Бог вас знает.

— То-то и оно. Ничего не буду делать. Сложа руки буду сидеть. Валюту везу. Ловко, а!

— Замечательно.

— Да-а. Узнает теперь этот Константинополишка Никанора Сырцова! Ей-бо, право! Палец о палец не ударю. Сложу руки и буду сидеть. Поработали, и буде. Ежели встречу там где — шампанеей до краев налью. Да просто заходи в лучший готель и спроси Никанора Сырцова — там я буду! А може, я в Васькиной газете публиковаться буду: «Такой-то Никанор Гаврилов Сырцов разыскивает родных и знакомых на предмет выпивки с соответствующей закуской». А в кабак мы с тобой будем ходить только в Петькин: пусть нам там негры и венгерцы дурака ломают. Поддержим, приятеля, хе-хе! Хай живе Украина!

Журавлиный треугольник отделился от перил, взмахнул крыльями и плавно понесся в трюм на предмет насыщения своих пернатых желудков.

* * *

Пока все беженство кое-как утряслось, пока я лично устраивался — никто из журавлиного треугольника не попадался мне на глаза.

Но однажды, когда я скромно ужинал в уголку шумного ресторана — ко мне подлетел головной журавль — Никанор Сырцов.

— Друг! — завопил он.— Говорил, шампанеей налью — и налью. Пойдем до кабинету. Какие цыгане — пальчики оближешь. Как зальются — так или на отцовскую могилу хочется бежать, или кому-нибудь по портрету заехать. Благороднейшие люди.

Он сцепился со мной на абордаж, после долгой битвы победил меня и, взяв на буксир, отшвартовался «до кабине-

ту», который оказался холодной дымной накуренной комнатой, наполненной людьми. В руках у них были гитары, на плечах линялые кунтуши, на лицах — скука непроходимая.

— Эй, брат! — воскликнул Сырцов, становясь в позу. — Люблю я тебя, а за что и сам не знаю. Хороший человек, чтоб ты сдох! Веришь совести — вторую тысячу пропиваю!.. А ну вы, конокрады, — ушкварьте. «Две гитары за стеной!»

Пел Сырцов, рыдал Сырцов в промежутках и снова плясал Сырцов, оделяя всех алчущих и жаждущих бокалами шампанского и лирами.

— Во, брат, — кричал он, путаясь неверными ногами в странном танце. — Это я называю жить сложа руки! Вот она, брат, и есть настоящая жизнь! Ой, жги, жги, жги!..

Последний призыв Никанора цыгане принимали вяло и, вместо поджога, только хлопали бокал за бокалом, зевая, перемигиваясь и переталкиваясь локтями. Впрочем, и сам Сырцов не мог точно указать, какой предмет обречен им на сжигание.

— Постой, — попытался я остановить пляшущего Никанора. — Расскажи мне лучше — что поделывают твои приятели? Открыли ресторан? Издают газету?..

— А черт их знает. Я восьмой день дома не был — так что мне газета! На нос мне ее, что ли?

* * *

Шел я однажды вечером по Пти-Шан.

Около знаменитого ресторана «Георгия Карпыча» раздался нечеловеческий вопль:

— Интер-ресная газета «Пресс дю суар!» [23]. Купите, господин!

Я пригляделся: вопил издатель из журавлиного треугольника.

Очевидно, вся его издательская деятельность ограничилась тем, что он издавал вопли, с головой уйдя в несложное газетное дело сбыта свежих номеров.

— Что же это вы чужую газету продаете, — участливо спросил я. — А своя где?

— Дело этого... налаживается, — нерешительно промямлил он. — Еще месяц, два и этого... С разрешением дьявольски трудно!..

— А что ваш приятель? Как его дело с рестораном?

— Пожалуйте! Тут за углом, второй дом, вывеска. Навестите, он будет рад.

— Слава Богу,— подумал я, идя по указанному адресу,— хоть один устроился!..

Этот последний, действительно, увидев меня,— обрадовался.

Подошел к моему столику, обмахнул его салфеткой, вынул из кармана карточку и сказал:

— Вот приятная встреча! Что прикажете? Водочки с закусочкой, горячего или просто чашку кофе?

— Вы что тут в компании? Нашли дурака-грека с деньгами?

— Нет, собственно, он нашел меня, дурака. Или, вернее, я его, конечно, нашел, ну так вот... Гм!.. Пока служу. У него, впрочем, действительно, есть большие деньги. Я только... этого. Не заинтересован.

— А венгерцев и негров нет?

Он отвернулся к окну и стал салфеткой протирать заплаканное стекло.

— И швейцар ваш без алебардов, безоружный, в опорках...

— Шутить изволите. Может, винца прикажете? Хорошее есть...

....

Еще месяц с грохотом пронесся над нашими головами.

Проходя мимо греческого пустынного ресторанчика, я иногда видел дремлющего у стены с салфеткой под мышкой смелого инициатора дела, построенного на венгерцах, неграх, швейцарцах и алебардах.

И по-прежнему издатель на углу яркой улицы издавал стоны:

— «Пресс дю суар!»

Вчера, остановившись и покупая газету, я спросил простодушно:

— А что же ваша собственная газета?

— Наверное, скоро разрешится.

— Ну, а что ваш приятель Никанор Сырцов? По-прежнему сидит сложа руки?

— Сложа-то сложа... Только не сидит, а лежит. От голодного тифа или что-то вроде — помер. Все деньги на цыган да на глупости разные проухал! У меня, в конце

концов, по пяти пиастров перехватывал! Да мне тоже, знаете, взять их неоткуда. Вот тебе и «сложа руки»! Много их, таких дураков.

И когда он говорил это — у него было каменное неподвижное лицо, как у старых боксеров, которых другие боксеры лупили по щекам огромными каменными кулачищами, отчего лицо делается навсегда непробиваемым.

Жестокий это боксер — Константинополь! Каменеет лицо от его ударов.

Развороченный муравейник

Разговор в беженском общежитии:

— Здравствуйте... Я к вам на минутку. У вас есть карта Российской империи?

— Вот она. На стенке.

— Ага! Спасибо. А почему она вся флажками покрыта? Гм! Для линии фронта — флажки, кажись, слишком неряшливо разбросаны...

Родственники.

Ага! Родственники это сделали?

— Какие родственники! Я это сделал.

— Родственникам это сделали? Для забавы?..

— К черту забаву! Для собственного руководства сделал.

— В назидание родственникам?

— Плевать хочу на назидание!

— А при чем же родственники?

— Выдерните флажок из Екатеринослава! Ну? Что там написано?

— «Алеша» написано.

— Так. Брат. Застрял в Екатеринославе.

— Позвольте... А где же ваша вся семья?

А вот следите по карте... Отправной пункт Петербург застряла больная сестра. Служит в продкоме, несчастная. «Москва» — потеряли при проезде дядю. Что на флажке написано?

Написано «Дядя».

Правильно написано. Дальше — «Курск»: арестована жена за провоз якобы запрещенных 2 фунтов колбасы. Разлучили — повели куда-то. Успел вскочить в поезд, потому что там оставались дети. Теперь — ищите детей... Станция Григорьевка — Люся... Есть Люся? Так. Потерялась

в давке. Еду с Кокой. Станция Орехово. Нападение махновцев, снова давка — Коку толпа выносит на перрон вместе с выломанной дверью. Три дня искал Коку. Пропал Кока. Какой флаг на Орехове?

— Есть флаг: «Кока на выломанной двери».

— Правильный флаг. Теперь семья брата Сергея... Отправной пункт бегства — Псков. Рассыпались кистью, вроде разрыва шрапнели. Псков — безногий паралитик дедушка, Матвеевка — Грися и Сеня. Добронравовка — свояченица, Двинск — тетя Мотя, сам Сергей — Ковно, его племянник где-то между Минском и Шавлями — я так и флажок воткнул в нейтральную зону... Теперь — гроздь флажков в ростовском направлении — семья дяди Володи, тонкая линия с перерывами на сибирское направление — семья сестры Лики!.. Пук флажков по течению Волги... Впрочем, что это я все о своих да о своих... Прямо невежливо! Вы лучше расскажите — как ваша семья поживает?

— Да что ж рассказывать... Они, кроме меня, все вместе — все 9 человек.

— Ну, слава Богу, что вместе.

— Вы думаете? Они на Новодевичьем кладбище в Москве рядышком лежат...

Великое переселение народов

Когда я шел по улице, то случилось так, что этим актером будто кто-то швырнул в меня из окна третьего этажа: так неожиданно налетел он на меня, и едва ли — не сверху.

— Осторожнее, грудную клетку поломаете, — испуганно воскликнул я.

— Простите, не заметил. Задумался.

— Небось, все о дороговизне здешней жизни думаете?..

— Так. Млеко-та от крав гораздо-та драгота.

— Я... вас... не понимаю.

— Я насчет крав. Млеко-та ихнее, говорю, гораздо драго-та.

— Это еще что за арго?

— Болгарский язык. Я теперь по-болгарски учусь.

— На какой предмет?

— В славянские земли еду.

— На какой предмет?

— Петь там буду. Я певец. Петь буду.

— На какой предмет?

— Деньги зарабатывать. Там, говорят, очень выгодно для актеров. Болгары — чудесный народ.

В это время к моему собеседнику подошел другой актер. Поздоровались они:

— Живио.

— Наздар!

— Скро едъм?

— Как тлько блгарскую взу плучу-та.

— Вы тоже едете? — спросил я.

— Обязательно. Все едут: Звонский, Кринский, Брутов, Крутов, Весеньев и Перепентьев.

— Позвольте... Вас я еще понимаю, что вы едете: ваша специальностъ — балалайка... Так сказать, международный язык! А что там будут делать Брутов и Крутов? Ведь они драматические.

— Драму будут играть.

— Но ведь болгары не понимают по-русски!

— Поймут! Все дело в том, что из пьесы нужно все гласные вымарать и к каждому слову «та» прибавить. Тогда и получится по-болгарски. Сейчас помощник режиссера сидит и вымарывает, актеры даже рады: меньше учить придется. Здраво-та?!

— Крпко здраво,— улыбнулся я.

— Вот видите — вы тоже уже научились. Это ведь быстро! Пресимпатичный язык! Когда едете?

— Я не собираюсь.

— Неужели?! Первого человека вижу, который не едет в славянские земли!

— А что мне там делать?

— Писать будете. Написали рассказ, вычеркнули все гласные, да и марш в газету. Как говорится: марш, марш, генерале наш!

— Вздор! Дурацкая мсль-та!

— Ничего не дурацкая. В славянских землях многи листи излази.

— Чего-о?

— Я говорю: многи листи излази. По-нашему — много газет выходит. А театр, по-ихнему,— позорище.

— Вот видите. А вы едете.

— Да ведь не я один. И Громкин, и Самыкин, и Зуев, и Заворуев — все едут.

— Как Заворуев?! Ведь он не актер!

— А он хорошо на пробке играет. Зажмет пробку в зубы и ну по щекам пальцем щелкать. Любой мотив изобразит.

— Гм... да... Теперь я понимаю, почему театр по-славянски — позорище.

— Самыкин, хотя он и беговой наездник,— у нас он будет знаменитым славянским стрелком.

— Ну, дай ему Бог настрелять побольше.

Подошел к нам Сеня Грызунков, существо, умственный багаж которого не позволил бы своему обладателю и до Кады-Кея без посторонней помощи доехать.

— Здрав буди,— сказал Сеня, здороваясь со мной.— Ну, братцы, поздравьте! Исайя, ликуй. Получил заграничный паспорт и еду в церковнославянские земли!

— Сеничка,— сочувственно сказал я.— Как же ты поедешь в церковнославянские земли... Ведь там, поди, церквей много?..

— Ну, так что ж...

— А вашего брата и в церкви бьют.

— Мой брат и не едет. Он в Совдепии застрял. А мы с Маничкой Овсовой едем. У нее позавчера в половине пятого голос открылся. Настоящая Нежданова. Будем цыганскими романсами работать. Едем я, она и ее тетка. Гайда тройка!

* * *

Пришел я домой, взглянул на карту Болгарии, и сердце у меня сжалось:

— Больно-та мала страна-та.

Но тут же и успокоился:

— Это ничего, что страна маленькая, зато сердце у нее великое. Душа гостеприимная.

Вижу отсюда, что пригреет Болгария, по мере возможности, и Громыкина, и Самыкина, и Зуева, и Заворуева.

Трагедия русского писателя

Меня часто спрашивают:

— Простодушный! Почему вы торчите в Константинополе? Почему не уезжаете в Париж?

— Боюсь,— робко шепчу я.

— Вот чудак... Чего ж вы боитесь?

— Я писатель. И поэтому боюсь оторваться от родной территории, боюсь потерять связь с родным языком.

— Эва! Да какая же это родная территория — Константинополь.

— Помилуйте — никакой разницы. Проходишь мимо автомобиля — шофер кричит: «Пожалуйте, господин!» Цветы тебе предлагают: «Не купите ли цветочков? Дюже ароматные!» Рядом: «Пончики замечательные!» В ресторан зашел — со швейцаром о Достоевском поговорил, в шантан пойдешь — слышишь:

Матреха, брось свои замашки,
Скорей тангу со мной пляши...

Подлинная черноземная Россия!

— Так вы думаете, что в Париже разучитесь писать по-русски?

— Тому есть примеры, — печально улыбнулся я.

— А именно?..

Не отнекиваясь, не ломаясь, я тут же рассказал одну известную мне грустную историю —

О русском писателе.

Русский пароход покидал крымские берега, отплывая за границу.

Опершись о борт, стоял русский писатель рядом со своей женой и тихо говорил:

— Прощай, моя бедная истерзанная родина! Временно я покидаю тебя. Уже на горизонте маячит Эйфелева башня, Нотр-Дам, Итальянский бульвар, но еще не скрылась с глаз моих ты, моя старая добрая, так любимая мною Россия! И на чужбине я буду помнить твои маленькие церковки и зеленые монастыри, буду помнить тебя, холодный красавец Петербург, твои улицы, дома, буду помнить «Медведя» на Конюшенной, где так хорошо было запить растегай рюмкой рябиновой! На всю жизнь врежешься ты в мозг мне — моя смешная, нелепая и бесконечно любимая Россия!

Жена стояла тут же; слушала эти писательские слова — и плакала.

* * *

Прошел год.

У русского писателя была уже квартира на бульваре Гренель и служба на улице Марбеф, многие шоферы такси уже кивали ему головой, как старому знакомому, уже

у него было свое излюбленное кафе на улице Пигаль и кабачок на улице Сен-Мишель, где он облюбовал рагу из кролика и совсем недурное «ординэр»...

Пришел он однажды домой после кролика, после «ординэр'а» сел за письменный стол, подумал и тряхнув головой, решил написать рассказ о своей дорогой родине.

— Что ты хочешь делать?— спросила жена.

— Хочу рассказ написать.

— О чем?

— О России.

— О че-ем?!

— Господи Боже ты мой! Глухая ты, что ли? О России!!!

— Calmez-vous, je vous en prie[24]. Что ж ты можешь писать о России?

— Мало ли! Начну так: «Шел унылый, скучный дождь,— который только и может идти в Петербурге... Высокий молодой человек быстро шагал по пустынной в это время дня Дерибасовской...»

— Постой! Разве такая улица есть в Петербурге?

— А черт его знает. Знакомое словцо. Впрочем, поставлю для верности — Невскую улицу! Итак: «...высокий молодой человек шагал по Невской улице, свернул на Конюшенную и вошел, потирая руки, к «Медведю».— «Что, холодно, monsieur?» — спросил метрдотель, подавая карточку.— "Mais oui[25],— возразил молодой сей господин.— Я есть большой замерзавец на свой хрупкий организм!"»

— Послушай,— робко перебила жена.— Разве есть такое слово «замерзавец»?

— Ну да! Человек, который быстро замерзает,— суть замерзавец. Пишу дальше: «Прошу вас очень,— сказал тот молодой господин.— Подайте мне один застегай с немножечком poisson bien frais[26] и одну рюмку рабиновку».

— Что это такое — рабиновка?

— Это такое... du водка.

— А по-моему, это еврейская фамилия: Рабиновка — жена Рабиновича.

— Ты так думаешь?.. Гм! Как, однако, трудно писать по-русски!

И принялся грызть перо.

Грыз до утра.

* * *

И еще год пронесся над писателем и его женой.

Писатель пополнел, округлел, завел свой auto — вообще, та вечерняя газета, где он вел парижскую хронику,— щедро оплачивала его — «сет селебр рюсс»[27].

Однажды он возвращался вечером из ресторана, где оркестр ни с того, ни с сего сыграл «Боже, царя храни»... Знакомая мелодия навеяла целый рой мыслей о России...

— О, нотр повр Рюсси[28]! — печально думал он.— Когда я приходить домой, я что-нибудь будить писать о наша славненькая матучка Руссия.

Пришел. Сел. Написал:

«Была большая дождика. Погода был то, что называй веритабль[29] петербуржьен! Один молодой господин ходил по одна улица, по имени сей улица: Крещиатик. Ему очень хотелось manger[30]. Он заходишь на Конюшню сесть на медведь и поехать в restaurant, где скажишь: garson, une tasse de[31] рабинович и одна застегайчик avec[32] тарелошка с ухами...»

* * *

Я кончил.

Мой собеседник сидел, совсем раздавленный этой тяжелой историей.

Оборванный господин в красной феске подошел к нам и хрипло сказал:

— А что, ребятежь, нет ли у кого прикурить цигарки!

— Да,— ухмыльнулся мой собеседник.— Трудно вам уехать из русского города!

Язык богов

Маленькая грязная комнатка, с гримасой бешенства сдаваемая маленькой грязной гречанкой одному моему безработному знакомому.

Он слишком горд, чтобы признать отчаянное положение своих дел, но, зайдя к нему сегодня, я сразу увидел все признаки: вымытую собственными руками рубашку, сушившуюся на портрете Венизелоса, тарелку, на которой лежал огрызок ужасающей жареной печёнки с обломком

семита,— отложенные в качестве ужина, грязная, закопченная керосинка с какой-то застывшей размазней в кастрюле.

Обитатель комнаты так углубился в чтение книги, что даже не заметил моего появления...

— Что ты сидишь, как сыч,— нос в книгу уткнул. Захлопывай книгу, пойдем по взморью на лодке кататься. Погода изумительная!

Поднял он от книги тяжелую голову, поглядел на меня ничего не видящими глазами — опять уставил их в книгу.

— Ну, что же ты?

— Сегодня не могу, книжку читаю.

— Подумаешь, важность — книжка! Что это: откровение великого мыслителя, что ли?

— Подымай выше! Видишь, не могу оторваться.

— Поэма Эдгара По?

— Убирайся ты со своим По!

— Бешеная фантазия Гастона Леру?

— Откровенно говоря, я не знаю, как эта книга и называется: первые несколько листов оторваны. Знакомый газетчик дал.

— Да с чего же начинается?

— А вот послушай: «...вообще, на рынках и в лавках купить хороших, сытых, т. е. откормленных, цыплят — большая редкость. Ежели хотите иметь хороших цыплят, то, купив их живыми, следует покормить недельки две дома гречневой крупой, заваренной кипящим молоком, и содержать всех в тесном месте, чтобы цыплята не бегали. Но ежели хотите побаловать себя цыплятами на славу — (тут голос моего приятеля дрогнул от волнения), то покормите их ва́ренным на молоке рисом! Цыплята будут объедение: белое, нежное, тающее во рту мясо, с косточками, как хрящики. Правда, такое кормление молочным рисом обходится немало — рубля 3—4».

Я проглотил слюну и нетерпеливо воскликнул:

— Постой! Да ведь это простая поваренная книга!!

— Простая?! Нет, брат, не простая! Послушай-ка: «Главный подвоз рябчиков — вологодских и астраханских — начинается с установившегося зимнего пути. Лучшие сибирские рябчики, кедровики, то есть питающиеся кедровыми орехами. Когда выбираете дичь — она должна быть чиста, чтоб дробинки, так сказать, нигде не было видно.

Это тем особенно важно, что тогда, во время жаренья жирной птицы, сало и сок из ее ранок не вытекают, отчего она не высохнет и не потеряет во вкусе. Хороший рябчик должен быть: бел, сыт, т. е. мясист. Аромат его — приятно-смолянистый».

— Ну, так едем, что ли?

Я внутренне лукаво улыбнулся и добавил:

— Марья Григорьевна тоже едет.

— Марья Григорьевна? Ага. А ты вот это послушай: «Бывают случаи, что люди самые опытные ошибаются в выборе рыбы — да еще как ошибаются-то! Плавают, например, в садке или окаренке две стерляди; рост у них, правильнее — мера, — одинаковая, обе толстые, брюшко у обеих желтое, обе без икры, яловые, что вкуснее. Вы просите подрезать рыб снизу, к наростику, т. е. к хвосту. Подрезать обеих: и обе, как желток, жир — червонное золото. Чего еще требовать? Как еще пробовать? Между тем за столом оказывается, что одна из стерлядей вкусом удивительная, нежная, тает во рту, другая — так себе, грубая, дряблая, темновата, да и жиру в ней оказывается мало — весь он остался в рассоле, в котором варили стерлядь, и потемнела-то она во время варки. Отчего? — Оттого, что стерлядь эта другой воды: первая из Оки, вторая — волжская!!»

— Н-да, — задумчиво сказал я, машинально глотая слюну. — Дела!

— Вот видишь! А ты знаешь, как телят поят?

— Подумаешь, важность; дадут ему воды — он и пьет.

— Ха-ха-ха! Слушай. «Еще не так важно отпоить теленка, как важно выбрать его для отпоя, в чем, главное, и заключается секрет троицких телятников. Именно: выбирайте для отпоя теленка на низких, а не на высоких бабках, смотрите, чтоб у него были белы белки и губы, изнутри, когда их подвернете. Теленок, выбранный для отпоя, не должен делать большого движения, для чего его ставят в тесное стойло, где бы он мог только повернуться, лечь и встать, но отнюдь не скакать и играть; подстилки не должно класться никакой: одна соломина, которую теленок будет жевать, — испортит все дело. В стойле должно быть сухо, для чего пол делают наклонным, с дырьями, чистым. Ежели в молоко будет подлита хоть капля воды или подбавлена мука — телятина будет непременно красна и груба. Менее (как в четыре-пять

недель) порядочно отпоить теленка нельзя; но поят очень хороших по три, даже по четыре месяца. Конечно, таким телятам молока от одной коровы недостаточно, и поят их от двух, трех, пяти и более коров».

— Что ты хочешь этим сказать? — угрюмо спросил я.

— Ничего! — отвечал он торжествующе.

— А Марья Григорьевна тебя два раза спрашивала; она сегодня особенно интересна. И понимаешь — на блузке совсем прозрачные рукава... А руки! Белые, пухленькие, с ямочками на локтях. Грудь...

— А это: «К масленице зернистую икру подвозят в столицы и даже почти во все города нашего отечества в огромном количестве. К сожалению любителей, хорошая зернистая икра всегда в цене (4—4½ руб. фунт); достоинства зернистой икры следующие: малая соль, разбористость, т. е. зерно должно быть цело, не смято и отделяться одно от другого свободно, раскатываться в дробь. Белужья икра крупнее и беловатее, осетровая — мельче и с желтизной, но трудно сказать, которая лучше. Лучшая зернистая икра — багреная, т. е. та, которая вынута из рыбы, пойманной на воле багром, а не садковая, т. е. вынутая из рыбы, сидевшей уже в садках, из потомленной рыбы». Ха-ха! Понимаешь, как люди раньше жили? Икру из томленой рыбы он не лопал!..

— Послушай: замечательная погода. Море тихое, а? Поедем... Сейчас полная луна, с берега доносится музыка, волны тихо шелестят о борта лодки... Марья Григорьевна смотрит на тебя загадочным мерцающим взглядом. Стройная подъемистая ножка шаловливо выглядывает из-под края шумящей юбки...

— А это?! «Макароны Монгляс. В приготовленные и вымешанные с маслом макароны положить тертый пармезан пополам с швейцарским сыром, филеи из кур, нарезанные ломтиками, гусиные печёнки, трюфели и шампиньоны, предварительно обжарив их в масле. Потом прибавить ложку белого соуса, размешать, подавать при консоме...» А? каково?

— Не спорю, — вздохнул я. — Макароны Монгляс — очень вкусная штука. Да, кстати, о Марье Григорьевне. За ней в последнее время усиленно прихлестывает Пузыренко... Если ты не поедешь — он тоже увяжется в лодку...

— Меня не это удивляет, — рассеянно возразил приятель. — Меня удивляет «Гарнир Массена». Полюбуйся-ка:

«Снять с дроздов филеи, подрезать верхнюю плеву, подсолить, изжарить. Очистить свежие каштаны и, обжарив немного в сливочном масле, налить бульоном, сварить до мягкости; приготовить на двух яйцах лапшу, сварить в соленом кипятке, откинуть на решето. Когда все будет готово, сложить лапшу на растопленное масло в кастрюле, размешать, выложить на блюдо, сверх лапши уложить филеи, а средину наполнить сваренными каштанами...»

— Ей-Богу,— моляще простонал я,— я дроздов не люблю. Другое дело перепелки... И Марья Григорьевна их очень любит. Знаешь, когда она ест своими беленькими зубками...

— Перепелки, говоришь? Изволь! «Гарнир Шомель». Снять филеи с 6 перепелок и, подрезав верхнюю кожицу, сложить на вымазанную маслом глубокую сковородку и обжарить. Выпустить в кастрюлю 10 желтков яиц, развести выкипяченным соком из перепелов, посолить, процедить, разлить в намазанные маслом формочки и сварить на пару. Нафаршировать овальные гренки фаршем из дичи № 17...»

— Постой, постой! А как делается № 17?..

— Сейчас посмотрим...

Было 2 часа ночи.

Луна, освещавшая где-то далеко на тихом взморье Марью Григорьевну и Пузыренко, заглядывала и к нам в окно.

Так как мой приятель устал читать — его заменил я.

Наклонившись над книгой, читал я внятно и со вкусом:

«Артишоки, фаршированные другим манером. Приготовить артишоки, обдать их кипятком, а потом выбрать на салфетку. Приготовить фарш № 27, прибавить шампиньонов, рубленого трюфеля, рубленой зелени, раковых шеек...»

* * *

Смаковали до утра.

Что ни говори, а бедному русскому в Константинополе удается иногда попировать по-царски.

Бриллиант в три карата

Недавно я мог разбогатеть. И я с высоко поднятым челом прошел мимо этого богатства, к которому буквально стоило только протянуть руку.

Что меня удержало? Полагаю, исключительно только те принципы, которым еще в детстве научила меня мама, да то кроткое лицо любимой девушки, которое глянуло на меня с небес.

На Пере около Русского посольства в 4 часа дня ко мне подошел бедно одетый человек с открытым лицом и спросил:

— Где банкирская контора Иванова?

— Не знаю, голубчик,— вежливо сказал я, разглядывая витрину книжного магазина.

Тогда он обратился к другому господину, стоявшему подле,— солидному, приветливого вида господину.

— Где банкирская контора Иванова?

— А зачем вам банкирская контора?

— Да вот хочу русский золотой продать.

На лице солидного ясно отпечаталось ненасытное корыстолюбие:

— Сколько хотите?— спросил он, подмигивая мне...

— Пять лир.

— Давайте.

Я пошел вперед, но солидный догнал меня и, очевидно, не смогши сдержать распиравшей его изнутри радости, объявил:

— Видали вы такого дурака? Золотой стоит семь с полтиной, а он за пять отдал.

— А хорошо ли пользоваться неопытностью ближнего?— мягко упрекнул я.

— Ну, вот еще! Дураков учить надо.

В это время человек, так жестоко охарактеризованный солидным, догнал нас и сказал, таинственно озираясь:

— А у меня еще вещички есть... Не купите ли?

Мой новый знакомый заволновался и толкнул меня по-сообщнически локтем: «Не будет ли, дескать, поживы»?

— Только зайдем под ворота.

И тут в полумгле ворот перед нашими очарованными глазами блеснули из бархатной коробочки два великолепных крупных бриллианта...

— Сколько хотите?— истерически заволновался солидный, даже облизнув запекшиеся губы.— Я куплю.

И шепнул мне на ухо:

— Понимаете... Трехкаратники. Чистая вода. Лир по семьсот. Если хотите— уступлю вам.

Мое врожденное благородство не позволило мне воспользоваться таким щедрым предложением.

— О, что вы! Вам первому предложено...

— Ну, хорошо, я триста лир дам за пару! — засуетился солидный...— Только сейчас в контору сбегаю. У меня тут комиссионно-ювелирная контора. Подождите минутку...

Продавец оказался капризным, как избалованная кокетка:

— Ну, вот еще: ждать! Хотите — берите, нет — не надо.

И, замкнувшись в самого себя, побрел вперед.

Мой новый знакомый схватил меня за руку и умоляюще зашептал:

— Не упускайте его из виду! Задержите хоть на пять минут, пока я за деньгами смотаюсь. Двести вам дам за комиссию!.. Идите за ним. Ведь тут на полторы тысячи.

Я догнал продавца и, усмехаясь, сказал:

— А этот субъект здорово разгорелся на ваши бриллианты. Он просит подождать.

— А ну его!.. Не продам я ему,— утрюмо пробормотал таинственный бриллиантщик.

— Почему?

— Не хочу с жидами дело иметь.

— Фи! Стыдитесь! — огорченно заметил я.— При чем тут эта расовая рознь, когда лучшие умы...

— Купите лучше вы. Я вам за сто отдам.

Суетная гордость наполнила мою душу:

— Вот,— подумал я.— Значит, есть же во мне что-то, до того привлекательное, что даже незнакомый человек под влиянием этого гипнотического обаяния готов отдать сокровище за десятую долю стоимости.

— Увы, голубчик,— вздохнул я.— У меня и всего-то есть пятьдесят лир.

— Ну, давайте.

— Красиво ли это будет,— вскричал я в благородном порыве,— если я воспользуюсь вашей неосведомленностью! Знайте же, о продавец, что тот господин оценил ваши бриллианты в полторы тысячи!.. Он говорит: чистая вода.

— А Бог с ними... Куда я их дену!..

О, бедное непрактичное дитя!

Сердце мое дрогнуло жалостью...

— Ну... пойдем со мной в магазин! У меня есть знакомый ювелир!.. Я попрошу, он вам заплатит не менее тысячи!

— Нет, какие там магазины... Не пойду я... Начнутся расспросы: что да как?

— Послушайте,— прошептал я, и моя честная кровь застыла в не менее честных жилах.— Честным ли способом приобретены эти драгоценности?!

— Ну, что вы, господин! За кого вы меня принимаете...

— О, простите, простите,— бросился я к нему, в раскаянии пожимая его руку.— Я, было, усумнился, но ведь это так понятно... И, поверьте, если бы у меня было лир восемьсот...

— Берите за пятьдесят одну штуку!..

— О, нет, нет. Это было бы неблагородно по отношению к вам! Ведь я же вижу, что вы можете получить в десять раз больше... Вот зайдем в этот ювелирный магазин, я устрою...

— В этот? Именно в этот? Зайдем.

Перед намеченным нами магазином стоял человек без шапки, очевидно, приказчик, вышедший подышать свежим воздухом.

— Куда вы? — растопырил он руки.— Магазин на полчаса закрыт. Проверка. Приходите через полчаса. А что вы хотели?

Мой спутник доверчиво раскрыл коробочку.

— Ах, какая прелесть! — вскричал приказчик, совершенно ослепленный.— Каратов по пяти! Постойте, куда ж вы?!

Владелец бриллиантов пошел вперед, а человек с наружностью ювелирного приказчика схватил меня за руку и зашептал:

— Ради Бога, не упускайте! Это пятикаратники! Чистая вода! Купите у него, наш магазин даст вам тысячи полторы! Приходите только через полчаса. Не выпускайте!

Богатство сверкало тут же, можно сказать, перед самым моим носом, ослепляло меня, но... имел ли я моральное право пользоваться наивностью доверчивого простака?

— Ну, что?.. Покупаете, что ли? — обратился ко мне этот чудак. (Он видел, что я колебался.)

— Но... у меня только пятьдесят лир!..

— Берите! Все равно,— беззаботно махнул он рукой.

Дрожа от тайной радости, я засунул руку в карман и вынул пятьдесят лир... О, что мне сейчас эти жалкие гроши, когда через час я буду обладателем сотен...

— Вы мне дайте тот, который побольше,— жадно прошептал я.

— Пожалуйста!

Я протянул руку к бриллианту, и вдруг... кроткий образ моей умершей невесты будто заглянул с неба мне в душу. «Прав ли ты, обманывая своего ближнего»,— прозвучал голос с небес.

— О Мэри,— воскликнул я внутренно.— Простишь ли ты меня? О Мэри, это была только минута слабости!

Взор мой просветлел... Я спрятал деньги обратно в карман и твердо сказал:

— Нет, друг мой, это было бы преступлением в отношении вас! Такая драгоценная вещь за гроши... о, нет!.. Я дам вам рекомендательное письмо к одному моему богатому приятелю, а для него полторы-две тысячи лир по справедливой оценке ювелира... Куда ж вы?!

Он взглянул на меня непередаваемым взглядом и замешался в толпе.

О, Мэри! Только ради тебя оттолкнул протянутую руку, полную роскоши, красоты и богатства.

* * *

Ничего не понимаю.

Вчера один знакомый восторженно рассказывал мне о том, что купил по случаю на Пере «четырехкаратник» за 35 лир...

— Это нечто изумительное! — кричал он.— Это перл природы!

Пошли мы оба сбывать перл природы в ювелирный магазин — хозяин предложил за «перл» 15 пиастров.

Как катастрофически падают цены на бриллианты!

Константинопольские греки

До русской революции я знал греков так же, как знал болгар, мадьяр, итальянцев...

Мадьяры ходили по дворам, продавая мышеловки, итальянцы продавали коралловые ожерелья и брошки из лавы, болгарин специально демонстрировал по улицам дрессированную обезьяну, а грек исключительно торговал губками. Каждая национальность имела свою профессию, и никакой путаницы не было. Если бы вы

каким-нибудь чудом увидели грека с обезьяной, то — одно из двух: или грек был не настоящий, или обезьяна поддельная...

Встречал в России и чехов: их специальность была — преподавание в русских гимназиях латинского и греческого языков...

А грек — торговал губками...

В Константинополе я впервые увидел греков, торгующих и не губками, и это сначала производило болезненное впечатление. Впрочем, если и не губками, то грек все равно торговал. За полтора года я не встретил ни одного грека, который был бы художником, музыкантом, инженером или балетным танцором...

Благодаря новой турецкой политике — все греки теперь покидают Константинополь...[33] Для вас, читатель, это пустяки — одно из тысячи второстепенных политических течений, а для греков это то же, что разрушение Помпеи.

У них были огромные магазины, рестораны, склады — и со всем этим грек должен расстаться...

Может быть, и сейчас на вас это не произведет никакого впечатления. Велика важность: Бог дал, Бог и взял.

Вы не знаете константинопольского грека... Все они, как один, скорей пустили бы себе пулю в лоб, чем расстались с благоприобретенным, но браунинг стоит 18 лир, а они и так на бегстве потеряют две трети состояния.

Не говорите мне, что я жесток,— вы не знаете константинопольского грека...

Когда вся Россия эвакуировалась из Крыма в Константинополь — России помогали все, кроме греков: турки, армяне, французы, англичане и — только один грек сделал, что мог: повысил вдвое цены на сдаваемые русским комнаты...

У всякого народа бывают хорошие, бывают и плохие элементы. У греков нет ни хороших, ни плохих элементов — все, как один, и один, как все. Правда, они даже по-своему любили русских, потому что русский — широкая славянская душа — и его можно обчистить, обмошенничать, как угодно...

Я бы еще понял грека, если бы он, «заработав» на русском,— спустил потом легко нажитые деньги в каком-нибудь русском же ресторане — не таков грек. Содранную с нищего русского лиру он, озираясь, прячет в кошелек,

кошелек в чулок, чулок в шкатулку, шкатулку под паркет, паркет накроет ковром — и тогда сам черт не достанет этих денег...

Греческое искусство. Греческого театра нет. Греческой литературы нет. Музыки нет. Играют только на лире, и то если она турецкая, бумажная...

Греческие журналы страшны по внешности: оберточная бумага замазана красной и синей краской, а приглядишься — рисунок украден из «Ла ви Паризьен» или «Сурир»[34].

Самая популярная греческая песня «Пускай могила меня накажет» — украдена у русской улицы, национальный греческий танец — фокстрот, и танцуют они его только в железобетонных зданиях, потому что неогречанки, потомки Сафо, Фрины, Аспазии и Билитис[35], — имеют ноги, по объему и весу своему, разрушающие обыкновенный паркетный пол.

Наружность грека. Константинопольский грек черен, гречанка толста. У грека лицо летом и зимой покрыто слоем собственного жира, у гречанки весь жир ушел в ноги...

Одевается грек не по сезону, а по календарю: 6 дней в неделю ходит черт знает в чем, а в седьмой (воскресенье), сотворив все дела свои, — надевает дорогой костюм с фирмой скончавшегося 12 лет тому назад портного, надевает великолепное пальто, кашне, лакированные ботинки, калоши (если стоит жаркое лето — это неважно), берет зонтик, берет под руку не менее пышно одетую жену и идет гулять по Пере, толкаясь среди тысячи таких же пышных греков.

Иногда им овладевает припадок безумного разгула; тогда он заходит в кафе и требует: стакан кофе с пирожным (для себя), стакан чудесной кристальной воды (для жены).

Надо отдать ему справедливость — если он не с женой, а с любимой девушкой — он тогда может раскутиться: требует для себя не один стакан кофе, а два, так что звезда его очей получает два стакана кристальной воды, что надолго делает ее гордой своим любимым...

* * *

Вот что такое константинопольский грек и вот почему то, что недавно делалось с греками в Константинополе — это разрушение Помпеи в грандиозном масштабе...

Утопленники

По Пере куда-то спешил человек.

Знакомый остановил его и спросил:

— Куда?

— В тюрьму.

— Навещать кого-нибудь?

— Нет.

Он помолчал и добродушно добавил:

— Может быть, кто-нибудь меня навестит.

И тут же между ними произошел такой краткий диалог, что ему позавидовал бы любой спартанец:

— Долги?

— Огромные.

— Предприятие?

— Идиотское.

— Коммерция?

— Антреприза.

— Прогорели?

— Сажусь.

— Кредиторы подсидели?

— И публика.

Будущий арестант сразу заволновался и вышел из рамок лаконичности.

— Вы знаете, что меня погубило? Султанская вода!

— Да что вы говорите? Такой вкусный освежающий безвредный напиток...

— Я захлебнулся, утонул в нем... Можете представить — что такое Константинополь? Это огромный городище в два или три миллиона жителей... А может быть, пять... Черт его знает. Так из трех миллионов могло в мой сад и театр ходить пятьсот человек?

— Могло.

— Ведь это такой пустяк — одна шеститысячная! Понимаете — из шести тысяч человек пусть только один идиот придет — и мне уже будет хорошо. Поняли? Теперь пойдем дальше: могли эти пятьсот оставить в моем саду в среднем по лире?

— Могли. Отчего же,— утешил его собеседник.— Я бы оставил.

— Спасибо. Теперь уже не надо. Мой расчет был такой: из пятисот человек, если 25 будут пить шампанское,—ведь это одна двадцатая пятисот, а остальные пусть жрут кофе,

пиво и котлеты — и вот я и мои компаньоны уже с прибылью! Уже мы можем заплатить оркестру, артистам и аренду... О-о, проклятый городишко!

— Шампанского меньше выпили?

— Ни бутылки! Первые дни масса столов занята, но всюду — Султанская вода! Моря, океаны Султанской воды... Сидят, слушают огромную программу и дуют эту воду, как верблюды... Выпили 12 бочек, так что в первые три дня я даже мог покрыть этой Султанской водой свои расходы... Но потом эти пятьсот водяных каналий пересмотрели всю программу и потащились в другие сады пить Султанскую воду. На днях прихожу я в свой сад — у столиков стоят до сорока кельнерш, перед сценой гремит оркестр из 15 человек, на сцене мечутся первые персонажи, хор и балет — 42 человека и... кто же всю эту стоголовую армию должен оплатить? Сидят перед сценой 4 грека и, покусывая зубочистки, пьют Султанскую воду... И сделалось мне жутко... Представился мне Константинополь огромной ямой, где сотни тысяч человек попрятались по углам, насвистывают сами себе, вместо программы, «Мон-Омме» и дуют целыми цистернами Султанскую воду. А в пустом саду перед четырьмя эллинскими аристократами мечутся за две бутылки Султанской воды хор, балет, лучшие артисты — все это одетое, загримированное, срепетованное... Хватился я за голову, да и крикнул компаньонам: «Лопнули!» В корабле пробоина и в пробоину вливается Султанская вода... (Он помолчал.) Теперь, слава Богу, хоть посижу в сухом месте. Впрочем, что это я все о себе да о себе...

— Расскажите, что вы поделываете?

— А как же! Я теперь в больших хлопотах. С одним денежным человеком в компании сад и театр открываем. Расчет у нас, изволите видеть, такой.......

Дела

На далеких кофейных плантациях под лучами жгучего беспощадного солнца тысячи полуобнаженных людей работают, добывая миллиарды зерен кофе.

Потом этот кофе грузится на корабли.

Корабли бороздят неизмеримые пространства морей и океанов.

Потом в Константинополе тюки кофе выгружаются.

Потом его мелют.

Потом жарят.

Потом приносят в кафе.

Варят; подают посетителям, которые делают дела только за чашкой кофе.

Потом из этих дел ни черта не выходит.

И прямо-таки больно мне: стоит ли тысячам полуобнаженных людей жариться под раскаленным солнцем, пароходам — плыть, рабочим — выгружать, кому-то молоть, жарить, варить, чтобы в результате ни из одного дела, решенного за чашкой кофе,— ничего не вышло.

* * *

Вот те нижеследующие элементы, из которых слагается каждое константинопольское дело: одному человеку приходит в голову деловая мысль; он сообщает ее посреднику; при этом в кафе пьют кофе; очарованный деловой мыслью посредник мчится к капиталисту; пьют кофе; капиталист тоже приходит в восторг от замечательной деловой идеи. Сходятся, наконец, все трое, дуя кофе изо всех чашек, которые только видны в окрестности. Торжественные клятвы положить все дни своей оставшейся жизни, все соки своего ума — на проведение замечательного дела. Расходятся.

Через три дня:

Капиталист (посреднику):

— Видите ли... Я, к сожалению, не могу внести деньги на это дело, потому что аргентинская шерсть упала по сравнению с бразильским зерном. Понимаете?

Посредник:

— Я вас понимаю. (Он ничего не понимает.) Мне самому, впрочем, сейчас не до этого дела: устраиваю метрополитен под Босфором!

Посредник (встречается с автором идеи):

— А знаете, что наш капиталистишка закинулся?

— Я чувствовал это с самого начала.

— У меня, впрочем, есть другой на примете. Если хотите...

— Нет, спасибо. Я уже без вас нашел кое-что, очень подходящее...

— Да? Ну, и слава Богу. Я бы все равно не мог заняться этим делом. Открываю воздушный ресторан на привязном шаре. Чудная мысль! Вот только бы капиталиста найти.

— Гм! Капиталиста? — призадумывается автор предыдущей идеи. — У меня, кажется, есть для вас кое-что подходящее.

И, о чудо! Прежнее дело безболезненно и легко забыто, инициатор предыдущего дела превратился в посредника настоящего дела, а посредник предыдущего, наоборот, — в инициатора.

Капиталист отыскивается моментально!

И снова: на кофейных плантациях кипит работа, собирают, грузят, везут, выгружают, жарят, мелют, варят — для чего? Только для того, чтобы три деловых человека поговорили, выработали проект договора, поклялись бодро идти нога в ногу по избранному деловому пути до конца своей жизни — и разошлись в разные стороны, не моргнув бровью.

* * *

Никогда не предлагайте константинопольцу верных дел — они не для него.

От дела, могущего принести 50 процентов пользы, он брезгливо отвернется.

Но в воздушный ресторан на привязном шаре он ринется с головой, с руками и ногами; но на оригинальный симфонический оркестр, составленный исключительно из гермафродитов, он убухает все денежки...

Никогда не пытайтесь убедить его минимальными цифрами затрат; Боже вас сохрани прельщать его скромной, дешевой сметой расходов.

Звоните, бухайте, сверкайте, дерите — тогда он, завороженный, как кролик змеиной головой, — сам бросится вам в пасть.

— Помилуйте, наша прачечная, которую я предлагаю вам открыть, будет лучшая в городе! Десять паровых машин по сорок атмосфер, двести восемьдесят прачек, 102 гладильщицы — все красавицы, как на подбор! Конечно, свой мыльный завод и небольшой участочек для посева картофеля — собственный крахмал будем делать. Восемь грузовичков будут развозить белье по

всей периферии города, электрическая станция, тройная испанская бухгалтерия!!.

Дзинь, бум, трах-та-ра-рах!

* * *

Перед своим отъездом в Чехословакию я подвел и погубил целую массу константинопольских деловых людей. Простодушный, но крепкий, как медная ступка, я получил заманчивое предложение от одного капиталиста открыть в Берлине прекрасное предприятие.

Я еще не выпил и дюжины чашек кофе, как работа у меня закипела: я привлек других капиталистов, снял с места служилых людей, организовал, устроил, но... все были мной погублены, кроме первого капиталиста; он по-прежнему безмятежно пьет свой кофе, а они:

1. Отказались от места.
2. Продали свои громоздкие вещи.
3. Перевели свои деньги на германские марки.

Они именно сделали это потому, что я крепкий и устойчивый, как медная ступка. Такой человек не подведет.

Не будь меня, они бы мирно сошлись, мирно поглотили два-три литра кофе и мирно разошлись по своим делам.

Но... нельзя упаковывать медную ступку в один ящик с хрупким богемским хрусталем; своей солидностью я их передавил, стер в порошок: места они потеряли, марки их упали, проданные вещи они прожили — в живых осталась только медная ступка да первый капиталист, который — скажи я ему, какая произошла из-за него суматоха, — только широко открыл бы глаза: вольно им, дуракам, было верить.

— Да ведь, позвольте! Сколько кофе было выпито, клялись идти об руку и, как говорилось в древности, — «на том крест целовали»!

— Что поделаешь — кофейное дело!

* * *

Экие канальи — эти полуголые негры на кофейных плантациях: сколько они хорошего народу подводят!

Заключение

Снова перечитал я свои «Записки Простодушного» и, сидя сейчас за письменным столом, призадумался...

Точно ли я теперь такой «Простодушный», каким был тогда, когда, ясным ликующим взором оглядывая пеструю Галату, высаживался на константинопольский берег в полной уверенности, что ожесточенная борьба хамалов из-за моих вещей — результат радости при встрече восточных поклонников с русским писателем. Точно ли я таков теперь, каким был тогда?..

О, нет. Гляжу я искоса в зеркало, висящее в простенке, — и нет больше простодушия в выражении лица моего...

Как будто появилось что-то себе на уме, что-то хитрое, что-то как будто даже жестокое.

А может быть, эти резкие складки около губ — результат дорого приобретенной мудрости?

Во всяком случае — умер Простодушный...

Доконал Константинополь русского Простодушного.

Целый ряд лет еще промелькнет перед нами... Но все эти годы уже будут обвеяны мудростью, хитростью и, может быть, — жестокостью.

Выковали из нас — благодушных, мягких, ласковых дураков — прочное железное изделие.

....

ЧЕХО-СЛОВАКИЯ

Прага

Недавно я прогуливался в сопровождении своего импресарио по улицам Праги, погруженный в тихое умиление.

— О, прекрасная старуха, милая сердцу каждого художника, — думал я, — сколько веков копила ты свои каменные сокровища и как ты ревниво бережешь их, подобно скупому рыцарю...

— Очень недурной городишко, — прозаично перебил мои грезы импресарио, — этот человек с книжкой театральных билетов вместо сердца и с идеалами, заключающимися в красиво отпечатанной афише.

— По отношению к Праге вы могли бы выражаться почтительнее,— сурово заметил я.

— Я восхищен Прагой. Чего ж вам еще нужно...

Я просветлел.

— А-а, понимаю. Вам нравятся эти живописные серые дремлющие дома, многовековый сон которых...

— При чем тут дома... Я восхищен тем, что здесь нет этой идиотской манеры — заклеивать чужие афиши.

— Черт знает о чем вы говорите! Какие афиши?!

— Обыкновенные, театральные. Я знал города, где только что наклеишь афишу, как другой импресарио уже бежит и наклеивает на вашу афишу свою.

— Глупости вы говорите.

— Нет-с, не глупости. Да вот вам наугад одна из многочисленных историй. Приехали в один город два гастролера и выпустили их импресарио афиши. Вышел один импресарио погулять, полюбоваться на ресклеенные афиши — глядь,— а они уже сплошь заклеены его конкурентом... Побежал он домой, взял новые и пошел заклеивать афиши конкурента собственноручно. Только что кончил, видит, идет конкурент с пачкой афиш под мышкой и с ведром клéю. Ходит и заклеивает только что наклеенные афиши. Побежал первый домой за свежими афишами и — давай восстанавливать свои нарушенные права. Около одного пункта оба сошлись. Стоят молча друг около друга и клеят. Один наклеивает, другой искоса взглянет на него, да на свеженькую афишу свою и прилепит. Полчаса они так клеили одна на другую — прямо слоеный пирог на стене получился!

— Чем же кончилось? — спросил я, не на шутку заинтересованный.

— У первого афиши раньше кончились. Посмотрел он на свои пустые руки, вздохнул, снял пиджак, мазнул по нему кистью и залепил пиждаком афишу конкурента. Обиделся тот за такое нарушение театральной этики да хвать беспиджачного кистью по голове...

— Убил?!.

— Не особенно. Тот два месяца в больнице пролежал, а этот два месяца в тюрьме просидел. Сенсационнейший процесс был, но в результате оба по хорошему сбору сорвали. Знаете, я запишу, чтоб не забыть.

— Что запишете?

— Что в Праге такое хорошее правило — афиши не заклеивать. Приеду в Россию — у себя введу.

— Мне здесь другое нравится,— задумчиво сказал я.— Очень любят здесь старину и сохраняют ее. Есть дома, которые по пятьсот лет стоят и их любовно берегут. А у нас в России на старину смотрят, как на рухлядь. Вернусь в Россию — буду пропагандировать сохранение старины. Запишите, чтобы не забыть.

— Запишу. А потом тут хорошая манера: при пивных заводах есть такие садики — дают только пиво на стол, а сосиски и ветчину посетители с собой в бумажке приносят. У нас в России хозяин пивной за это огромный скандал закатил бы. Да и посетитель считал бы моветоном и верхом мещанства — прийти в ресторан со своими продуктами. А ведь — очень удобно. Запишу в книжку, чтоб не забыть, и потом в России введу.

— А мне вот тоже нравится, что город просыпается с зарей и в шесть часов утра уже работа в полном ходу. Записать, а?..

— Запишите.

— А соколов видели? Какие молодцы! Тренированные, бодрые. Всегда с музыкой и публика их приветствует кликами и аплодисментами. А наша русская молодежь... Я запишу, а?

— Запишите. Кстати, вот трамвай идет. Ну-ка, кто ловчее вскочит на ходу...

Я употребил ловкий, чисто сокольский, прием и, как птица, взлетел на подножку трамвая. Импресарио — за мной.

Но... тут случилось что-то непонятное... кто-то крикнул, кто-то свистнул, трамвай остановился, и молодцеватый полицейский вежливо отнесся ко мне:

— С вас четыре кроны.

— Так я их кондуктору уплачу,— бодро возразил я.

— Нет, мне. Штраф. Нельзя вскакивать на ходу.

— А у нас в России...

— Вот вы в России и скачите.

Дальше мы пошли пешком.

— Записать? — спросил притихший импресарио.

— Насчет чего?..

— А вот насчет скакания. Когда в Россию вернемся, чтоб ввести.

— Гм... запишите, пожалуй, только помельче... А вот на углу русские газеты. Купите. Интересно, как поживает Ленин.

Мы развернули газеты и уткнулись в них носом с таким интересом, будто о болезни родного отца читали.

— Жив еще!

— Жив, но уже, как говорится,— ни папа, ни мама не скажет.

Сзади кто-то деликатно тронул меня за плечо.

Я оглянулся.

— Пожалуйте четыре кроны штрафа,— сказал полицейский.

— За что?!

— На улице читать запрещено.

— Да я и не читал.

— А что ж вы делали?

— Жарко, я хотел лицо утереть газетой. Знаете, при нашем беженском положении, когда нет носовых платков...

— Утираться газетой, на которой свежая краска! Тогда я вас оштрафую за нечистоплотность.

Я разозлился.

— Попробуйте! У меня родной дядя — Массарик.

— Не завидую ему, что он имеет таких родственников.

— Ну и насчет полиции ему тоже не повезло.

— Объяснитесь.

— Послушайте, вы меня лучше не задерживайте. Я спешу на завтрак к Бенешу и, если опоздаю...

— Ничего. Вы ему покажете квитанцию в уплате штрафа...

— Это вот такая квитанция? Могу я прочесть, что вы в ней написали?

— Можете!

Я ехидно улыбнулся:

— Да, как же я могу читать ее, когда вы сами говорите, что на улице читать запрещено.

Крупные капли пота выступили на честном полицейском лбу.

— Тогда пожалуйте за мной в участок — там в закрытом помещении и прочтете.

— Не беспокойтесь. Нате ваши четыре кроны. Кланяйтесь вашему начальнику полиции и скажите, что между нами все кончено...

Мне недавно говорили, что пражская полиция отличается гениальным искусством открывать преступления и находить преступников. Мне говорили, что за все время сущест-

вования полиции только одно преступление осталось не открытым и не наказанным.

Теперь прибавилось еще другое преступление — не открытое и не наказанное: когда мы зашли за угол, я все-таки, озираясь по сторонам, дочитал газету на улице.

Омраченный импресарио спросил меня:

— Это записать? Насчет чтения на улице?

— Не надо,— угрюмо сказал я.— Незачем портить записную книжку.

P.S. Если орган, в котором будет напечатан этот фельетон, опубликует мое второе преступление с газетой и полиция явится ко мне за штрафом — я запишу этот штраф на счет редакции. Записать?

Чехи

Нет на свете человека деликатнее и воспитаннее чеха...

Он ласков. Он заботлив. Он внимателен. Невозмутим. Всегда прекрасное расположение духа. Исключительно любит нас, русских.

Я никогда не видел, чтобы чех в обществе вышел из себя. А для меня нет ничего приятнее, как взвалить на свои плечи самую трудную задачу в мире... Поэтому я решил вывести чеха из себя...

* * *

Трое чехов и я — мы сидели в углу ресторана и дружелюбно попивали пиво.

Я подстерег паузу, обвел компанию хитрыми глазами и неожиданно сказал:

— Мне ваше правительство не нравится.

Будь я на месте чеха — я бы съязвил:

— Зато у вас, у русских, хорошее правительство!

Вместо этого чех кротко возразил:

— Видите ли, у нас правительство еще молодое. В будущем оно сделается старше, опытнее и, вероятно, не будет делать тех ошибок, которые вы имеете в виду.

— И Прага мне ваша не нравится,— сказал я, втайне приготовив руку для защиты на случай удара по голове со стороны соседа.

— А мне кажется — город красивый,— деликатно возразил мой сосед.

— Что толку, что красивый! Трубочист! Если трубочист, покрытый сажей, будет Аполлоном Бельведерским — все равно сквозь слой сажи красоты не видно.

— Прага — старый город.

— И напрасно. Надо бы помоложе. И потом, господа! Как вам не стыдно? Как можно на спящего человека наваливать 5 пудов?!

— Кто на вас навалил 5 пудов?! — испугался мой сосед с другой стороны.

— Помилуйте! А перины, которыми вы накрываетесь?! Внизу перина, сверху перина; получается огромный пирог, в котором тоненькая прослойка фарша, — полураздавленный плоский человек. Мне всегда снится, что на меня обрушился глетчер[36] и засыпал меня миллионом пудов снегу!.. Это не постель, а обвал в горах! Утром горничная долго должна искать маленькое сморщенное задохшееся существо, чтобы с помощью массажа и искусственного дыхания пробудить его к жизни!..

— Зимой под периной теплее, — робко возразил чех. — Впрочем, действительно, с непривычки, может быть, неприятно...

— Неприятно!.. Это даже неэстетично!! Вообразите молодую, хорошо сложенную, женщину под этой горой! Каковы получаются у нее контуры? А? А как у вас подают водку в ресторане? Вы видели хоть одного кельнера, который, несмотря на все ваши мольбы, — подал бы вам водку перед обедом?! Он всегда норовит притащить водку к сладкому!! Это разве порядок?!

— Это, вероятно, потому, что наш национальный напиток — пиво...

Я кричал, жестикулировал, выдумывал самые тяжелые вещи — чехи были неизменно вежливы, кротки и безмятежны. Я головой бился об эту каменную стену деликатности, я охрип и, наконец, не найдя больше других недостатков, ворчливо сказал:

— И потом мне совершенно не нравятся ваши...

Я боюсь даже написать произнесенное мною слово, потому что — едва это слово прозвучало — с моими компаньонами произошла разительная, волшебная перемена... Лица их налились кровью, глаза засверкали негодованием, и мужественные кулаки, как молоты, застучали по безвинному столу:

— Вы у нас в Чехии гость! — загремели голоса. — И поэтому невежливо говорить в Чехии такие вещи! Если вам не нравится — уезжайте к себе в Россию!

Господи! За что они так на меня напали? Ведь я только сказал, что мне не нравится такая простая вещь, как...

Нет... страшно. Лучше я напишу это слово завтра.

Кнедлики

«Кнедлики»!!!!!

Вот то слово, которое привело в возмущение и ярость моих друзей-чехов...

— Позвольте, господа, — оправдывался я. — Ну, что в них хорошего? Что такое — кнедлики?! Это вареный, тяжелый, как свинец, хлеб, который кирпичом ложится в желудке. Ведь если я буду есть кнедлики каждый день — у меня в желудке будет кирпичный дом!

— У вас не в желудке кирпич, — кричал мой сосед по столу, — а в сердце у вас кирпич! Да ели ли вы когда-нибудь настоящие кнедлики?!

А другой чех — самый деликатный — сказал:

— Я и забыл, что мне нужно домой...

— Позвольте! — забеспокоился я. — Вы же говорили, что у вас свободный вечер...

— Да, но я не думал, что он так печально кончится.

— Пойду и я, — встал другой.

— И я!!

Я остался в грустном одиночестве...

— Ничего не поделаешь — придется обедать одному. Кельнер, дайте обед!

На первое мне дали суп с кнедликом; на второе «вепшово печенье» с кнедликом; на десерт — кнедлик с яблоком внутри. Смотрел я на эти три невинных штучки, лежащих передо мною нетронутыми, и думал:

— Неужели такой пустяк может повести к международным осложениям и к разрыву дипломатических сношений?..

* * *

Забыл сказать: потребованную мною к предобеденной закуске водку — кельнер подал вместе с кофе...

Побрел я грустно домой, разделся и подполз под перину... Может быть, здесь — людская ненависть не отыщет меня!

Как добыть себе в Праге комнату

Все живущие в Праге хорошо знают, как трудно добыть в этом прекрасном городе даже не-прекрасную комнату...

Бесквартирные квартиранты бьются и разбиваются о занятые уже квартиры, как слабая волна о несокрушимый каменный утес.

Любя своих читателей по-христиански,— я хочу дать им очень полезный совет:

«Как добыть себе комнату»!

* * *

Наметив себе владельца уютной комнатки, очень ревнивого и имеющего хорошенькую жену, вы садитесь за стол и пишете жене и мужу два совершенно различных письма...

Первое:

«Мадам! Ваш муж вам изменяет. Если хотите убедиться — идите завтра в 8 часов вечера в гостиницу «Гранд-Отель» и постучите в 42 номер. Ничего не подозревая, он откроет вам, вы ворветесь и застанете его с вашей соперницей. Письмо это сожгите. Захватите на всякий случай револьвер... Ваш доброжелатель».

И второе:

«Послушайте вы, рогатый муж! Ваша жена вам изменяет. Если хотите убедиться, идите завтра в 8 часов вечера в «Гранд-Отель». Там, в 42 номере живет тот, который надсмеялся над вашим семейным очагом. P. S. Захватите револьвер. Письмо сожгите. Ваш доброжел.».

Можете для верности написать и третье письмо — кроткому, ничего не подозревающему жильцу № 42 «Гранд-Отеля»:

— «М. Г.[37] Я знаю, вы живете в «Гранд-Отеле», № 42. Завтра в 8 час. вечера на ваш номер будет сделано преступное нападение с целью грабежа. Когда к вам ворвутся — стреляйте! Ваш доброжелатель».

Послав все три письма, ждите кротко результатов...

Что-нибудь, да выйдет: или муж ухлопает жену, или жена мужа, или муж — безвинного жильца № 42, или жилец — мужа...

Одним словом, будет кровавая неразбериха, которая вам на руку... В том или другом случае — кто-нибудь попадет в тюрьму, кто-нибудь на кладбище...

Тут-то вы не зевайте. Занимайте освободившуюся комнату, пока из-под носу не выхватили.

Не смущайтесь, если призраки загубленного вами мужа или жены будут являться вам.

Днем они не являются, а ночью — пусть себе ходят.

Походят, походят, да и отстанут.

Мой ученик

Результаты моего вчерашнего совета «Как найти себе в Праге комнату» сказались очень быстро. Даже — молниеносно!

Он вошел ко мне, не постучавшись, и первыми его словами были:

— Чтоб они провалились, ваши адовы, анафемские фельетоны!!!

— Сами вы провалитесь, — застенчиво сказал я

— Чтоб она лопнула, газетенка ваша несчастная!! Будь они прокляты, все номера «Прагер Прессе»[38], от первого до последнсго!!

Я одобрительно потрепал его по плечу венским стулом, но он угрюмо уклонился от этой ласки и, стукнув кулаком по столу, сказал:

— Ищите мне комнату!

— Камера в городской тюрьме вам подойдет? — заботливо осведомился я.

— Скажите, вы зачем учите читателей разным гадостям?

— Ничего подобного! Я сею разумное, доброе, вечное.

— Пусть его вместе с вами в могилу положат, это вечное! Не откажетесь же вы от того, что напечатали вчера совет: «Как получить себе в Праге комнату»...

— Надеюсь, вы ее получили?

— Получил?.. (он горько засмеялся). Так слушайте ж!

* * *

Я приехал в Прагу 3 недели тому назад. Конечно, о комнате или о номере в гостинице нечего было и думать!

Ну... устроился я пока у одного знакомого гостеприимного чеха-мануфактурщика под прилавком. Снаружи стенка прилавка была не до полу, и поэтому я, отдыхая после обеда, мог свободно изучать обувь всех покупателей...

Лежу я однажды днем, читаю книжку. Вошел один покупатель, купил что-то, а когда расплачивался — уронил бумажник. Нагнулся, глянул под прилавок — и узнали мы друг друга. Мой старый приятель!

— Что ты тут делаешь? — изумленно спросил он.

— Читаю при свечке Альфонса Доде.

— Под прилавком?!!

— Ну да. На прилавке — это было бы неудобно и для хозяина, и для покупателей. Одним словом: у меня нет комнаты!..

Он вытащил меня из-под прилавка, обнял, расцеловал, очистил от пыли и сказал:

— Я никогда не допущу, чтобы мои друзья валялись, как гнилая бумазея, под прилавками. Иди жить ко мне! У меня всего одна комната, но мы как-нибудь поместимся.

Представьте себе, что эта его комната мне очень понравилась: уютная, светлая... Но в ней был огромный недостаток: мой приятель. Одному мне она приходилась бы как раз по душе, а он был лишний.

Приятель угостил меня, напоил винцом и рассказал о себе. Рассказал, что он влюблен, что его избранница замужем, что они встречаются у нее, когда муж уходит на дежурство,— одним словом, выложил всю подноготную...

И как раз на другой день — только что я утром продираю глаза, натыкаюсь на ваш фельетон в газете — «Совет, как найти себе в Праге комнату».

Прочитал я — обрадовался — прекрасный верный способ, тем более, что и комната была у меня на примете: та самая, где я жил.

И вот, когда приятель ушел на свидание к своей милой, я сел и тут же настряпал письмо ее мужу — по вашему же рецепту: «Ну, и фрукт же вы, господин рогоносец! Ха-ха. Пока вы дежурите на службе — у вашей жены дежурит возлюбленный! Бегите скорей домой, захватите револьвер и застрелите его, нечего там стесняться. Она же не виновата, это он ее соблазнил, я знаю! Ваш доброжелатель».

Написав, занес это письмецо мужу на дежурство, вернулся домой и стал ждать.

И вдруг раскрывается дверь...

Я вскочил и, с бешенством тряся его за плечи, вскричал:

— Раскрывается дверь?!! Так? Говори, каналья,— так?.. И вносят бездыханный труп вашего друга?!!

— Будьте вы прокляты с вашими «советами»!! Ничего подобного! Раскрывается дверь и входит мой приятель живой и здоровый — под руку с какой-то дамой...

— Прости, говорит, Володя (это я Володя),— я, говорит, знаю, что поступаю не по-товарищески, но, понимаешь, какое вышло дело: кто-то донес мужу, он нас застал и, узнав обо всем, дал ей полную свободу! Теперь она будет жить у меня, а ты... Ты сам понимаешь, втроем жить неудобно... Так что — иди опять под прилавок.

— Ну-с?!

Он замолчал, злобно поглядывая на меня.

— Чего ж вы от меня хотите?

— Я вас спрашиваю: куда вы меня денете, раз вы во всем виноваты?

— Куда я вас дену?

Я дружески взял его сзади за воротник, любовно повернул, приветливо распахнул дверь, заботливо сбросил его с лестницы, и пока он катился, мелодично спускаясь головой о ступеньки, я задумчиво шептал:

— Однако, какая страшная могучая сила — печать — в умелых руках!

Самый страшный притон Праги

Я спросил одного приятеля-чеха — большого знатока пражской жизни:

— Скажите, а есть у вас в Праге какие-нибудь притоны?..

— Что вы называете «притоном»? — осторожно осведомился он.

— Ну, понимаете... Какой-нибудь страшный зловещий притон, где собираются воры, убийцы, грабители и их дамы — падшие женщины, обольщающие посетителя и подводящие его под нож своего друга... Есть такие места в Праге?

— Да вам зачем, Господи Иисусе?!

— Люблю сильные ощущения... Я шатался в Париже, в Риме, Константинополе по таким трущобам, где рука всегда должна быть в кармане, а палец на курке браунинга.

— Да... Есть такие места и в Праге,— с некоторой даже гордостью промолвил чех.— Я знаю один такой притон, что — когда я туда попал — у меня кровь заледенела в жилах...

— Ради Бога, адрес!..

— Ну, что вам за охота рисковать?!

— Ах, вы не понимаете, какая прелесть в риске! Как туда попасть?

— Гм! Ей-Богу, не советую. А впрочем, как хотите! Вот вам адрес...

* * *

С замирающим сердцем брел я по узкой темной улице, еле освещенной редкими фонарями... Грязный двухэтажный дом... В завешенных окнах видны какие-то странные силуэты... До меня донеслись звуки резкой странной музыки и чей-то хриплый смех...

Поколебавшись несколько секунд, я толкнул дверь и вошел.

Душный дымный спертый воздух, и в этом тумане кружатся в причудливом «шимми» две зловещих подозрительных пары.

При моем входе обе пары приостановились и сказали:

— Мфутета!

— Поклона!

Я в первый раз в жизни видел таких приветливых убийц, таких простодушных грабительских дам.

— Эге,— подумал я,— усыпляют мою подозрительность! А потом опоят чем-нибудь и зарежут. Ну, что ж — поборемся.

Я уселся за большой стол рядом с сосущим трубку старичком самого зловещего, подозрительного вида — и постучал:

— Дайте мне ликеру!

Зловещий старикашка, видя, что ко мне никто не подходит,— засуетился:

— Пан верхник! Этот господин желает ликеру. Что ж вы его заставляете ждать?!

— Э,— подумал я,— мягко стелешь, да жестко спать будет.

И вызывающе добавил:

— Только у меня с собой тысячекроновая бумажка! Можете потом разменять?

Дьявольская выдержка у этих чешских убийц и грабителей! Парижские или константинопольские при виде такой депозитки сразу бы перерезали горло ее обладателю, а эти — даже глазом не моргнули.

— Не беспокойтесь, пан. Как-нибудь разменяем.

— Вы русский? — хитро спросил меня ужасный старик, хрипя своей огромной кривой трубкой...

— Да-с, русский! Может быть, это вам не нравится?!

— Нет, я люблю русских. Только я удивляюсь, как это русские могут носить при себе такие большие деньги! Ведь потерять можно.

— Да,— ехидно усмехнулся я.— Или какой-нибудь молодец полоснет ножом по горлу и отнимет.

Очевидно, я разгадал страшного старика, потому что он испуганно от меня отодвинулся.

Подошла подруга одного из убийц и, сев рядом, спросила старичка:

— Нет ли у вас папиросы?

— Извольте! — засуетился я с самым залихватским видом.— Может быть, и вина хотите? Ликеру?

Тут же решил поддразнить ее апаша и, если можно,— вывести его из себя.

— Можно вас поцеловать в щечку?

— Если это вам доставит удовольствие — пожалуйста,— засмеялась она. («Боже, какое несчастное создание... Ну, что она знает, что она читала? Бедный кусок дикого мяса!..»)

— Вы русский? — спросила она, прихлебывая ликер.

— Да, милашка, русский! И есть деньжата — ха-ха-ха!

— Я читала русских писателей. Вы знаете Чирикова?[39]

— Неужели читали Чирикова?

— Я его много читала. И Куприна читала, и Аверченко...

«А, чтоб ты лопнула»,— подумал я.

Мне сделалось душно.

— Кельнер! Счет. Я ухожу.

Один из убийц принес счет. Другой — взламыватель касс — стал менять мою тысячу крон.

«Сейчас будут резать».

Дьявольская выдержка — никто даже не пошевелился.

«Крон на двести обсчитает»,— явилось у меня слабое утешение.

С легкой досадой в душе я встал, причем молодой подкалыватель вежливо поднял мою упавшую шляпу.

— Мфутета,— сказал ростовщический старик.

— Поклона! Служебник! Доброй ночи,— попрощались со мной из угла двое (наверное, конокрады!).

* * *

Я вышел на темную глухую улицу. Прошел квартал. Вдруг — услышал сзади себя топот чьих-то догоняющих меня ног. Оглянулся: так и есть! Молодой убийца, подругу которого я неосторожно поцеловал, догонял меня.

«Гм... Вот оно! Начинается!»

Я прижался к стене и приготовился к защите.

— Извините, милостивый пан,— сказало это отребье человечества, запыхавшись.— Вы, когда получали сдачу,— уронили около стула пятидесятикроновую бумажку... Вот — извольте!

Схватившись за голову, я отшвырнул деньги, глухо застонал и побежал прочь от недоумевающего «отребья человечества».

* * *

Вот что такое — «самый страшный притон Праги»!

Для такого большого благоустроенного города — это даже неприлично.

* * *

Родители! Если в кинематографе идет какая-нибудь очень пикантная фильма — можете послать ваших детей-подростков в этот притон.

Там — приличнее.

Русский беженец в Праге

Всякому, даже не учившемуся в семинарии, известно, что если человека, долго голодавшего или томившегося жаждой,— сразу накормить до отвала или напоить до от-

каза — плохо кончит такой человек: выпучит глаза и, схватившись исхудалыми руками за раздутый живот, тихо отойдет в тот мир, где нет ни голодных, ни сытых.

История, случившаяся с гражданином советской республики Андрюшей Перескокиным, вполне удовлетворительно иллюстрирует это вышеприведенное бесспорное положение.

Всякому, даже не учившемуся в семинарии, известно, что долго голодавшего или жаждавшего человека надлежит откармливать или отпаивать постепенно: кусочек хлебца или мяса, глоточек воды, через час опять кусочек хлебца, глоточек воды. И эти порции усиливать только постепенно и с крайней осторожностью.

Будь моя власть, я бы на всех границах, через которые переваливают беглые советские граждане, стремясь в Белград, в Прагу и прочие места,— я бы на всех таких границах понастроил этакие предбанники, нечто вроде карантина, где беглецы подготовлялись бы к предстоящей сытой, безопасной жизни — постепенно, исподволь.

Скажем так: голодный, жаждущий, носящий на своем бренном теле шрамы от красноармейских штыков, советский федеративный бедняга с разбегу перелетел границу и ввалился прямо в мои объятия.

Такого беднягу надлежит, прежде всего, схватить за шиворот и дать два-три тумака, чтобы переход от советской жизни к обыкновенной был не так резок.

Для этой же цели надлежит потом стащить беглеца в особую казарму и там дать ему кусок белого, но черствого хлеба, сдобрив его стаканом черного, но слегка прокисшего пива.

Ешь, собака! Пей, каналья!

Ночью рекомендуется разбудить спящего скитальца, произвести у него легкий пятиминутный обыск и ткнуть слегка штыком или прикладом в бок.

На следующий день федеративный беглец перевозится уже в более удобное помещение. Хлеб ему дается менее черствый, пиво прокисшее чуть-чуть, а вместо тычка штыком — пара снисходительных оплеух.

Когда вы заметите, что у беглеца уже появилась краска в лице и взор сделался более спокойным, а манеры самостоятельнее, рискните к мягкому белому хлебу прибавить немного жареного мяса, копченую кефаль и кусочек вареного поросенка. К этому: стаканчик казенной

водки и полбутылки вкусного, свежего, пражского пива. Вместо побоев — легкий щипок или щелчок по голове, нечто среднее между болевым ощущением и игривой лаской.

На следующий день накормите беглеца супом, судаком, гусем и пирожными и, потрепав по плечу, можете уже выпустить его на свободу: вы приготовили его достаточным образом к восприятию прелестей спокойной, нормальной, сытой жизни.

Вот как нужно было делать.

А у нас в Константинополе, Белграде, Праге — это дело поставлено чрезвычайно плохо... (Я говорю «у нас», потому что я теперь чувствую себя всюду у себя — Прага ли, Лондон или Мельбурн — это все мои летние виллы, в которых я спасаюсь от советской духоты)... Так вот, я и говорю — у нас дело поставлено из рук вон плохо: перескочил человек границу, почувствовал приволье и свободу, съел 10 фунтов белого хлеба, уписал поросенка и...

Впрочем, тут вполне уместно вернуться к описанию трагической истории, случившейся с Андрюшей Перескокиным...

* * *

— Андрюша, голубчик! Ты! Не чаял и видеть тебя в живых! Давно из Совдепии?

— Только сегодня, родной. Пешком в Прагу добрел, не успел еще очухаться... Фу-фу!..

— Что это у тебя в руках за свертки?

— Поросенок и бечевка для упаковки — 20 фунтов...

— Зачем это тебе?

— Замечательно дешево. Купил на всякий случай. У нас ведь в Москве бечевок совсем нет. А о поросятах даже забыли, какой он и есть. А тут за 80 крон...

— Да зачем тебе сырой? Ты бы лучше жареного купил.

— Чудак, да разве сейчас можно разбирать. Увидел: несет баба поросенка, и купил. А то еще перехватят. Угля купил два пуда. В гостинице оставил.

— А уголь тебе зачем?

— Вот оригинал! Да ведь совсем даром! А поищи-ка у нас в Москве! Эй, мальчик, что несешь? Газеты. Это не советские? Ну, дай тогда десять штук. Что одинаковые? Это, брат, неважно, зато правду всю узнаю. Все десять

и прочту. Голубчик! обойдем, пожалуйста, этот перекресток — тут нечто вроде милиционера стоит.

— Да тебе его чего ж бояться?

— А вдруг прикладом по спине треснет.

— С ума ты сошел? За что? У нас тут полиция вежливая.

— Толкуй! Эй, баба, постой! Что это, хлеб? Белый? Сколько хочешь за всю корзину? Тридцать крон. О, Боже! Почти пуд... Давай, м....., давай, драгоценная.

— Послушай... Ты этого хлеба в неделю не съешь.

Но он не слушал меня. Глаза его помутнели, а руки судорожно уцепились за корзинку.

Я махнул рукой и отошел от него.

— Эй, куда ты! Стой! Можно будет у тебя сегодня переночевать?

— Да ведь ты говорил, что имеешь номер в гостинице.

— А вдруг ночью обыск? А я как назло нынче в разговоре с извозчиком осуждал советский федеративный строй... Кстати... автомобили здесь дешевы! Что ты говоришь?! Тридцать крон?! А у нас 7 миллионов за конец! Вези... Вези меня, милый!..

— Куда прикажете?

— Куда-нибудь... Главное — совсем почти даром! Хе-хе. Вези на базар: куплю сосисок — толстенькие такие у вас тут в Праге есть — куплю про запас килограммов восемь!..

И вот вчера с Перескокиным Андрюшей случилось то, чего я боялся больше всего...

Я увидел его едущим по одной из окраинных улиц Праги на возу с сеном (купил Андрюша сено очень дешево, совсем даром); в одной руке Андрюша держал жареного гуся (ошеломляющая дешевизна — сто крон!), в другой руке бутылку водки (а у нас в Совдепии за водку — расстрел!). Сидя на возу с сеном, Андрюша лихорадочно пожирал гуся, запивал — водкой прямо из горлышка, а в промежутках между жевательным и глотательным процессом на всю улицу горланил «Боже, царя храни!». Увидел меня, загадочно подмигнул — и его леденящий душу хохот огласил улицу.

— Видал-миндал?! Дорвался я теперь... Гуляй душа! В гостиницу с сеном не пускают, так я теперь тово... Крейсирую! Си-иль-ный, державный ца-арствуй на славу...

— Доктора! — крикнул чей-то озабоченный голос. — Готов паренек! Скапустился.

Сняли Андрюшу с сена... Повели...

И сидит он теперь в компании Наполеона Бонапарта, стеклянного человека и человека-петуха, хлопающего над самой Андрюшиной головой ладонями и оглушительно кукарекающего...

Андрюша уже приторговался к нему... Ведь в Совдепии петухов давно не видели...

* * *

А выдержи Андрюшу в проектированном мною подготовительном карантине—-ничего бы этого и не было...

Нет того, чтобы позаботиться о приезжающих.

ДЮЖИНА НОЖЕЙ
В СПИНУ РЕВОЛЮЦИИ

Предисловие

Может быть, прочтя заглавие этой книги, какой-нибудь сердобольный читатель, не разобрав дела, сразу и раскудахчется, как курица:

— Ах, ах! Какой бессердечный, жестоковыйный молодой человек — этот Аркадий Аверченко!! Взял да и воткнул в спину революции ножик, да и не один, а целых двенадцать!

Поступок — что и говорить — жестокий, но давайте любовно и вдумчиво разберемся в нем.

Прежде всего, спросим себя, положив руку на сердце:

— Да есть ли у нас сейчас революция?..

Разве та гниль, глупость, дрянь, копоть и мрак, что происходит сейчас,— разве это революция?

Революция — сверкающая прекрасная молния, революция — божественно красивое лицо, озаренное гневом Рока, революция — ослепительно яркая ракета, взлетевшая радугой среди сырого мрака!..

Похоже на эти сверкающие образы то, что сейчас происходит?..

Скажу в защиту революции более того — рождение революции прекрасно, как появление на свет ребенка, его первая бессмысленная улыбка, его первые невнятные слова, трогательно умилительные, когда они произносятся с трудом лепечущим, неуверенным в себе розовым язычком...

Но когда ребенку уже четвертый год, а он торчит в той же колыбельке, когда он четвертый год сосет свою всунутую с самого начала в рот ножку, превратившуюся уже в лапу довольно порядочного размера, когда он четвертый год лепечет те же невнятные, невразумительные слова, вроде: «совнархоз», «уеземельком», «совбур» и «реввоенком» — так это уже не умилительный, ласкающий глаз младенец, а, простите меня, довольно порядочный детина, впавший в тихий идиотизм.

Очень часто, впрочем, этот тихий идиотизм переходит в буйный, и тогда с детиной никакого сладу нет!

Не смешно, а трогательно, когда крохотный младенчик протягивает к огню розовые пальчики, похожие на бутылочки, и лепечет непослушным языком:

— Жижа, жижа!.. Дядя, дай жижу...

Но когда в темном переулке встречается лохматый парень с лицом убийцы и, протягивая корявую лапу, бормочет: «А ну, дай, дядя, жижи, прикурить цигарки или скидывай пальто»,— простите меня, но умиляться при виде этого младенца я не могу!

Не будем обманывать и себя и других; революция уже кончилась, и кончилась она давно!

Начало ее — светлое, очищающее пламя, средина — зловонный дым и копоть, конец — холодные обгорелые головешки.

Разве мы сейчас не бродим среди давно потухших головешек — без крова и пищи, с глухой досадой и пустотой в душе.

Нужна была России революция?

Конечно, нужна.

Что такое революция? Это — переворот и избавление.

Но когда избавитель перевернуть — перевернул, избавить — избавил, а потом и сам так плотно уселся на ваш загорбок, что снова и еще хуже задыхаетесь вы в предсмертной тоске и судороге голода и собачьего существования, когда и конца-краю не видно этому сиденью на вашем загорбке, то тогда черт с ним и с избавителем этим! Я сам, да, думаю, и вы тоже, если вы не дураки,— готовы ему не только дюжину, а даже целый гросс[1] «ножей в спину».

Правда, сейчас еще есть много людей, которые, подобно плохо выученным попугаям, бормочут только одну фразу:

— Товарищи, защищайте революцию!

Позвольте, да вы ведь сами раньше говорили, что революция — это молния, это гром стихийного Божьего гнева... Как же можно защищать молнию?

Представьте себе человека, который стоял бы посреди омраченного громовыми тучами поля и, растопырив руки, вопил бы:

— Товарищи! Защищайте молнию! Не допускайте, чтобы молния погасла от рук буржуев и контрреволюционеров!!

Вот что говорит мой собрат по перу, знаменитый русский поэт и гражданин К. Бальмонт, мужественно

боровшийся в прежнее время, как и я, против уродливостей минувшего царизма.

Вот его буквальные слова о сущности революции и защите ее:

«Революция хороша, когда она сбрасывает гнев. Но не революциями, а эволюцией жив мир. Стройность, порядок — вот что нужно нам, как дыхание, как пища. Внутренняя и внешняя дисциплина и сознание, что единственное понятие, которое сейчас нужно защищать всеми силами, это понятие Родины, которая выше всяких личностей и классов и всяких отдельных задач,— понятие настолько высокое и всеобъемлющее, что в нем тонет все, и нет разнствующих в нем, а только сочувствующие и слитно работающие — купец и крестьянин, рабочий и поэт, солдат и генерал».

«Когда революция переходит в сатанинский вихрь разрушения — тогда правда становится безгласной или превращается в ложь. Толпами овладевает стихийное безумие, подражательное сумасшествие, все слова утрачивают свое содержание и свою убедительность. Если такая беда овладевает народом, он неизбежно возвращается к притче о бесах, вошедших в стадо свиней» [2]...

«Революция есть гроза. Гроза кончается быстро и освежает воздух, и ярче тогда жизнь, красивее цветут цветы. *Но жизни нет там, где грозы происходят беспрерывно*. А кто умышленно хочет длить грозу, тот явный враг строительства и благой жизни. И выражение «защищать революцию», должен сказать, мне кажется бессмысленным и жалким. Настоящая гроза не нуждается в защите и подпорках. Уж какая же это гроза, если ее, как старушку, нужно закутывать в ватное одеяло».

Вот как говорит К. Бальмонт... И в одном только он ошибается — сравнивая нашу «выросшую из пеленок» революцию с беспомощной старушкой, которую нужно кутать в ватное одеяло.

Не старушка это,— хорошо бы, коли старушка,— а полупьяный детина с большой дороги, и не вы его будете кутать, а он сам себя закутает вашим же, стащенным с ваших плеч, пальто.

Да еще и ножиком ткнет в бок.

Так такого-то грабителя и разорителя беречь? Защищать?

Да ему не дюжину ножей в спину, а сотню в дикобраза его превратить, чтобы этот пьяный, ленивый сутенер,

вцепившийся в наш загорбок, не мешал нам строить Новую Великую Свободную Россию!

Правильно я говорю, друзья-читатели? А?

И если каждый из вас не бестолковый дурак или не мошенник, которому выгодна вся эта разруха, вся эта «защита революции»,—то всяк из вас отдельно и все вместе должны мне грянуть в ответ:

— Правильно!!!

Аркадий Аверченко

Фокус великого кино

Отдохнем от жизни.

Помечтаем. Хотите?

Садитесь, пожалуйста, в это мягкое кожаное кресло, в котором тонешь чуть не с головой. Я подброшу в камин угля, а вы закурите эту сигару. Недурной «Боливар», не правда ли? Я люблю, когда в полумраке кабинета, как тигровый глаз, светится огонек сигары. Ну, наполним еще раз наши рюмки темно-золотистым хересом — на бутылочке-то пыли сколько наросло — вековая пыль, благородная,— а теперь слушайте...

* * *

Однажды в кинематографе я видел удивительную картину:

Море. Берег. Высокая этакая отвесная скала, саженей в десять. Вдруг у скалы закипела вода, вынырнула человеческая голова, и вот человек, как гигантский, оттолкнувшийся от земли мяч, взлетел на десять саженей кверху, стал на площадку скалы — совершенно сухой и сотворил крестное знамение так: сначала пальцы его коснулись левого плеча, потом правого, потом груди и, наконец, лба.

Он быстро оделся и пошел прочь от моря, задом наперед, пятясь, как рак. Взмахнул рукой, и окурок папиросы, валявшийся на дороге, подскочил и влез ему в пальцы. Человек стал курить, втягивая в себя дым, рождающийся в воздухе. По мере курения, папироса делалась все больше и больше и, наконец, стала совсем свежей, только что закуренной. Человек приложил к ней спичку, вскочившую ему в руку с земли, вынул коробку

спичек, чиркнул загоревшуюся спичку о коробку, отчего спичка погасла, вложил спичку в коробку; папиросу, торчающую во рту, сунул обратно в портсигар, нагнулся — и плевок с земли вскочил ему прямо в рот. И пошел он дальше также задом наперед, пятясь, как рак. Дома сел перед пустой тарелкой и стаканом, вылил изо рта в стакан несколько глотков красного вина и принялся вилкой таскать изо рта куски цыпленка, кладя их обратно на тарелку, где они под ножом срастались в одно целое. Когда цыпленок вышел целиком из его горла, подошел лакей и, взяв тарелку, понес этого цыпленка на кухню — жарить... Повар положил его на сковородку, потом снял сырого, утыкал перьями, поводил ножом по его горлу, отчего цыпленок ожил и потом весело побежал по двору.

* * *

Не правда ли, вам понятно, в чем тут дело: это обыкновенная фильма, изображающая обыкновенные человеческие поступки, но пущенные в обратную сторону.

Ах, если бы наша жизнь была похожа на послушную кинематографическую ленту!..

Повернул ручку назад — и пошло-поехало...

Передо мной — бумага, покрытая ровными строками этого фельетона. Вдруг — перо пошло в обратную сторону — будто соскабливая написанное, и когда передо мной — чистая бумага, я беру шляпу, палку и, пятясь, выхожу на улицу...

Шуршит лента, разматываясь в обратную сторону.

Вот сентябрь позапрошлого года. Я сажусь в вагон, поезд дает задний ход и мчится в Петербург.

В Петербурге чудеса: с Невского уходят, забирая свои товары — селедочницы, огуречницы, яблочницы и невоюющие солдаты, торгующие папиросами... Большевистские декреты, как шелуха, облетают со стен, и снова стены домов чисты и нарядны. Вот во весь опор примчался на автомобиле задним ходом Александр Федорович Керенский. Вернулся?!

Крути, Митька, живей!

Въехал он в Зимний дворец, а там, глядишь, все новое и новое мелькание ленты: Ленин и Троцкий с компанией вышли, пятясь, из особняка Кшесинской, поехали задом наперед на вокзал, сели в распломбированный вагон, тут

же его запломбировали и — укатила вся компания задним ходом в Германию.

А вот совсем приятное зрелище: Керенский задом наперед вылетает из Зимнего дворца — давно пора,— вскакивает на стол и напыщенно говорит рабочим: «Товарищи! Если я вас покину — вы можете убить меня своими руками! До самой смерти я с вами».

Соврал, каналья. Как иногда полезно пустить ленту в обратную сторону!

Быстро промелькнула февральская революция. Забавно видеть, как пулеметные пули вылетали из тел лежащих людей, как влетали они обратно в дуло пулеметов, как вскакивали мертвые и бежали задом наперед, размахивая руками.

Крути, Митька, крути!

Вылетел из царского дворца Распутин и покатил к себе в Тюмень[3]. Лента-то ведь обратная.

Жизнь все дешевле и дешевле... На рынках масса хлеба, мяса и всякого съестного дрязгу.

А вот и ужасная война тает, как кусок снега на раскаленной плите; мертвые встают из земли и мирно уносятся на носилках обратно в свои части. Мобилизация быстро превращается в демобилизацию, и вот уже Вильгельм Гогенцоллерн[4] стоит на балконе перед своим народом, но его ужасные слова, слова паука-кровопийцы об объявлении войны, не вылетают из уст, а, наоборот, глотает он их, ловя губами в воздухе. Ах, чтоб ты ими подавился!..

Митька, крути, крути, голубчик!

Быстро мелькают поочередно четвертая дума, третья, вторая, первая, и вот уже на экране четко вырисовываются жуткие подробности октябрьских погромов.

Но, однако, тут это не страшно. Громилы выдергивают свои ножи из груди убитых, те шевелятся, встают и убегают, летающий в воздухе пух аккуратно сам слетается в еврейские перины, и все принимает прежний вид.

А что это за ликующая толпа, что за тысячи шапок, летящих кверху, что это за счастливые лица, по которым текут слезы умиления?!

Почему незнакомые люди целуются, черт возьми!

Ах, это Манифест 17 октября[5], данный Николаем II свободной России...

Да ведь это, кажется, был самый счастливый момент во всей нашей жизни!

Митька! замри!! Останови, черт, ленту, не крути дальше! Руки поломаю!..

Пусть замрет. Пусть застынет.

— Газетчик! Сколько за газету? Пятачок?

— Извозчик! Полтинник: на Конюшенную, к «Медведю». Пошел живей, гривенник прибавлю. Здравствуйте! Дайте обед, рюмку коньяку и бутылку шампанского. Ну, как не выпить на радостях...

С Манифестом вас! Сколько с меня за все? Четырнадцать с полтиной? А почему это у вас шампанское десять целковых за бутылку, когда в «Вене» — восемь? Разве можно так бессовестно грабить публику?

Митька, не крути дальше! Замри. Хотя бы потому остановись, что мы себя видим на пятнадцать лет моложе, почти юношами. Ах, сколько было надежд, и как мы любили, и как нас любили ....
....

Отчего же вы не пьете ваш херес! Камин погас, и я не вижу в серой мгле — почему так странно трясутся ваши плечи: смеетесь вы или плачете?

Поэма о голодном человеке

Сейчас в первый раз я горько пожалел, почему мама в свое время не отдала меня в композиторы.

То, о чем я хочу сейчас написать, ужасно трудно выразить в словах... Так и подмывает сесть за рояль, с треском опустить руки на клавиши — и все, все как есть, перелить в причудливую вереницу звуков, грозных, тоскующих, жалобных, тихо-стонущих и бурно-проклинающих.

Но немы и бессильны мои негибкие пальцы, но долго еще будет молчать хладнокровный, неразбуженный рояль, и закрыт для меня пышный вход в красочный мир звуков...

И приходится писать мне элегии и ноктюрны привычной рукой — не на пяти, а на одной линейке,— быстро и привычно вытягивая строку за строкой, перелистывая страницу за страницей. О, богатые возможности, дивные достижения таятся в слове, но не тогда, когда душа морщится от реального прозаического трезвого слова,— когда душа требует звука, бурного, бешеного движения обезумевшей руки по клавишам...

Вот моя симфония — слабая, бледная в слове...

* * *

Когда тусклые серо-розовые сумерки спустятся над слабым, голодным, устало смежившим свои померкшие, свои сверкающие прежде очи — Петербургом, когда одичавшее население расползается по утрюмым берлогам коротать еще одну из тысячи и одной голодной ночи, когда все стихнет, кроме комиссарских автомобилей, бодро шныряющих, проворно, как острое шило, вонзающихся в темные безглазые русла улиц,— тогда в одной из квартир Литейного проспекта собираются несколько серых бесшумных фигур и, пожав друг другу дрожащие руки, усаживаются вокруг стола пустого, освещенного гнусным воровским светом сального огарка.

Некоторое время молчат, задыхающиеся, усталые от целого ряда гигантских усилий: надо было подняться по лестнице на второй этаж, пожать друг другу руки и придвинуть к столу стул — это такой нестерпимый труд!..

Из разбитого окна дует...но заткнуть зияющее отверстие подушкой уж никто не может — предыдущая физическая работа истощила организм на целый час.

Можно только сидеть вокруг стола, оплывшей свечи и журчать тихим, тихим шепотом...

Переглянулись.

— Начнем, что ли? Сегодня чья очередь?

— Моя.

— Ничего подобного. Ваша позавчера была. Еще вы рассказывали о макаронах с рубленой говядиной.

— О макаронах Илья Петрович рассказывал. Мой доклад был о панированной телячьей котлете с цветной капустой. В пятницу.

— Тогда ваша очередь. Начинайте. Внимание, господа!

Серая фигура наклонилась над столом еще ниже, отчего черная огромная тень на стене переломилась и заколебалась. Язык быстро, привычно пробежал по запекшимся губам, и тихий хриплый голос нарушил могильное молчание комнаты.

— Пять лет тому назад — как сейчас помню — заказал я у «Альбера» навагу, фрит и бифштекс по-гамбургски. Наваги было 4 штуки,— крупная, зажаренная в сухариках, на масле, господа! Понимаете, на сливочном масле, господа. На масле! С одной стороны лежал пышный ворох поджаренной на фритюре петрушки, с другой — половина

лимона. Знаете, этакий лимон ярко-желтого цвета и в разрезе посветлее, кисленький такой разрез... Только взять его в руку и подавить над рыбиной... Но я делал так: сначала брал вилку, кусочек хлебца (был черный, был белый, честное слово) и ловко отделял мясистые бока наваги от косточки...

— У наваги только одна косточка, посредине, треугольная,— перебил, еле дыша, сосед.

— Тсс! Не мешайте. Ну, ну?

— Отделив куски наваги, причем, знаете ли, кожица была поджарена, хрупкая этакая и вся в сухарях... в сухарях,— я наливал рюмку водки и только тогда выдавливал тонкую струю лимонного сока на кусок рыбы... И я сверху прикладывал немного петрушки — о, для аромата только, исключительно для аромата,— выпивал рюмку и сразу кусок этой рыбки — гам! А булка-то, знаете, мягкая, французская этакая, и ешь ее, ешь, пышную, с этой рыбкой. А четвертую рыбку я даже не доел, хе-хе!

— Не доели?!!

— Не смотрите на меня так, господа. Ведь впереди был бифштекс по-гамбургски — не забывайте этого. Знаете, что такое — по-гамбургски?

— Это не яичница ли сверху положена?

— Именно!! Из одного яйца. Просто так, для вкуса. Бифштекс был рыхлый, сочный, но вместе с тем упругий и с одного боку побольше поджаренный, а с другого — поменьше. Помните, конечно, как пахло жареное мясо, вырезка — помните? А подливки было много, очень много, густая такая, и я любил, отломив корочку белого хлебца, обмакнуть ее в подливочку и с кусочком нежного мясца — гам!

— Неужели, жареного картофеля не было? — простонал кто-то, схватясь за голову, на дальнем конце стола.

— В том-то и дело, что был! Но мы, конечно, еще не дошли до картофеля. Был также наструганный хрен, были капорцы — остренькие, остренькие, а с другого конца чуть не половину соусника занимал нарезанный этакими ромбиками жареный картофель. И черт его знает, почему он так пропитывается этой говяжьей подливкой. С одного бока кусочки пропитаны, а с другого совершенно сухие и даже похрустывают на зубах. Отрежешь, бывало, кусочек мясца, обмакнешь хлеб в подливку, да зацепив все это вилкой, вкупе с кусочком яичницы, картошечкой и кружочком малосольного огурца...

Сосед издал полузаглушенный рев, вскочил, схватил рассказчика за шиворот и, тряся его слабыми руками, закричал:

— Пива! Неужели, ты не запивал этого бифштекса с картофелем — крепким пенистым пивом!

Вскочил в экстазе и рассказчик.

— Обязательно! Большая тяжелая кружка пива, белая пена наверху, такая густая, что на усах остается. Проглотишь кусочек бифштекса с картофелем, да потом как вопьешься в кружку...

Кто-то в углу тихо заплакал:

— Не пивом! не пивом нужно было запивать, а красным винцом, подогретым! Было там такое бургундское, по три с полтиной бутылка... Нальешь в стопочку, поглядишь на свет — рубин, совершенный рубин...

Бешеный удар кулаком прервал сразу весь этот плывший над столом сладострастный шепот.

— Господа! Во что мы превратились — позор! Как мы низко пали! Вы! Разве вы мужчины? Вы сладострастные старики карамазовы! Источая слюну, вы смакуете целыми ночами то, что у вас отняла кучка убийц и мерзавцев! У нас отнято то, на что самый последний человек имеет право — право еды, право набить желудок пищей по своему неприхотливому выбору — почему же вы терпите? Вы имеете в день хвост ржавой селедки и 2 лота хлеба, похожего на грязь,— вас таких много, сотни тысяч! Идите же все, все идите на улицу, высыпайте голодными отчаянными толпами, ползите, как миллионы саранчи, которая поезд останавливает своим количеством, идите, навалитесь на эту кучку творцов голода и смерти, перегрызите им горло, затопчите их в землю, и у вас будет хлеб, мясо и жареный картофель!!

— Да! Поджаренный в масле! Пахнущий! Ура! Пойдем! Затопчем! Перегрызем горло! Нас много! Ха-ха-ха! Я поймаю Троцкого, повалю его на землю и проткну пальцем глаз! Я буду моими истоптанными каблуками ходить по его лицу! Ножичком отрежу ему ухо и засуну ему в рот — пусть ест!!

— Бежим же, господа. Все на улицу, все голодные!

При свете подлого сального огарка глаза в черных впадинах сверкали, как уголья... Раздался стук отодвигаемых стульев и топот ног по комнате.

И все побежали... Бежали они очень долго и пробежали очень много: самый быстрый и сильный добежал до

передней, другие свалились — кто на пороге гостиной, кто у стола столовой.

Десятки верст пробежали они своими окостеневшими, негнущимися ногами... Лежали, обессиленные, с полузакрытыми глазами, кто в передней, кто в столовой — они сделали, что могли, они ведь хотели.

Но гигантское усилие истощилось, и тут же все погасли, как растащенный по поленьям сырой костер.

А рассказчик, лежа около соседа, подполз к его уху и шепнул:

— А знаешь, если бы Троцкий дал мне кусочек жареного поросенка с кашей — такой, знаешь, маленький кусочек, — я бы не отрезывал Троцкому уха, не топтал бы его ногами! Я бы простил ему...

— Нет, — шепнул сосед, — не поросенок, а знаешь что?.. Кусочек пулярки, такой, чтобы белое мясо легко отделялось от нежной косточки... И к ней вареный рис с белым кисленьким соусом...

Другие лежащие, услышав шепот этот, поднимали жадные головы и постепенно сползались в кучу, как змеи от звуков тростниковой дудки...

Жадно слушали.

* * *

Тысяча первая голодная ночь уходила... Ковыляя, шествовало на смену тысяча первое голодное утро.

Трава, примятая сапогом

— Как ты думаешь, сколько мне лет? — спросила небольшая девочка, перепрыгивая с одной ноги на другую, потряхивая темными кудрями и поглядывая на меня сбоку большим серым глазом...

— Тебе-то? А так я думаю, что тебе лет пятьдесят.

— Нет, серьезно. Ну, пожалуйста, скажи.

— Тебе-то? Лет восемь, что ли?

— Что ты! Гораздо больше: восемь с половиной.

— Ну?! Порядочно. Как говорится: старость не радость. Небось, и женишка уже припасла?

— Куда там! (Глубокая поперечная морщина сразу выползла откуда-то на ее безмятежный лоб.) Разве теперь можно обзаводиться семьей? Все так дорого.

— Господи Боже ты мой, какие солидные разговоры пошли!.. Как здоровье твоей многоуважаемой куклы?

— Покашливает. Я вчера с ней долго сидела у реки. Кстати, хочешь, на речку пойдем, посидим. Там хорошо: птички поют. Я вчера очень комичную козявку поймала.

— Поцелуй ее от меня в лапку. Но как же мы пойдем на реку: ведь в той стороне, за рекой, стреляют.

— Неужели ты боишься? Вот еще глупый. Ведь снаряды не долетают сюда, это ведь далеко. А я тебе зато расскажу стих. Пойдем?

— Ну, раз стих — это дело десятое. Тогда не лень и пойти. — По дороге, ведя меня за руку, она сообщила:

— Знаешь, меня ночью комар как укусит, за ногу.

— Слушаю-с. Если я его встречу, я ему дам по морде.

— Знаешь, ты ужасно комичный.

— Еще бы. На том стоим.

На берегу реки мы преуютно уселись на камушке под резвесистым деревцом. Она прижалась к моему плечу, прислушалась к отдаленным выстрелам, и снова та же морщинка озабоченности и вопроса, как гнусный червяк, всползла на чистый лоб.

Она потерлась порозовевшей от ходьбы щечкой о шершавую материю моего пиджака и, глядя остановившимися глазами на невозмутимую гладь реки, спросила:

— Скажи, неужели Ватикан никак не реагирует на эксцессы большевиков?..

Я испуганно отодвинулся от нее и поглядел на этот розовый ротик с будто чуть-чуть припухшей верхней губкой, посмотрел на этот ротик, откуда только что спокойно вылетела эта чудовищная по своей деловитости фраза, и переспросил:

— Чего, чего?

Она повторила.

Я тихо обнял ее за плечи, поцеловал в голову и прошептал на ухо:

— Не надо, голубчик, об этом говорить, хорошо? Скажи лучше стихи, что обещала.

— Ах, стихи! Я и забыла. О Максе.

Максик вечно ноет,
Максик рук не моет,
У грязнухи Макса
Руки, точно вакса.

Волосы, как швабра,
Чешет их не храбро...

— Правда, комичные стишки? Я их в старом «Задушевном слове»[6] прочитала.

— Здорово сработано. Ты их маме-то читала?

— Ну, знаешь, маме не до того. Прихварывает все.

— Что ж с ней такое?

— Малокровие. Ты знаешь, она целый год при большевиках в Петербурге прожила. Вот и получила. Жиров не было, потом эти...азотистые вещества тоже в организм не... этого...не входили. Ну, одним словом,—коммунистический рай.

— Бедный ты ребенок,—уныло прошептал я, приглаживая ей волосы.

— Еще бы же не бедный. Когда бежали из Петербурга, я в вагоне кроватку куклиную потеряла, да медведь пищать перестал. Не знаешь, отчего это он мог перестать пищать?

— Очевидно, азотистых веществ ему не хватило. Или просто саботаж.

— Ну, ты прямо-таки прекомичный! На мою резиновую собачку похож. А ты можешь нижней губой до носа достать?

— Где там! Всю жизнь мечтал об этом — не удается.

— А знаешь, у меня одна знакомая девочка достает; очень комично.

С противоположного берега дунуло ветерком, и стрельба сразу сделалась слышней.

— Вишь ты, как пулеметы работают,— сказал я, прислушиваясь.

— Что ты, братец,— какой же это пулемет? Пулемет чаще тарахтит. Знаешь, совсем как швейная машина щелкает. А это просто пачками стреляют. Вишь ты: очередями жарят.

Ба-бах!

— Ого,— вздрогнул я,— шрапнелью ахнули.

Ее серый лукавый глаз глянул на меня с откровенным сожалением:

— Знаешь, если ты не понимаешь — так уж молчи. Какая же это шрапнель? Обыкновенную трехдюймовку со шрапнелью спутал. Ты знаешь, между прочим, шрапнель, когда летит, так как-то особенно шуршит. А бризантный снаряд[7] воет, как собака. Очень комичный.

— Послушай, клоп, — воскликнул я, с суеверным страхом оглядывая ее розовые пухлые щечки, вздернутый носик и крохотные ручонки, которыми она в этот момент заботливо подтягивала спустившиеся к башмачкам носочки. — Откуда ты все это знаешь?!

— Вот комичный вопрос, ей-Богу! Поживи с мое — не то еще узнаешь.

А когда мы возвращались домой, она, забыв уже о «реагировании Ватикана» и «бризантных снарядах», щебетала, как воробей, задрав кверху задорный носик:

— Ты знаешь, какого мне достань котеночка? Чтоб у него был розовенький носик и черные глазки. Я ему голубенькую ленточку с малюсеньким таким золотым бубенчиком привяжу, у меня есть. Я люблю маленьких котенков. Что же я, дура! Я и забыла, что мой бубенчик был с маминым золотом в сейфе, и коммунисты его по мандату комфина реквизировали!

* * *

По зеленой молодой травке ходят хамы в огромных тяжелых сапожищах, подбитых гвоздями.

Пройдут по ней, примнут ее.

Прошли — полежал, полежал примятый, полураздавленный стебелек, пригрел его луч солнца, и опять он приподнялся и под теплым дыханием дружеского ветерка шелестит о своем, о малом, о вечном.

Чертово колесо

I

— Усаживайся, не бойся. Тут очень весело.

— Чем же весело?

— Ощущение веселое.

— Да чем же веселое?

— А вот как закрутится колесо, да как дернет тебя с колеса, да как швырнет о барьер, так глаза в лоб выскочут! Очень смешно.

Это — разговор на «чертовом колесе»...

Несколько лет тому назад компания ловких предпринимателей устроила в Петербурге «Луна-Парк».

Я любил хаживать туда по причине несколько пикантной; в «Луна-Парке» я находил для своей коллекции дураков такие чудесные махровые экземпляры и в таком изобилии, как нигде в другом месте.

Вообще, «Луна-Парк» — это рай для дураков: все сделано для того, чтобы дураку было весело...

Подойдет он к выпуклому зеркалу, увидит трехаршинные ноги, будто выходящие прямо из груди, увидит вытянутое в аршин лицо — и засмеется дурак, как ребенок; сядет в «веселую бочку», да как столкнут его вниз, да как почнет бочка стукаться боками о вертикально воткнутые по дороге бревна, да как станет дурака трясти, как дробинку в детской погремушке, круша ребра и ушибая ноги,— тут-то и поймет дурак, что есть еще беззаботное веселье на свете; и к «веселой кухне» подойдет дурак, и тут он увидит, что это настоящая его, дуракова, тихая пристань. Впрочем, она не особенно тихая, эта пристань. Потому что «веселая кухня» заключалась в том, что на расстоянии нескольких аршин от барьера на полках были расставлены бракованные тарелки, блюда, бутылки и стаканы, в которые дурак имеет право метать деревянными шарами, купив это завидное право и привилегию за рубль серебра. И прибыли-то дураку никакой не было — ни приза за разбитие тарелок ему не давали, ни одобрения зрителей он не получал, потому что раскокать блюдо на трехаршинном расстоянии было легче легкого,— а вот поди ж ты — излюбленное это было дурацкое удовольствие — сокрушать десятки тарелок и бутылок... А из «веселой кухни», разгорячив свою пылкую кровь,— направлялся дурак для охлаждения прямехонько в «таинственный замок»... Это было помещение, входя в которое вы должны были приготовиться ко всему: бредете ли вы по абсолютно темным узким коридорам, а вам тут и привидения, натертые фосфором, являются, и задушает вас невидимая рука, и скатываетесь вы по какой-то трубе вниз на какие-то мягкие мешки, а главное, когда вы, радостный, выходите наконец в залитый светом воздушный мостик, открытый глазам толпящейся внизу публики,— снизу дунет на вас таким ураганным ветром, что, если вы мужчина, пальто ваше взвивается выше к голове, как два крыла, шляпа бешено взлетает кверху, а если вы дама, то вся гривуазно настроенная публика ознакомится не только с цветом ваших подвязок, но и со многим другим, чему место не в политическом фельетоне, а на самой лучшей, крепкой,

круто замешенной эротической странице специалиста по этим делам, Михайлы Арцыбашева[8].

Вот что такое «Луна-Парк» — рай для дураков, ад для среднего, случайно забредшего туда человека, и — широкое необозримое поле научных наблюдений для вдумчивого человека, изучающего русского дурака в его нормальной, привычной и самой удобной обстановке.

II

Приглядываюсь я к русской революции, приглядываюсь и — ой, как много разительно схожего в ней с «Луна-Парком» — даже жутко от целого ряда поразительно точных аналогий...

Все новое, революционное, по-большевистски радикальное строительство жизни, все разрушение старого, якобы отжившего,— ведь это же «веселая кухня»! Вот тебе на полках расставлен старый суд, старые финансы, церковь, искусство, пресса, театр, народное просвещение — какая пышная выставка!

И вот подходит к барьеру дурак, выбирает из корзины в левую руку побольше деревянных шаров, берет в правую один шар, вот размахнулся — трах! Вдребезги правосудие. Трах! — в кусочки финансы.

Бац! — и уже нет искусства, и только остается на месте какой-то жалкий покосившийся пролеткультский огрызок.

А дурак уже разгорячился, уже пришел в азарт — благо шаров в руках много — и вот летит с полки разбитая церковь, трещит народное просвещение, гудит и стонет торговля. Любо дураку, а кругом собрались, столпились посторонние зрители — французы, англичане, немцы — и только, знай, посмеиваются над веселым дураком, а немец еще и подзуживает:

— Ай, ловкий! Ну, и голова же! А ну, шваркни еще по университету. А долбани-ка в промышленность!..

Горяч русский дурак — ох, как горяч... Что толку с того, что потом, когда очухается он от веселого азарта, долго и тупо будет плакать свинцовыми слезами и над разбитой церковью, и над сокрушенными вдребезги финансами, и над мертвой уже наукой, зато теперь все смотрят на дурака! Зато теперь он — центр веселого внимания, этот самый дурак, которого прежде и не замечал никто.

III

А кто это там поехал вниз в «веселой бочке», стукаясь боками о сотни торчащих тумб, теряя шляпу, круша ребра и ломая коленные чашечки? Ба! Это русский человек с семьей путешествует в наше веселое революционное время из Чернигова в Воронеж. Бац о тумбу — из вагона ребенок вылетел, бац о другую — самого петлюровцы выбросили, трах о третью — махновцы чемодан отняли.

А кто стоит перед кривым зеркалом и корчится не то от смеха, не то от слез, сам себя не узнавая... А это, видите, доверчивый человек подошел к непримиримой чужепартийной газете, и она его «отразила».

А этот «таинственный замок» — где вас ведут по темным, как ночь, извилинам, где пугают вас, толкают, калечат и кажут вам разных, леденящих душу своим видом, чудовищ — не чрезвычайка ли это — самое яркое порождение Третьего Интернационала — потому что все интернационально сгруппировались там: и латыши, и русские, и евреи, и китайцы — палачи всех стран, соединяйтесь!..

IV

Но самое замечательное, самое одуряюще схожее — это «чертово колесо»!

Вот вам февральская революция — начало ее, когда колесо еще не закрутилось... Посредине его, в самом центре, стоит самый замечательный «дурак» современности — Александр Керенский, и кричит он зычным митинговым голосом:

— Пожалуйте, товарищи! Делайте игру. Сейчас закрутим. Милюков![9] Садись, не бойся. Тут весело.

— Чем же весело?

— Ощущение веселое...

— А вот как закрутит, да как начнет всех швырять к барьеру... Впрочем, ты садись в самый центр, около меня, — тогда удержишься... И ты, Гучков[10], садись — не бойся... Славно закрутим... Ну... все сели? Давай ход! Поехала!

Поехала.

Несколько оборотов «чертова колеса» — и вот уже ползет, с выпученными глазами, тщетно стараясь удержаться за соседа, — Павел Милюков.

Вжжж!— свистит раскрученное колесо, быстро скользит по отполированной предыдущими «опытами» поверхности Милюков — трах — и больно стукается о барьер бедняга, вышвырнутый из центра непреодолимой центробежной силой.

А вот и Гучков пополз вслед за ним, уцепясь за рукав Скобелева[11]... Отталкивает его Скобелев, но — поздно... Утеряна мертвая точка, и оба разлетаются, как пушинки от урагана.

— А! — радостно кричит Церетели[12], уцепясь за ногу Керенского.— Держись крепче, как я.— Самые левые и самые правые летят, а мы — центр — удержимся...

Куда там! Уже оторвался и скользит Церетели, за ним Чхеидзе[13] — эк их куда выкинуло — к самому барьеру, «на сей погибельный Кавказ порасшвыривало».

Радостно посмеивается Керенский, бешено вертясь в самом центре,— кажется, и конца не будет этому сладостному ощущению... Любо молодому главковерху. Но вот у ног его заклубился бесформенный комок из трех голов и шести ног, называемый в просторечии — Гоцлибердан[14],— уцепился комок за Керенского, обвился вокруг его ноги, жалобно закричал главковерх, сдвинулся на вершок влево — но... для «чертова колеса» достаточно и этого!..

Заскрипела полированная поверхность, и летит начальник, или, по-нынешнему, «комиссар чертова колеса», вверх тормашками, не только к барьеру, а даже за барьер беднягу выкинуло, и грянулся он где-то не то в Лондоне, не то в Париже.

Расшвыряло, всех расшвыряло по барьеру «чертово колесо», и постепенно замедляется его ход, и почти останавливается оно, а тут уже — глядь! — налезла на полированный круг новая веселая компания: Троцкий, Ленин, Нахамкис[15], Луначарский, и кричит новый «комиссар чертова колеса» — Троцкий:

— К нам, товарищи! Ближе! Те дураки не удержались, но мы-то удержимся! Ходу! Крути, валяй! Поехала!!

— Вжжж!..

А мы сейчас стоим кругом и смотрим: кто первый поползет окорачь по гладкой полированной поверхности, где не за что уцепиться, не на чем удержаться, и кого на какой барьер вышвырнет.

— Ах, поймать бы!

Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина

Ровно десять лет тому назад рабочий Пантелей Грымзин получил от своего подлого, гнусного хозяина-кровопийцы поденную плату за 9 часов работы — всего два с полтиной!!!

— Ну, что я с этой дрянью сделаю?..— горько подумал Пантелей, разглядывая на ладони два серебряных рубля и полтину медью...— И жрать хочется, и выпить охота, и подметки к сапогам нужно подбросить, старые — одна, вишь, дыра... Эх ты, жизнь наша распрокаторжная!!

Зашел к знакомому сапожнику: тот содрал полтора рубля за пару подметок.

— Есть ли на тебе крест-то? — саркастически осведомился Пантелей.

Крест, к удивлению ограбленного Пантелея, оказался на своем месте, под блузой, на волосатой груди сапожника.

— Ну, вот остался у меня рупь-целковый,— со вздохом подумал Пантелей.— А что на него сделаешь? Эх!..

Пошел и купил на целковый этот полфунта ветчины, коробочку шпрот, булку французскую, полбутылки водки, бутылку пива и десяток папирос — так разошелся, что от всех капиталов только четыре копейки и осталось.

И когда уселся бедняга Пантелей за свой убогий ужин — так ему тяжко сделалось, так обидно, что чуть не заплакал.

— За что же, за что?..— шептали его дрожащие губы.

Почему богачи и эксплуататоры пьют шампанское, ликеры, едят рябчиков и ананасы, а я, кроме простой очищенной, да консервов, да ветчины — света Божьего не вижу... О, если бы только мы, рабочий класс, завоевали себе свободу!.. То-то бы мы пожили по-человечески!

* * *

Однажды, весной 1920 года рабочий Пантелей Грымзин получил свою поденную плату за вторник: всего 2700 рублей.

— Что ж я с ними сделаю,— горько подумал Пантелей, шевеля на ладони разноцветные бумажки.

— И подметки к сапогам нужно подбросить, и жрать, и выпить чего-нибудь — смерть хочется!

Зашел Пантелей к сапожнику, сторговался за две тысячи триста и вышел на улицу с четырьмя сиротливыми сторублевками.

Купил фунт полубелого хлеба, бутылку ситро, осталось 14 целковых... Приценился к десятку папирос, плюнул и отошел.

Дома нарезал хлеба, откупорил ситро, уселся за стол ужинать... и так горько ему сделалось, что чуть не заплакал.

— Почему же,—шептали его дрожащие губы,—почему богачам все, а нам ничего... Почему богач ест нежную розовую ветчину, объедается шпротами и белыми булками, заливает себе горло настоящей водкой, пенистым пивом, курит папиросы, а я, как пес какой, должен жевать черствый хлеб и тянуть тошнотворное пойло на сахарине!.. Почему одним все, другим — ничего?..

* * *

Эх, Пантелей, Пантелей... Здорового ты дурака свалял, братец ты мой!...

Новая русская сказка

(Вместо предисловия)

Матери!

Вот уже несколько лет вы бессознательно обманываете ваших детей, рассказывая им старый ложный вариант сказки о Красной Шапочке и Сером Волке.

Пора, наконец, открыть вам глаза на истинное положение вещей, пора пролить свет истины на клеветническое измышление о бедном добродушном Сером Волке!..

Вот как было дело:

Сказка о Красной Шапочке, об одном заграничном мальчике и о Сером Волке

У одного отца было три сына: до первых двух нам нет дела, а младший был дурак.

Состояние его умственных способностей видно из того, что когда у него родилась и подросла дочь — он подарил ей красную шапочку.

Почему именно красную?

Именно потому, что дурак красному рад.

* * *

И вот однажды зовет дуракова жена дочку и говорит ей:

— Нечего зря баклуши бить! Отнеси бабушке горшочек маслица, лепешечку да штоф вина: может, старуха наклюкается, протянет ноги, а мы тогда все ее животишки и достатки заберем.

— Я, конечно, пойду,— отвечает Красная Шапочка.— Но только, чтобы идти не больше восьмичасового рабочего дня. А насчет бабушки — это мысль.

Перемигнулись; хихикнула Красная Шапочка и, напялив свой дурацкий головной убор, пошла к бабушке.

Идти пришлось лесом. Идет, «Интернационал» напевает, красную гвоздику рвет. Вдруг из-за куста выходит некий таинственный мальчик и говорит:

— Позвольте представиться: заграничный мальчик Лев Троцкий. Чего несете? О-о, да тут прекрасные вещи! Дай-ка, я их тово... Да ты не плачь — я ведь тебе стаканчик-другой поднесу.

— А что же я бабушке-то скажу?

— Скажи — Серый русский Волк слопал. Вали, как на мертвого.

Пришла, пошатываясь, к бабушке Красная Шапочка. Старуха к ней:

— Принесла?

— Да, как же! Держи карман шире. Разве этот грабитель, Серый Волк, пропустит — все слопал!

Только облизнулась бедная старуха.

А в это время, как известно, жил-был у бабушки Серенький Козлик. Вздумалось козлику в лес погуляти.

— Отпусти ты его, буржуя,— советует Красная Шапочка.— Пусть идет в лес. Довольно ему, саботажнику, дома лодырничать. Как говорится: все на фронт.

Отпустила бабушка Серенького Козлика в сопровождении Красной Шапочки, а той только того и нужно. Едва вошли в лес — из-за куста давешний мальчик:

— А что, товарищ, не слопать ли нам козла?

— А что я бабушке скажу?

Подмигнул мальчик, хихикнул.

— А Серый русский Волк на что? Вали на него — вывезет. Кстати, старуха-то сама фартовая? Клев есть?

— Да ежели потрясти — есть чего. Только на мокрое дело я не пойду. Чтобы без убийства.

— А Серый Волк на что? Свалим на эту скотину. Айда! Пошли и «пришили» старушку.

Зажили в старухином доме припеваючи. Мальчик на старухиной кровати развалился, целый день валяется, а Красная Шапочка по хозяйству хлопочет, сундуки взламывает.

* * *

А в это время по всему лесу пошел нехороший и для добродушного Серого Волка позорный слух: что будто бы он не только людей провизии и продуктов лишает, не только буржуазного козленка зарезал, но и самое бабушку прикончил.

Обидно стало Серому. Пойду, думает, к старухе, лично все выясню.

Приходит — те-те-те! Полуштоф пустой на столе стоит, на стене козлиная шкура, а Красная Шапочка уже в бабушкиных нарядах щеголяет.

— Ловко сработано,— с горечью подумал Серый Волк.

Подошел к Троцкому, подсел на краешек кровати и спрашивает:

— Отчего у тебя такой язык длинный?

— Чтобы на митингах орать.

— Отчего у тебя такой носик большой?

— При чем тут национальность?

— Отчего у тебя большие ручки?

— Чтобы лучше сейфы вскрывать! Знаешь наш лозунг: грабь награбленное!

— Отчего у тебя такие ножки большие?

— Идиотский вопрос! А чем же я буду, когда засыплюсь, в Швейцарию убегать?!

— Ну, нет, брат,— вскричал Волк и в тот же миг — гам! — и съел заграничного мальчика, сбил лапой с головы глупой девчонки красную шапочку, и, вообще, навел Серый такой порядок, что снова в лесу стало жить хорошо и привольно.

Кстати, в прежнюю старую сказку, в самый конец, впутался какой-то охотник.

В новой сказке — к черту охотника.

Много вас тут, охотников, найдется к самому концу приходить...

Короли у себя дома

Все почему-то думают, что коронованные особы — это какие-то небожители, у которых на голове алмазная корона, во лбу звезда, а на плечах горностаевая мантия, хвост которой волочится сажени на три сзади.

Ничего подобного. Я хорошо знаю, что в своей частной, интимной жизни коронованные особы живут так же обывательски просто, как и мы, грешные.

Например, взять Ленина и Троцкого.

На официальных приемах и парадах они — одно, а в своей домашней обстановке — совсем другое. Никаких громов, никаких перунов.

Ну, скажем, вот:

* * *

Серенькое московское утро. Кремль. Грановитая палата.

За чаем мирно сидят Ленин и Троцкий.

Троцкий, затянутый с утра в щеголеватый френч, обутый в лакированные сапоги со шпорами, с сигарой, вставленной в длинный янтарный мундштук,— олицетворяет собой главное, сильное, мужское начало в этом удивительном супружеском союзе. Ленин — madame, представитель подчиняющегося, более слабого, женского, начала.

И он одет соответственно: затрепанный халатик, на шее нечто вроде платка, потому что в Грановитой палате всегда несколько сыровато, на ногах красные шерстяные чулки от ревматизма и мягкие ковровые туфли.

Троцкий, посасывая мундштук, совсем, с головой, ушел в газетный лист; Ленин перетирает полотенцем стаканы.

Молчание. Только самовар напевает свою однообразную вековую песенку.

— Налей еще,— говорит Троцкий, не отрывая глаз от газеты.

— Тебе покрепче или послабее?

Молчание.

— Да брось ты свою газету! Вечно уткнет нос так, что его десять раз нужно спрашивать.

— Ах, оставь ты меня в покое, матушка! Не до тебя тут.

— Ага! Теперь уже не до меня! А когда сманивал меня из-за границы в Россию,— тогда было до меня!.. Все вы, мужчины, одинаковы.

— Поехала!

Троцкий вскакивает, нервно ходит по палате, потом останавливается. Сердито:

— Кременчуг взят. На Киев идут. Понимаешь?

— Что ты говоришь! А как же наши доблестные красные полки, авангард мировой революции?..

— Доблестные? Да моя бы воля, так я бы эту сволочь...

— Левушка... Что за слово...

— Э, не до слов теперь, матушка. Кстати: ты транспорт-то со снарядами послала в Курск?

— Откуда же я их возьму, когда тот завод не работает, этот бастует... Рожу я тебе их, что ли? Ты вот о чем подумай!

— Да? Я должен думать?! Обо всем, да? Муж и воюй, и страну организуй, и то и се, а жена только по диванам валяется да глупейшего Карла Маркса читает? Эти романчики пора уже оставить...

— Что ты мне своей организацией глаза колешь?! — вспылил Ленин, нервно отбрасывая мокрое полотенце. — Нечего сказать — организовал страну: по улицам пройти нельзя: или рабочий мертвый лежит, или лошадь дохлая валяется.

— А чего ж они, подлецы, не убирают... Я ведь распорядился, Господи! Простой чистоты соблюсти не могут.

— Ах, да разве только это? Ведь нам теперь и глаз к соседям не покажи — засмеют. Устроили страну, нечего сказать; на рынке ни к чему приступу нет — курица 8000 рублей, крупа — 3000, масло... э, да и что там говорить!! Ходишь на рынок, только расстраиваешься.

— Ну, что ж... разве я тебе в деньгах отказывал? Не хватает — можно подпечатать. Ты скажи там, в экспедиции заготовления...

— Э, да разве только это. А венгерская социальная революция... Курам на смех! Твой же этот самый придворный поэт во всю глотку кричал:

Мы на горе всем буржуям,
Мировой пожар раздуем...

Раздули пожар... тоже! Хвалилась синица море зажечь. Ну, с твоей ли головой такой страной управлять, скажи, пожалуйста?!

Замолчишь ли ты, проклятая баба! — гаркнул Троцкий, стукнув кулаком по столу. — Не хочешь, не нравится — скатертью дорога!

— Скатертью? — вскричал Ленин и подбоченился.— Это куда же скатертью? Куда я теперь поеду, когда, благодаря твоей дурацкой войне, мы со всех сторон окружены? Завлек, поиграл, поиграл, а теперь вышвыриваешь, как старый башмак? Знала бы — лучше пошла бы за Луначарского.

Бешеный огонь ревности сверкнул в глазах Троцкого.

— Не смей и имени этого соглашателя произносить!! Слышишь? Я знаю, ты ему глазки строишь, и он у тебя до третьего часу ночи просиживает; имей в виду: застану — искалечу. Это что еще? Слезы? Черт знает что! Каждый день скандал — чаю не дадут дома спокойно выпить! Ну, довольно! Если меня спросят — скажи, я поехал принимать парад доблестной Красной Армии. А то, если этих мерзавцев не подтягивать... Поняла? Положи мне папирос в портсигар да платок сунь в карман, чистый! Что у нас сегодня на обед?..

....

Вот как просто живут коронованные особы.

Горностай да порфира — это на людях, а у себя в семье, когда муж до слез обидит,— можно и в затрапезный шейный платок высморкаться.

Усадьба и городская квартира

Когда я начинаю думать о старой, канувшей в вечность, России, то меня больше всего умиляет одна вещь: до чего это была богатая, изобильная, роскошная страна, если последних три года повального, всеобщего, равного, тайного и явного грабежа — все-таки не могут истощить всех накопленных старой Россией богатств.

Только теперь начинаешь удивляться и разводить руками:

— Да, что ж это за хозяин такой был, у которого даже после смерти его — сколько не тащат, все растащить не могут...

Большевики считали все это «награбленным» и даже клич такой во главу угла поставили:

— Грабь награбленное.

Ой, не награбленное это было. Потому что все, что награблено, никогда впрок не идет: тут же на месте пропивается, проигрывается в карты, раздаривается дамам сердца грабителей — «марухам» и «шмарам».

А старая Россия не грабила; она накапливала.

Закрою я глаза — и чудится мне старая Россия большой помещичьей усадьбой...

Вот миновал мой возок каменные, прочно сложенные, почерневшие от столетий, ворота, и уже несут меня кони по длинной без конца-края липовой аллее, ведущей к фасаду русского, русского, русского — такого русского, близкого сердцу дома с белыми колоннами и старым-престарым фронтоном.

Солнце пробивается сквозь листву лип, и золотые пятна бегают по дорожке и колеблются, как живые...

А на террасе уже стоит вальяжный, улыбающийся хозяин и радостно приветствует меня.

Объятия, троекратные поцелуи, по русскому обычаю, и первый вопрос:

— Обедали?

И праздный вопрос, потому что мой ответ, все равно не нужен хозяину: пусть сытый гость лопнет по всем швам, но обедом он будет накормлен...

Те же золотые пятна бегают уже по белоснежной скатерти, зажигаются рубинами на домашней наливке, вспыхивают изумрудами на смородиновке, настоянной на молодых остропахнущих листьях, и уже дымится перед гостем и хозяином наваристый борщ и пыжится пухлая, как пуховая перина, кулебяка...

— А вы пока маринованных грибков — домашние! И вот рыбки этой — из собственного пруда... А квасом — прямо говорю — могу похвастаться; в нос так и шибает — сама жена у меня по этому делу ходок...

Тихо прячется за березовую рощу красное утомленное солнце. Смягченная далью, грустно и красиво доносится еле слышная песня косарей.

— Эй,— кричит кому-то вниз разошедшийся хозяин.— По случаю приезда дорогого гостя — выдать косарям по две чарки водки! А вы, голубчик, не устали ли? Может, отдохнуть хотите? Пойдемте, покажу вашу комнату...

В моей комнате уже зажжена лампа... Усталые ноги мягко ступают по толстым половикам, а взор так и тянется к свежим холодноватым простыням раскрытой постели...

— Вот вам спички, вот свеча, вот графин грушевого квасу— вдруг да пить ночью захотите. Да вы, может быть, съели бы чего-нибудь на ночь? Перепелочки есть, осетрина холодная... Нет? Ну, Господь с вами. Спите себе.

Я один... Подхожу к этажерке, что важно выпятилась в углу сотней прочных кожаных книжных переплетов, начинаю перебирать книги: Гоголь, Достоевский, Толстой, Успенский...

Почитаю...

Ах, как хорошо в русской России почитать русскому человеку русского писателя, ах, как хорошо знать, что ты под гостеприимным кровом русского приветливого хлебосола, что, когда ты погасишь лампу, в окно к тебе будут заглядывать бледные русские звезды, а за окном тихо и ласково будут перешептываться о твоих делах на своем непонятном языке скромные, застенчивые русские березки и елочки...

Все задремывает... И разнокалиберная шумливая птица в птичнике, и толстая, неповоротливая, обильно кормленная и поенная скотина в хлеву, и золотой хлеб в закромах, и свертки плотного домотканого полотна в темных, окованных железом укладках, и старые седые бутылки в дедовском погребе — все спит — плотное, солидное, накопленное не в год и не на год, а так, что еще и внукам останется...

С расчетом жили люди, замахиваясь в своих делах и планах на десятки лет, жили плотно, часто лениво, иногда скучно, но всегда сытно, но всегда нося в себе эволюционные семена более горячего, более живого и бойкого будущего...

Все стояло на своем месте, и во всем был так необходимый простому русскому сердцу уют.

* * *

А теперь новая русская «власть» живет не в дедовской помещичьей усадьбе, а в городе: съехали жильцы с квартиры, так вот теперь эти новые и взяли покинутую квартиру, значит.

Ясно, что когда с квартиры съезжают, она — какой вид имеет: голые стены, с оторванными кое-где обоями, с ярко-желтыми прямоугольниками в тех местах, где стоял комод или шкаф... В выбитое окно тянет сырым ветерком, на полу обрывки веревок, окурки, какие-то рваные бумажки, два-три аптечных пузырька с выцветшим рецептом, в углу поломанный, продавленный стул, брошенный за ненадобностью.

Переехала сюда «новая власть»... Нет у нее ни мебели, ни ковров, ни портретов предков...

Переехали — даже комнат не подмели...

На окнах появились десятки опорожненных бутылок, огрызков засохшей колбасы, в угол поставили утащенный откуда-то роскошный шелковый диван с ободранным боком

и около него примостили опрокинутый пивной бочонок, в виде ночного столика.

На стене на огромных крюках — ружья, в углу обрывок израсходованной пулеметной ленты и старые полуистлевшие обмотки.

Сор на полу так и не подметают, и нога все время наталкивается то на пустую консервную коробку, то на расплющенную голову селедки...

Приходит новый хозяин. В мокрой, пахнущей кислым, шинели, отяжелевший от спирта-сырца, валится прямо на диван.

А в бывшем кабинете помещаются угрюмые латыши, а в бывшей детской, где еще валяется забытый игрушечный зайчонок с оторванными лапами, спят вонючие китайцы и «красные башкиры»...

Никто из живущих в этой квартире не интересуется ею, и никто не собирается устроиться в ней по-человечески.

Никому и в голову не придет вставить разбитые стекла, вымести сор, разостлать белые с синей каймой половички, развесить любимые портреты, застлать кровать чистой простыней.

Зачем? День прошел, и слава Интернационалу. День да ночь — сутки прочь.

Никто не верит в возможность устроиться в новой квартире хоть года на три...

Стоит ли? А вдруг придет хозяин и даст по шеям.

Так и живут. Зайдет этакий в квартиру, наследит сапогами, плюнет, бросит окурок, размажет для собственного развлечения на стене клопа и пойдет по своим делам: расстреливать контрреволюционера и пить спирт-сырец.

Неприютно живет, по-собачьему.

Таков новый хозяин новой России.

Хлебушко

У главного подъезда монументального здания было большое скопление карет и автомобилей.

Мордастый швейцар то и дело покрикивал на нерасторопных кучеров и тут же низкими поклонами приветствовал господ во фраках и шитых золотом мундирах, солидно выходящих из экипажей и автомобилей.

Худая деревенская баба в штопаных лаптях и белом платке, низко надвинутом на загорелый лоб, робко подошла к швейцару.

Переложила из одной руки в другую узелок и поклонилась в пояс...

— Тебе чего, убогая?

— Скажи-ка мне, кормилец, что это за господа такие?

— Междусоюзная конференция дружественных держав по вопросам мировой политики!

— Вишь ты,— вздохнула баба в стоптанных лапотках.— Сподобилась видеть.

— А ты кто будешь? — небрежно спросил швейцар.

— Россия я, благодетель, Россеюшка. Мне бы тут за колонкой постоять да хоть одним глазком поглядеть: каки-таки бывают конференции. Может, и на меня, сироту, кто-нибудь глазком зиркнет да обратит свое такое внимание.

Швейцар подумал и хотя был иностранец, но тут же сказал целую строку из Некрасова:

— «Наш не любит оборванной черни»[16]... А впрочем, стой — мне что.

По лестнице всходили разные: и толстые, и тонкие, и ощипанные, во фраках, и дородные, в сверкающих золотом сюртуках с орденами и лентами.

Деревенская баба всем низко кланялась и смотрела на всех с робким испугом и тоской ожидания в слезящихся глазах.

Одному — расшитому золотом с ног до головы и обвешанному целой тучей орденов — она поклонилась ниже других.

— Вишь ты,— тихо заметила она швейцару.—Это, верно, самый главный!

— Какое! — пренебрежительно махнул рукой швейцар.— Внимания не стоит. Румын.

— А какой важный. Помню, было время, когда у меня под окошком на скрипочке пиликал, а теперь — ишь ты! И где это он так в орденах вывалялся?..

И снова на лице ее застыло вековечное выражение тоски и терпеливого ожидания...

Даже зависти не было в этом робком сердце.

* * *

Английский дипломат встал из-за зеленого стола, чтобы размяться, подошел к своему коллеге-французу и спросил его:

— Вы не знаете, что это там за оборванная баба около швейцара в вестибюле стоит?

— Разве не узнали? Россия это.

— Ох, уж эти мне бедные родственники! И чего ходит, спрашивается? Сказано ведь: будет время — разберем и ее дело. Стоит с узелком в руке и всем кланяется... По-моему, это шокинг.

— Да... Воображаю, что у нее там в узле... Наверное, полкаравая деревенского хлеба, и больше ничего.

— Как вы говорите?.. хлеб?

Да. А что ж ещё?

— Вы... уверены, что там у нее хлеб?

— Я думаю.

— Гм... да А впрочем, надо бы с ней поговорить, расспросить ее. Все-таки мы должны быть деликатными. Она нам в войну здорово помогла. Я — сейчас!

И англичанин поспешно зашагал к выходу.

* * *

Вернулся через пять минут, оживленный:

— Итак... На чем мы остановились?

— Коллега, у вас на подбородке крошки...

— Гм... Откуда бы это? А вот мы их платочком.

* * *

Увязывая свой похудевший узелок, баба тут же быстро и благодарно крестилась и шептала швейцару.

— Ну, слава Богу... Сам-то обещал спомочь. Теперь поди, недолго и ждать.

И побрела восвояси, сгорбившись и тяжко ступая усталыми ногами в стоптанных лапотках.

Эволюция русской книги

Этап первый (1916 год)

Ну, у вас на этой неделе не густо: всего три новых книги вышло. Отложите мне «Шиповник» и «Землю»[17]. Кстати, есть у вас «Любовь в природе» Бельше?[18] Чье издание? Сытина?[19] Нет, я бы хотел саблинское[20]. Потом, нет ли «Дети греха» Катюль Мендеса?[21] Только, ради Бога, не «Сфинкса»[22] — у них перевод довольно неряшлив. А это что? Недурное издание. Конечно, Голике и Вильборг?[23] Ну, нашли тоже, что роскошно издавать: «Евгений Онегин» всякий все равно наизусть знает. А чьи иллюстрации?

Самокиш-Судковской?[24] Сладковаты. И потом формат слишком широкий: лежа читать неудобно!..

Этап второй (1920 год)

— Барышня! Я записал по каталогу вашей библиотеки 72 названия — и ни одного нет. Что ж мне делать?

— Выберите что-нибудь из той пачки на столе. Это те книги, что остались.

— Гм! Вот три-четыре более или менее подходящие: «Описание древних памятников Олонецкой губернии», «А вот и она — вновь живая струна», «Макарка Душегуб» и «Собрание речей Дизраэли (лорда Биконсфилда)»[25]...

— Ну, вот и берите любую.

— Слушайте... А «Памятники Олонецкой губернии» — интересная?

— Интересная, интересная. Не задерживайте очереди.

Этап третий

— Слышали новость?!!

— Ну, ну?

— Ивиковы у себя под комодом старую книгу нашли! Еще с 1917 года завалялась! Везет же людям. У них по этому поводу вечеринка.

— А как называется книга?

— Что значит как: книга! 480 страниц! К ним уже записались в очередь Пустошкины, Бильдяевы, Россомахины и Партачевы.

— Побегу и я.

— Не опоздайте. Ивиковы, кажется, собираются разорвать книгу на 10 тоненьких книжечек по 48 страниц и продать.

Как же это так: без начала, без конца?

Подумаешь — китайские церемонии.

Этап четвертый

Публикация:

«Известный чтец наизусть стихов Пушкина ходит по приглашению на семейные вечера — читает всю «Полтаву» и всего «Евгения Онегина». Цены по соглашению. Он же дирижирует танцами и дает напрокат мороженицу».

Разговор на вечере:

— Слушайте! Откуда вы так хорошо знаете стихи Пушкина?

— Выучил наизусть.

— Да кто ж вас выучил: сам Пушкин, что ли?

— Зачем Пушкин. Он мертвый. А я, когда еще книжки были,— так по книжке вызубрил.

— А у него почерк хороший?

— При чем тут почерк? Книга напечатана.

— Виноват, это как же?

— А вот делали так: отливали из свинца буквочки, ставили одну около другой, мазнут сверху черной краской, приложат к белой бумаге да как даванут — оно и отпечатается.

— Прямо чудеса какие-то! Не угодно ли присесть! Папиросочку! Оля, Петя, Гуля — идите послушайте, мусье Гортанников рассказывает, какие штуки выделывал в свое время Пушкин! Мороженицу тоже лично от него получили?

Этап пятый

— Послушайте! Хоть вы и хозяин только мелочной лавочки, но, может быть, вы поймете вопль души старого русского интеллигента и снизойдете.

— А в чем дело?

— Слушайте... Ведь вам ваша вывеска на ночь, когда вы запираете лавку, не нужна? Дайте мне ее почитать на сон грядущий — не могу заснуть без чтения. А текст там очень любопытный — и мыло, и свечи, и сметана — обо всяком таком описано. Прочту — верну.

— Да... все вы так говорите, что вернете. А намедни один тоже так-то вот — взял почитать доску от ящика с бисквитами Жоржа Бормана, да и зачитал. А там и картиночка и буквы разные... У меня тоже, знаете ли, сын растет!..

Этап шестой

— Откуда бредете, Иван Николаевич?

— А за городом был, прогуливался. На виселицы любовался, поставлены у заставы.

— Тоже нашли удовольствие: на виселицы смотреть!

— Нет, не скажите. Я, собственно, больше для чтения: одна виселица на букву «Г» похожа, другая — на «И» - почитал и пошел. Все-таки чтение — пища для ума.

Русский в Европах

Летом 1921 года, когда все «это» уже кончилось,— в курзале одного заграничного курорта собрались за послеобеденным кофе самая разношерстная компания: были тут и греки, и французы, и немцы, были и венгерцы, и англичане, один даже китаец был...

Разговор шел благодушный, послеобеденный.

— Вы, кажется, англичанин?—спросил француз высокого бритого господина.— Обожаю я вашу нацию: самый дельный вы, умный народ в свете.

— После вас,— с чисто галльской любезностью поклонился англичанин.— Французы в минувшую войну делали чудеса... В груди француза сердце льва.

— Вы, японцы,— говорил немец, попыхивая сигарой,— изумляли и продолжаете изумлять нас, европейцев. Благодаря вам, слово «Азия» перестало быть символом дикости, некультурности...

— Недаром нас называют «немцами Дальнего Востока»,— скромно улыбнувшись, ответил японец, и немец вспыхнул от удовольствия, как пук соломы.

В другом углу грек тужился, тужился и наконец сказал:

— Замечательный вы народ, венгерцы!

— Чем?— искренно удивился венгерец.

— Ну, как же... Венгерку хорошо танцуете. А однажды я купил себе суконную венгерку, расшитую разными этакими штуками. Хорошо носилась! Вино опять же; нарезаться венгерским — самое святое дело.

— И вы, греки, хорошие.

— Да что вы говорите?! Чем?

— Ну... вообще. Приятный такой народ. Классический. Маслины вот тоже. Периклы всякие.

А сбоку у стола сидел один молчаливый бородатый человек и, опустив буйную голову на ладони рук, сосредоточенно печально молчал.

Любезный француз давно уже поглядывал на него. Наконец, не выдержал, дотронулся до его широкого плеча:

— Вы, вероятно, м-сье, турок? По-моему,— одна из лучших наций в мире!

— Нет, не турок.

— А кто же, осмелюсь спросить?

— Да так, вообще, приезжий. Да вам, собственно, зачем?
Чрезвычайно интересно узнать.

— Русский я!!

Когда в тихий дремлющий летний день вдруг откуда-то сорвется и налетит порыв ветра, как испуганно и озабоченно закачаются, зашелестят верхушки деревьев, как беспокойно завозятся и защебечут примолкшие от зноя птицы, какой тревожной рябью вдруг подернется зеркально-уснувший пруд!

Вот так же закачались и озабоченно, удивленно защебетали венгерские, французские, японские головы; так же доселе гладкие зеркально-спокойные лица подернулись рябью тысячи самых различных взаимно борющихся между собою ощущений.

— Русский? Да что вы говорите? Настоящий?

— Детки! Альфред, Мадлена! Вы хотели видеть настоящего русского — смотрите скорее! Вот он, видите, сидит

— Бедняга!

— Бедняга-то бедняга, да я давеча, когда расплачивался, бумажник два раза вынимал. Переложил в карманы брюк, что ли?

— Смотрите, вон русский сидит.

— Где, где?! Слушайте, а он бомбу в нас не бросит?

— Может, он голодный, господа, а вы на него вызверились. Как вы думаете, удобно ему предложить денег?

— Немца бы от него подальше убрать. А то немцы больно уж ему насолили... как бы он его не тово!

Француз сочувственно, но с легким оттенком страха жал ему руку, японец ласково с тайным соболезнованием в узких глазках гладил его по плечу, кое-кто предлагал сигару, кое-кто плотней застегнулся. Заботливая мать, захватив за руки плачущего Альфреда и Мадлену, пыхтя, как буксирный пароход, утащила их домой.

— Очень вас большевики мучили? — спросил добрый японец.

— Скажите, а правда, что в Москве собак и крыс ели?

— Объясните, почему русский народ свергнул Николая и выбрал Ленина и Троцкого? Разве они были лучше?

— А что такое взятка? Напиток такой или танец?

— Правда ли, что у вас сейфы вскрывали? Или, я думаю, это одна из тысячи небылиц, распространенных врагами России... А правда, что, если русскому рабочему запеть «Интернационал», — он сейчас же начинает вешать на фонаре прохожего человека в крахмальной рубашке и очках?

— А правда, что некоторые русские покупали фунт сахару за пятьдесят рублей, а продавали за тысячу?

— Скажите, совнарком и совнархоз опасные болезни? Правда ли, что разбойнику Разину поставили на главной площади памятник?

— А вот, я слышал, что буржуазные классы имеют тайную ужасную привычку, поймав рабочего, прокусывать ему артерию и пить теплую кровь, пока...

— Горит!! — крикнул вдруг русский, шваркнув полупудовым кулаком по столу.

— Что горит? Где? Боже мой... А мы-то сидим...

— Душа у меня горит! Вина!! Эй, кельнер, камерьере, шестерка — как тебя там?! Волоки вина побольше! Всех угощаю!! Поймете ли вы тоску души моей?! Сумеете ли заглянуть в бездну хаотической первозданной души славянской. Всем давай бокалы. Эх-ма! «Умру, похоро-о-нят, как не жил на свете»[26]...

Сгущались темно-синие сумерки.

Русский, страшный, растрепанный, держа в одной руке бутылку Поммери-сек, а кулаком другой руки грозя заграничному небу, говорил:

— Сочувствуете, говорите? А мне чихать на ваше такое заграничное сочувствие!! Вы думаете, вы мне все, все, сколько вас есть, — мало крови стоили, мало моей жизни отняли? Ты, немецкая морда, ты мне кого из Циммервальда прислал?[27] Разве так воюют? А ты, лягушатник, там... «Мон ами, да мон ами, бон да бон»[28], а сам взял да большевикам Крым и Одессу отдал. Разве это боновое дело? Разве это фратерните? Разве я могу забыть? А тебе разве я забуду, как ты своих носатых китайских чертей прислал — наш Кремль поганить, нашу дор... доррогую Россию губить, а? А венгерец... тоже и ты хорош: тебе бы мышеловками торговать да венгерку плясать, а ты в социалистические революции полез, Бела Кунов[29], черт их подери, на престолы сажать... а? Ох, горько мне с вами, ох, тошнехонько... Пить со мной мое вино вы можете сколько угодно, но понять мою душеньку?! Горит внутри, братцы! Закопал я свою молодость, свою радость в землю сырую... «Умру-у, похоронят, как не-е жил на свете!»........................

....

И долго еще в опустевшем курзале, когда все постепенно, на цыпочках, разошлись, — долго еще разносились сто-

ны и рыдания полупьяного одинокого человека, непонятного, униженного в своем настоящем трезвом виде и еще более непонятного в пьяном... И долго лежал он так, неразгаданная мятущаяся душа, лежал, положив голову на ослабевшие руки, пока не подошел метрдотель:

— Господин... Тут счет.

— Что? Пожалуйста! Русский человек за всех должен платить! Получите сполна.

Осколки разбитого вдребезги

Оба они сходятся у ротонды севастопольского Приморского бульвара, перед закатом, когда все так неожиданно меняет краски: море из зеркально-голубого переходит в резко-синее, с подчеркнутым под верхней срезанной половинкой солнца горизонтом; солнце из ослепительно-оранжевого превращается в огромный полукруг, нестерпимо красного цвета; а спокойное голубое небо, весь день томно дрожавшее от ласк пылкого зноя, к концу дня тоже вспыхивает и загорается ярким предвечерним румянцем,—одним словом, когда вся природа перед отходом ко сну с неожиданной энергией вспыхивает новыми красками и хочет поразить пышностью, тогда сходятся они у ротонды, садятся они на скамеечку под нависшими ветвями маслины и начинают говорить...

У одного красивый старческий профиль чрезвычайно правильного рисунка, маленькая белая, очень чистенькая бородка и черные, еще живые, глаза. Он петербуржец, бывший сенатор, на всех торжествах появляется в шитом золотом мундире и белых панталонах; был богат, щедр, со связями. Теперь на артиллерийском складе поденно разгружает и сортирует снаряды.

Другой — маленький рыжий старичок, с бесцветным петербургским личиком и медлительными движениями человека, привыкшего повелевать. Он был директором огромного металлургического завода, считавшегося первым на Выборгской стороне. Теперь он — приказчик комиссионного магазина и в последнее время приобрел даже некоторую опытность в оценке поношенных дамских капотов и плюшевых детских медведей, приносимых на комиссию.

Сойдясь и усевшись друг против друга, они долго молчат, будто раскачиваясь; да и в самом деле раскачивают головами, как два белых медведя во время жары в бассейне Зоологического сада.

Наконец, первым раскачивается сенатор:

— Резкие краски, говорит он, указывая на горизонт.— Нехорошо.

— Аляповато,— укоризненно соглашается приказчик комиссионного магазина.— Все краски на палитре не смешаны, все краски грубо подчеркнуты.

А помните наши петербургские закаты...

— Ну!!

— Небо — розовое с пепельным, вода — кусок розового зеркала, все деревья — темные силуэты, как вырезанные. Темный рисунок Казанского собора на жемчужном фоне...

— И не говорите! Не говорите! А когда зажгут фонари Троицкого моста...

— А кусочек канала, где Спас на Крови...

А тяжелая арка в конце Морской, где часы...

Не говорите!

Ну скажите: что мы им сделали? Кому мы мешали?

— Не говорите!

* * *

Оба старика поникают головами... Потом один из них снова распускает белые паруса сладких воспоминаний и несется в быстрой чудесной лодке, убаюкиваемый — все назад, назад, назад...

— Помните постановку «Аиды» в Музыкальной драме?

— Да уж Лапицкий[30] был — ловкая шельма! Умел сделать. Бал у Лариных, например, в «Онегине», а?

- А второй акт «Кармен»?

- А оркестр в «Мариинке»?[31] Помните, как вступят скрипки да застонут виолончели — Господи, думаешь: где же это я — на земле или на небе?

— Ах, Направник, Направник!..[32]

Сенаторская голова, седая голова с профилем римского патриция, никнет...

Рядом два восточных человека, в изумительно выутюженных белых костюмах и безукоризненных воротничках, тоже перебрасываются тихими фразами:

– С утра только я и успел взять из таможни 7 ящиков лимонов и 12 — спичек. Понимаешь?

— А Амбарцун?

– Амбарцуна мануфактурой завалили.

— А Вилли Ферреро в Дворянском Собрании?! Это Божье чудо, это будто Христос в детстве вторично спустился на землю!.. Половина публики тихо рыдала...

— А что с какао?

— Амбарцуна какаом завалили.

— Чего я никогда уже, вероятно, не услышу,— это игры Гофмана[33]...

— А помните, как Никиш[34]...

Из ресторана ветерок доносит дразнящий запах жареного мяса.

— Вчера с меня за отбивную котлету спросили 8 тысяч...

— А помните «Медведя»?

— Да. У стойки. Правда, рюмка лимонной водки стоила полтинник, но за этот же полтинник приветливые буфетчики буквально навязывали вам закуску: свежую икру, заливную утку, соус кумберленд, салат оливье, сыр из дичи.

— А могли закусить и горяченьким: котлетками из рябчика, сосисочками в томате, грибочками в сметане... Да!!! Слушайте — а расстегаи?!

— Ах, Судаков, Судаков!..

— Мне больше всего нравилось, что любой капитал давал тебе возможность войти в соответствующее место: есть у тебя 50 рублей — пойди к Кюба, выпей рюмочку мартеля, проглоти десяток устриц, запей бутылочкой шабли, заешь котлеткой даньон, запей бутылочкой поммери, заешь гурьевской кашей, запей кофе с джинжером... Имеешь 10 целковых — иди в «Вену» или в «Малый Ярославец». Обед из пяти блюд с цыпленком в меню — целковый, лучшее шампанское 8 целковых, водка с закуской 2 целковых... А есть у тебя всего полтинник — иди к Федорову или к Соловьеву: на полтинник и закусишь, и водки выпьешь, и пивцом зальешь...

— Эх, Федоров, Федоров!.. Кому это мешало?..

— А летом в «Буфф» поедешь: музыка гремит, на сцене Тамара «Боккаччо» изображает... Помните? Как это она: «Так надо холить по-о-чку»... Ах, Зуппе![35] Ах, Оффенбах!..

Восточные человеки наговорились о своих делах, прислушиваются к разговору сенатора и директора завода. Слушают, слушают — и полное непонимание на их лицах, украшенных солидными носами... На каком языке разговор?..

— А «Маскотта»? «Сядем в почтовую карету, скорей»... А Джонсовская «Гейша»?..[36] «Глупо, наивно попала в сети я»...

— Ну!.. А «Луна-Парк»!

— А Айседора![37]

— А премьеры в Троицком или в Литейном!!

— А пуант с Фелисьеном и ужинами под румын, у воды!..

— А аттракционы в Вилла Роде?..

— А откровения психографолога Моргенштерна! Хе-хе...

— А разве лезло утром кофе в горло без «Петербургской газеты»?![38]

— Да! С романом Брешки[39] внизу! Как это он: «Виконт надел галифе, засунул в карман парабеллум, затянулся «Боливаром», вскочил на гунтера, дал шенкеля и поскакал к авантюристу Петко Мирковичу!» Слова-то все какие подобраны, хе-хе...

— А «Сатирикон»[40] по субботам! С утра торопишь Агафью, чтобы сбегала за угол за журналом...

— А премьеры Андреевских пьес... Какое волнующее чувство.

— А когда художественники приезжали...

И снова склоненные головы, и снова щемящий душу рефрен:

— Чем им мешало все это...

Подходит билетер с книжечкой билетов и девица с огромным денежным ящиком.

— Возьмите билеты, господа...

— Мы... это... нам не надо. Почем билеты?

— По пятьсот...

— Только за то, чтобы посидеть на бульваре?! Пятьсот?..

— Помилуйте, у нас музыка...

— Пойдем, Алексей Валерьяныч...

Понурившись, уходят.

У выхода приостанавливаются.

— А наш Летний сад, помните? Эти дряхлые статуи, скамеечки... Музыка тоже играла...

— А «Канавка у Дворца»[41]. «Уж полночь, а Германна все нет»! Какие голоса были!.. Ах, Лиза, Лиза......................
....

— За что они Россию так?..

НЕЧИСТАЯ СИЛА

Несколько слов по поводу этого, которое

Иногда усталому, притомившемуся путнику приходится на ночь остановиться в полуразрушенном замке, пользующемся в окрестностях дурной славой.

— Я вам, сударь, не советую искать ночлега в замке,— предостерегает путника встреченный на дороге поселянин.— Там нечистая сила пошаливает.

Но утомился путник, и не до того ему, чтобы разбирать, нечистая или чистая сила пошаливает в замке.

И вот всходит он по гулким каменным ступеням, покрытым щебнем и мягкой пылью... Луна заглядывает в огромные разбитые окна, а под покрытым черной паутиной потолком бесшумные летучие мыши чертят свои причудливые узоры... А внизу мышеписки, стрекотанье, вздохи и треск — не то рассохшихся половиц, не то неотпетых человечьих костей.

Завернулся усталый путник в свой плащ, лег — и пошло тут такое, от чего волосы наутро делаются белыми, взгляд надолго застывает стеклянным ужасом...

Много всякого выползло, вышагнуло, выпрыгнуло и закружилось около путника в безумном хороводе: незакопанные покойники с веревкой на шее, вурдалаки, нежить разносортная, синие некрещеные младенцы с огромными водяночными головами и тонкими цепкими лапками, похожие на пауков,— шишиги, упыри[1], чиганашки — все, что неразборчивая и небрезгливая ночь скрывает в своих темных складках.

И кажется путнику, что уж нельзя больше выносить этого ужаса, что еще минутка, еще секундочка одна — и разорвется сердце от бешеных толчков, от спазма леденящего страха... Но чу! Что это? В самый последний, в предсмертный момент — вдруг раздался крик петуха — предвестника зари, света, солнца и радости.

Слабый это крик, еле слышный — и куда что девалось: заметалась, зашелестела вся нечисть, вся нежить, запищала последним писком и скрылась — кто куда.

А свет разгорается все больше и больше, а петух поет все громче и громче...

Здравствуй, милый петух!

Это не тот страшный «красный петух», что прогулялся по России от края до края и спалил все живое, это не изысканный галльский шантеклер, возвещающий зарю только в том случае, если ему будут уплачены проценты по займам и признаны все долги; это и не тот петух, после пения которого ученик трижды отрекся от своего Божественного Учителя [2].

Нет, это наш обыкновенный честный русский петух, который бодро и весело орет, приветствуя зарю и забивая своим простодушным криком осиновый кол в разыгравшуюся в ночи нечистую силу.

Еще клубятся повсюду синие некрещеные младенцы, вурдалаки, упыри и шишиги — но уже раскрыт клюв доброго русского петуха — вот-вот грянет победный крик его!

....

....

А что это за нечистая сила, разыгравшаяся на Руси, — тому следуют пункты.

Аркадий Аверченко

Наваждение

Вы, которым шестьдесят лет, или даже вы, которым сорок лет, или даже вы, молокососы, которым только двадцать лет, — вы помните, как жила вся необъятная Россия совсем еще недавно?

Ну, как же вам не помнить: ведь прежняя жизнь складывалась столетиями, и не скоро ее забудешь!

Каждый день вставало омытое росой солнышко, из труб одноэтажных домиков валил приветливый дымок, с рынка тащились хозяйки, тяжело нагруженные говядиной, хлебом, овощами и фруктами, — все это за рубль серебра, а если семья большая, примерно из 6 или 7 душ, — то и все полтора рубля оставляла хозяйка на грабительском рынке. Немало бывало и воркотни:

— Проклятые купчишки опять вздули цену на сахарный песок, вместо 13 с половиной дерут по 14 копеечек — мыслимо ли этакое? А к курице прямо и не приступись: шесть гривен за такую, что и смотреть не на что!

Веселой гурьбой рассыпались по городу школьники, и пока еще были 5—10 минут свободных до звонка — с озабоченными лицами производили покупки для своего многосложного обихода: покупали бублик за копейку, маковник за копейку, вареное яйцо за копейку, перо за копейку,— и только трехкопеечная тетрадь надолго расстраивала и расшатывала весь бюджет юного финансиста. Единственное, что служило ему утешением,— это что за те же три копейки тороватым продавцом к тетради прилагалась бесплатно переснимочная картинка; картинка эта очень скоро при помощи сложного химического процесса, в котором участвовала слюна и указательный палец,— занимала почетное место в углу первой страницы Малинина и Буренина[3].

Из всех кузниц, из всех слесарных мастерских с самого раннего утра неслось бодрое постукивание — не диво ли? Кузнецы, слесаря, медники работали! А в другом месте свистящий рубанок плотника ловко закручивал причудливую, вкусно пахнущую, сосновую стружку, а в третьем месте замасленный извозчик до седьмого поту торговался с прижимистым седоком из-за медного — о, настоящего медного — пятака:

— Веришь совести, сударь мой — сено-то нониче почем? По сорок копеек за пуд дерут оглоеды!

А в четвертом месте каменщики по постройке дома уже успели пошабашить на обед, и — любо глядеть, как огромная корявая лапа, истово перекрестив лоб, тянет из общей миски ложку каши едва-едва не с полфунта весом.

А в пятом месте «грабители-купчишки», успев сделать неслыханное злодеяние — взвинтить на полкопейки цену за сахарный песок,— уже выдули по громадному чайнику кипятку ценой в копейку и уже уселись за вечные шашки со своими «молодцами» или с соседним грабителем-купчишкой.

Из окон белого домика с зеленой крышей несутся волны фортепианных пассажей, причудливо смешиваясь с запахом поджаренного в масле лука и визгом ошпаренной кухаркой собачонки,— и даже полицеймейстер занят делом: приподнявшись с сиденья пролетки и стоя одной ногой на подножке, он распекает околоточного за беспорядок: у самой обочины тротуара лежит труп кошки с оскаленными зубами.

Да что там полицеймейстер? — даже городской сумасшедший, дурачок Трошка, выдумал себе работу: набрал

в коробочку щепочек, обгорелых спичек, старых пуговиц и зычно кричит на всю площадь:

— А вот ягода садовая, а вот фрукта! Здравия желаем, ваше превосходительство!

Солнце парит, петухи, окруженные вечно голодным гаремом, чуть не по горло зарылись в пыль в поисках съестного — и только одни лентяи и оболтусы стрижи носятся в знойном воздухе безо всякого смысла и дела.

А в воскресный день картина была иная — помните?

Нет уж кузнечных и слесарных стуков, над городом нависла прозрачная стеклянная праздничная тишина, и тишину эту только изредка разбивает густой басистый звон колокола соборной церкви; и, пролетев над городом, звон этот долго еще стелется гудящими волнами над прозрачной, как стекло, застывшей в зное прозрачного дня речкой, окаймленной осокой и вербами...

Тихо тут, и даже терпеливый воскресный рыболов, имеющий свои виды на пескаря или ершишку, — и тот не нарушает мертвой торжественной тишины — разве что иногда звучно вздохнет от напряженного ожидания.

А в городе так празднично, что прямо сил нет: у школьников накрахмаленные парусиновые блузы топорщатся, у каменщиков кумачовые праздничные рубахи топорщатся, волосы смочены лучшим лампадным маслом, лица с утра, пока не выпито, деревянно-торжественно-благоговейные, и даже праздничный полицеймейстер в парадном праздничном мундире накрахмален вместе с лошадью, кучером и пролеткой.

Сегодня он не ругается — только что у обедни благоговейно приложился к кресту и к руке отца протопопа — шутка ли?

А девушка из зеленого домика ради праздника, вместо гамм и упражнений, разрешила себе не только «Молитву Девы», но даже кусочек «Риголетто». А юная сестра ее с томиком Тургенева в руке тихо и чинно шагает в тенистый городской сад, и золотая коса, украшенная пышным лиловым бантом, еще больше золотится и сверкает на летнем воскресном солнце, а лицо — под полями соломенной шляпы — в тени, и такое это милое девичье русское лицо, что хочется нежно прильнуть к нему губами или просто заплакать от тихой сладкой печали и налетевшей откуда-то тоски неизвестного, неведомого происхождения.

В трактире Огурцова душно, накурено, пахнет пролитой на прилавок водкой и прокисшим пивом, но весело необыкновенно!

Гудит машина, и весь рабочий народ, как рой пчел, сгрудился около прилавка и за столиками, уставленными неприхотливой снедью: жареной рыбой, огурцами, битками с луком, яичницей-глазуньей, ценой в пятиалтынный,— и целым океаном хлеба: черного, белого, пеклеванного — на что душа потянет.

Тяжелые стаканчики толстого зеленого стекла то и дело опрокидываются в отверстые бородатые, усатые пасти... Пасти крякают, захлопываются, а через секунду огурец звучно хрустит на белых, как кипень, зубах.

Да позвольте! Как же рабочему человеку не выпить? Оно и не рабочему хорошо выпить, а уж рабочему и Бог велел.

Благословляю вас, голубчики мои,— пейте! Отдыхайте. Может быть, гармошка есть у кого? А ну, ушкварь, Вася! Расступись шире ты, православный народ! А ну, Спирька Шорник, покажи им где раки зимуют — не жалей подметок — жарь вовсю — Фома Кривой за целковый новые подбросит. Эх, люди-братие! Поработали вы за недельку — так теперь-то хоть тряхните усталыми плечами так, чтобы чертям было тошно! Эй, заворачивай-разворачивай! Ой, жги-жги-жги, говори!!

Пляшет Спирька, как бес перед заутреней, свирепо терзает двухрядку Вася, так что она только знай поеживается, да хрюкает, да повизгивает, а из собора, отстояв позднюю обедню, важно бредет восвояси купец с золотой медалью на красной ленте у самого горла под рыжей бородой. Не менее важно рядом с ним вышагивает кум-посудник, приглашенный на рюмку смородиновки и на воскресный пирог с рыбой, вязигой, рисом, яйцами — с чертом в ступе...

Праздничные сумерки тихо опустились над притихшим городом...

В садиках под грушей, под липой, под кленом — кое-кто пьет вечерний чай с вишневым, смородиновым или клубничным вареньем; тут же густые сливки, кусок пирога от обеда, пузатый графин наливки и тихий усталый говор... Через забор в другом садике наиболее неугомонные сговариваются насчет стуколки, а поэтичный казначейский чиновник сидит на деревянном крылечке и, вперив задум-

чивые глаза в первые робкие звезды, тихо нащипывает струны гитарные...

Тссс... засьшает городок. Пусть: не будите, завтра ведь рабочий день.

Так вот и жили мы — помните?

Даже вы, двадцатилетние молокососы – нечего там должны это помнить...

* * *

И вдруг — трах-тара-рах! Бабах!!!

Что такое? В чем дело? Угодники святые!

Кто это перед нами стоит, избочась и нагло поблескивая налитыми кровью глазами? Неужели ты, Спирька Шорник? Владычица Пресвятая, Казанская Божья Матерь!! В чем же дело?

– А у том, собственно, — цедит сквозь зубы пренебрежительный Спирька, — что никакой Владычицы, никакой Казанской и нет, и все это был один обман и народная тьма. А есть Циммервальд и есть у нас один вождь красного пролетариата, краса и гордость авангарда мировой революции — Лев Давидович Троцкий! Отречемся от старого ми-и-ра...

Вот тебе и пирог с вязигой!

Было праздничное богослужение, народ трепетно прикладывался к кресту, а теперь взяли ни с того ни с сего и вздернули пастыря на той самой липе, под которой так хорошо пили чай со сдобными булочками, с малиновым и смородиновым вареньем.

И какое там к черту малиновое варенье, когда кислое повидло с тараканами 1500 рубликов фунт стоит.

А Спирька уже не шорник, а председатель Совдепа, назначенный самим Совнаркомом, и скоро, поговаривают, будет назначен главкомвоенмором.

Позвольте, при чем тут главкомвоенмор? А где та девушка с золотой косой и томиком Тургенева под мышкой? Помните, та, что шла воскресным утром в тенистый городской сад?

— А! Неужели не слышали? Ее вместе с отцом, председателем Казенной палаты, доставили за контрреволюцию в чрезвычайку, а когда она выразила несогласие с системой допроса избитого отца — ее, как говорит русская пословица: «при попытке бежать застрелили».

— Опомнитесь! Есть ли у вас Бог в душе!

— Говорят же вам, что декретом Совнаркома Бог отменен за мелкобуржуазность, а вместо него — не хотите ли Карла Либкнехта плюс Роза Люксембург — многие одобряют!

Да, чуть не забыл! Казначейский-то чиновник... Помните, что еще играл по вечерам на гитаре...

— Ну? Ну?!!

— Уже не играет на гитаре. Разбили гитару об голову за отказ выдать ключи от казначейской кассы.

— Кто же это разбил?

— Председатель Совнархоза.

— Это что еще за кушанье?!

— Помилуйте! Совет народного хозяйства. Всем продовольствием ведает.

— Да ведь продовольствия нет?!

— Это точно, что нет. А Совнархоз есть, это тоже точно.

Дивны дела твои, Господи. Тащила хозяйка за рубль серебра с рынка и говядину, и мучицу, и овощь всякую, и фрукту — и не было тогда Совнархоза. Волос дыбом, когда подумаешь, как по-свински жили — безо всякого Совнархоза, без Агитпросвета и Политкома обходились, как дикари какие-то... Убоину каждый день лопали, пироги, да поросенка, да курчонка ценой в полтину.

А нынче Спирька — главкомвоенмор, всюду агитпросветы и пролеткульты... У барышни, игравшей по воскресеньям «Молитву Девы», рояль реквизировали, школьники, бездумно переводившие намоченными пальцами переснимочные картинки, передохли от социалистической голодухи, а купца с медалью на красной ленте просто утопили в речке за то, что был «мелкий хозяйчик и саботировал Продком».

Каменщики уже не работают, плотничьи рубанки уже не завивают прихотливых стружек, а кузнецы если и постукивают, так не по наковальням, а по головам несогласного с их платформой буржуазиата.

И не стрижи уже весело вьются, носятся над тихим городом... Имя этим новым, весело порхающим по городу птичкам иное — вороны, коршуны-стервятники. Вот уж кто питается — так на совесть!

Вот уж кому обильный Продком устроен!

Суммируя все вышесказанное — что, собственно, случилось?

В лето 1917-е приехали из немецкой земли в запечатанном вагоне некие милостивые государи, захватили дом балерины[4], перемигнулись, спихнули многоглаголивого господина[5], одуревшего от красот Зимнего дворца, спихнули, значит, и, собрав около себя сотню-другую социалистически настроенных каторжников, в один год такой Совдеп устроили, что в сто лет не расхлебаешь.

Сидел Спирька Шорник у себя в мастерской, мирно работал, никого не трогал — явились к нему:

— Брось, дурак, работу — мы тебя главкомвоенмором сделаем. Грабь награбленное!

— А ежели Бог накажет?

— Эва! Да ведь Бога-то нет.

— А начальство?

— Раков в речке кормит.

— Да как же, наша матушка Расея...

— Нету матушки Расеи. Есть батюшка Интернационал.

— Да ну! Комиссия отца Денисия!

— Ну, брат, теперь комиссия без отца Денисия. Аки плод на древе, красуется колеблемый ветром отец Денисий.

Крякнул только Спирька, натянул на лохматую голову шапчонку и, замурлыкав пророческий псалом:

«Эх, яблочко... куда котишься?» — пошел служить в комиссию без отца Денисия.

Покатился.

* * *

Ну что, голубчики-русские... Обокрали нас, а! Без отмычек обокрали, без ножа зарезали...

И когда при мне какой-нибудь слащавый многодумец скажет:

— Что ни говорите, а Ленин и Троцкий замечательные люди...

Мне хочется спихнуть его со стула и, дав пинка — ногой в бок, вежливо согласиться с ним:

— А что вы думаете! Действительно, замечательные люди! Такие же, как один из учеников Спасителя мира — тоже был замечательный человек: самого Христа предал.

Так уж если Христа, самого Бога, человек предал, то предать глупую, доверчивую Россию куда легче.

* * *

И когда снова Спирька возьмется за свои седла и уздечки, когда снова ароматная сосновая стружка завьется под рубанком плотника, когда купец будет торговать, а не плавать, как тюлень, в проруби, когда тонкие девичьи пальцы коснутся клавиш не подлежащего реквизиции рояля, и хозяйки побредут с рынка, сгибаясь не под тяжестью ненужных кредиток, а под благодетельной тяжестью дешевых мяс, хлебов и овощей, когда неповешенный пастырь благословит с амвона свое трудящееся мирное стадо, когда в воскресном воздухе понесутся волны запахов пирогов с вязигой, ароматной вишневки, когда вместо зловещего коршунья и воронья — в синем, теплом воздухе снова закружатся стрижи — я скажу:

— Велик Бог земли Русской!.. Мы три года метались в страшном, кошмарном сне, и земной поклон, великое спасибо тем, которые, взяв сонного русака за шиворот, тряхнули его так, что весь сон как рукой сняло. Тряхнули так, что, как говорится, «аж черти посыпались».

Голубеет небо, носятся, как угорелые, стрижи, плывет святорусский звон колокола, и прекрасная белокурая девушка — символ новой, но вечно старой России — снова идет с книжкой в уютный тенистый сад, где ласково кивают ей зеленеющие ветви:

— Милости просим: отдохни, девушка!

Слава в вышних Богу, на земле мир, в человецех благоволение...

— Отдохни, девушка.

Ах, как мы все устали, и как нам нужно отдохнуть.

И тем нужно отдохнуть, что бежали, преследуемые, и тем, что по канавам валялись расстрелянные, и тем, что гнили по чрезвычайкам, избитые, оплеванные, униженные грязной продажной лапой комиссара.

И этим нужно отдохнуть — вот этим самым комиссарам — всем этим Лениным и Троцким, Зиновьевым, Каменевым, Луначарским, Дыбенкам — имена же их ты, диаволе, веси[6] — и они поработали усердно и имеют право на сладкий отдых...

И отдых им один, отдых до конца дней их, до тех пор, пока огонек жизни будет теплиться в них:

«Отдых на крапиве!..»[7]

Добрые друзья за рамсом

Мы, обыкновенные люди, так уж устроены, что не любим ничего абстрактного. Нам подавай конкретное, покажи нам такое, чтобы мы могли не только пощупать собственными руками, а, пожалуй, еще и понюхать, а, пожалуй, еще и лизнуть языком: «Сладко ли, мол? Не кисло ли?»

Вот только тогда мы, действительно, всеми чувствами нашими поймем, «що воно таке».

Например, я: сколько ни читал сухих, очень дельных исторических монографий об Екатерине Второй и Потемкине — все пе мог себе живо представить: что это были за люди во плоти и крови?

Сухая передача их дел и подвигов ни капельки не волновала меня и не заставляла работать мое воображение.

И представились они мне ясно, во весь рост, только тогда, когда я прочитал следующие несколько строк, брошенных вскользь русским писателем.

О Потемкине... «Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественного роста, довольно плотный человек в гетманском мундире, в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немножко крив, на лице изображалась надменная величавость, во всех движениях была привычка повелевать»[8]. И дальше: «Потемкин молчал и небрежно чистил небольшой щеточкой свои бриллианты, которыми были унизаны его руки».

То же и об Екатерине II: «...Вакула осмелился поднять голову и увидел стоящую перед собой небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами и вместе с тем величественно улыбающимся видом...— «Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я еще не видала»,— говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев». И дальше: «Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца...»

Всего несколько пустяковых штрихов — и обе фигуры стоят передо мной, как живые.

* * *

Сейчас — нет спору — в России две самых интересных фигуры — Ленин и Троцкий. И за ними еще две — Горький и Луначарский.

А как мы можем их себе представить конкретно, этих живых людей, которые ходят, говорят, едят и любят?

Не по сухим же советским сводкам, не по очередному же выступлению Троцкого в ЦИКе, не по бескровным же унылым и вялым фельетонам Горького и Луначарского.

Поэтому и отношение у нас к ним такое, как к героям отечественной сказки, происходящей в некотором царстве, в тридевятом государстве, где бесшумно и бесплотно бродят какие-то абстрактные символы.

Нет, ты возьми каркас, скелет их возьми, да обложи его мясом, да перетяни сухожилиями, да обтяни кожей, да наполни живой теплой кровью, да заставь их ходить и говорить — вот я тогда сразу представлю себе, что такое Троцкий и Луначарский.

Да моему сердцу одна пустяковая фраза Ленина, оброненная мимоходом: «Товарищ Марфушка, ты опять к столу теплый монополь-сек подала? Ну, что мне с тобой, дурищей, делать?!» — скажет больше, чем целая его декларация о текущем моменте, произнесенная на съезде перед сотней партийных дураков!..

И поэтому я иногда сам, для собственного удовольствия, представляю — как они там себе живут?

Одно лицо, приехавшее из Совдепии и заслуживающее уважения, рассказывая о тамошнем житье-бытье, бросило вскользь фразу:

— С Горьким у них дружба. Луначарский по вечерам ездит к Горькому в рамс играть. Иногда и Троцкий заезжает. Выпьют, закусят...Жизнь самая обыкновенная.

Стоп! Довольно. Больше ничего не надо.

Схватываю двумя пальцами эту маленькую закорючку хвостика и вытаскиваю на свет Божий конкретную картину.

* * *

Кабинет Максима Горького. Зимний вечер.

По мягкому ковру большими неслышными шагами ходит Горький, и спустившаяся прядь длинных прямых волос в такт шагам прыгает, танцует на квадратном лбу. Руки спрятаны в карманы черной суконной куртки, наглухо застегнутой у ворота, весь вид задумчивый.

На оттоманке в углу уютно устроилась с вязаньем жена его — артистка Андреева[9], управляющая ныне всеми столичными театрами.

— О чем задумался? — спрашивает Андреева.

— Вообще, так... Сегодня на Моховой видел человека мертвого: не то замерз, не то от голода. И все проходят совершенно равнодушно, а многие, вероятно, думают: завтра свалюсь я — и пройдут другие мимо меня так же равнодушно. Ужас, а?

— Сегодня ждешь кого-нибудь?

— Да, Луначарский звонил, что заедет. Троцкий с заседания обещал завернуть. Кстати, у нас закусить чего-нибудь найдется?

— Телятина есть холодная, куском. Макароны могу велеть сварить с пармезаном. Рыба заливная... Ну, консервы можно открыть. Сыр есть.

— А вино?

— Вино только красное. Портвейну всего три бутылки Впрочем, водки почти не начатая четверть, та что на лимонной корке настоял... А! Анатолий Васильевич... Забыли вы нас: три дня и глаз не казали. Нехорошо, нехорошо.

В дверях стоял, сощурив темные близорукие глаза, Луначарский и, облизывая языком ледяную сосульку, повисшую на рыжеватом усе, усиленно протирал запотевшее в жаркой комнате пенсне.

— Холодище,— пробормотал он хрипловатым баритоном.— Я думаю, градусов 20. Мерзнет святая Русь, хе-хе. Ну, что ж нынче — сразимся? Только если вы мне вкатите такой же ремиз, как третьего дня,— прямо отказываюсь с вами играть.

— А что же ваша супруга? — любезно спросила Марья Федоровна, складывая рукоделие.

— Да приключение с ней неприятное. Так сказать: приключилось маленькое инкоммодите![10] Пошла вчера вечером пешком из театра — прогуляться ей, вишь, захотелось. Это при двух-то автомобилях! — в темноте споткнулась на какой-то трупище, валявшийся на тротуаре, упала и все плечо себе расшибла. Такой синяк, что...

— Какой ужас! Компресс надо.

— Не по Моховой шла? — задумчиво спросил Горький.

— Ну, где именье, где Днепр!.. При чем тут Моховая? А Лев Давидыч будет?

— Обещал заехать после заседания. А здорово, знаете, он играет в рамс. Умная башка!

— А жарковато у вас тут! Ф-фу!

Да... Маруся любит тепло. Это у нее еще из Италии осталось.

— Анатолий Васильевич! Могу сообщить вам новость по вашей части: у нас почти весь сахар кончился.

— Отложил для вас полтора пудика. А мука как, что вчера послал,— хороша?

— О, прелесть. Настоящая крупчатка. Где это вы такую достали?

— А мне знакомые латыши спроворили. Очень полезный народ. Все как из-под земли достают. Например, не бите малороссийскую колбасу?..

— Злодей! Он еще спрашивает!

— Слушаюсь! Будет. А вот и наш Леон Дрей. По гудку узнаю его автомобиль.

В кабинет вошел, молодцевато подергивая обтянутыми в коричневый френч плечами, Лев Давидыч Троцкий. На крепких бритых щеках остался еще налет тающего инея, желтые щегольские гетры до колен весело поскрипывали при каждом шаге.

— Драгоценная Мария Федоровна! Ручку. Здорово, панове! А я, простите, задержался — на пожаре был.

— Где пожар?

— На Глазовой. Эти канальи от холода готовы даже дома жечь, чтобы согреться. Я двух все-таки приказал арестовать — типичные поджигатели.

— Ну, не будем терять золотого времени, — хлопотливо пробормотал Луначарский, посматривая на золотые часы.

— Кстати, Левушка, об аресте... Помнишь, я тебя просил за того старика профессора, что сдуру голодный бунт на Петроградской стороне устроил? Выпустили вы его?

— Ах, да! К сожалению, поздно ты за него попросил. Звоню я в чрезвычайку на другой день, а его только что израсходовали. Еще тепленький.

— А, черт бы вас разодрал! И куда вы так вечно спешите. Ведь совершенно безобидный старик. Три дочери от голодного тифа скапустились. Он и того... Кому сдавать? Вам, Алексей Максимыч. Так-с. Я не покупаю. Ну, зайдем с валетика, что ли. А это как вам понравится? А это!! Хе-хе... Все пять — мои; пишите ремизы.

Вошла горничная.

— Домна спрашивает — телятину подогреть?

— Наоборот, — поднял голову от карт Алексей Максимыч.— Красное вино подогрей, а телятина пусть холодная. С огурчиком.

* * *

— Господа, пожалуйте закусить. Вам телятинки сначала, рыбки или макарон? Рюмочку лимонной! Сам настаивал, хе-хе.

* * *

Так они и живут, эти приятели, так дорого обошедшиеся России.

Город чудес

Написано Аркадием Аверченко при любезном содействии его коллеги Герберта Джорджа Уэллса, эсквайра

Получив соответствующее разрешение, компания американских миллионеров-предпринимателей выпустила на купленный за чертой города участок земли целую тучу архитекторов, инженеров и, главное, специалистов по всем отраслям предполагаемого предприятия — самым мельчайшим.

Весь участок обнесли высочайшим забором, и только на южной стороне ограды были проделаны монументальные ворота с огромной вывеской, на которой горела и сверкала всеми цветами радуги огненная надпись:

«Город Чудес».

А ниже:

«День пребывания в Городе Чудес и осмотра его стоит 5 миллионов руб. Спешите! Лучшая аттракция мира! Важно для русской „взыскующей града“ души!!».

Беспрерывная адская работа кипела 3 месяца.

Наконец последняя гайка была привинчена, последний гвоздик вбит куда следует — и предприятие было объявлено открытым для широкой публики.

* * *

Беря у входной кассы билеты и платя за них жирную пачку керенок в пятьдесят тысяч, Иван Николаевич Трошкин говорил своему другу Филимону Петровичу Грымзину:

— То есть, знаешь, — если бы не так дорого драли, — ни за что бы не пошел!

— Еще бы,— рассудительно поддакивал Грымзин,— этакие деньжища не жалко и заплатить.

— Чего это они нам покажут?

— Говорят тебе — Город Чудес. Значит, чудеса будут — ясно!

— Пожалуйста сначала в контору, ваше сиятельство,— сказал швейцар, снимая фуражку и изгибаясь в три погибели.

— Слышь ты,— толкнул локтем приятеля Грымзин.— Чудеса, брат, уже начались. «Сиятельством» назвал.

В конторе щеголевато одетый клерк почтительно вручил им какую-то проштемпелеванную бумажку и указал на кассовое окошечко:

— Там получите деньги на расходы!

И когда кассир пододвинул им столбик золотых монет, рублей на двести, на столько же романовских и целую кучу серебряных рублей и мелочи — оба друга только промычали что-то и, боясь громко ступать по вылощенному паркету, направились к выходу.

Вдруг Трошкин застыл перед огромным, висящим на стене отрывным календарем и, не могши вымолвить слова, только головой дернул:

— Смотри!

На календаре было: «1908 год. 18 августа».

— Виноват,— робко обратился к клерку Трошкин.— Какое у нас сегодня число?

— 18 августа.

— А... год?

— Неужели не знаете? 1908-й. Тут же написано.

— Ну-ну,— покрутили головой друзья.

Вышли. Ошарашенные, зашагали по городу.

По улице мчался мальчишка, оглашая воздух неистовыми воплями:

— Ин-те-рресные газеты: «Новое Время», «Русское Слово», «Речь»!! «Биржевка»!![11]

— Постой, постой! За какое число «Новое Время»?

— Ясно — за сегодняшнее.

— Сколько тебе?

— Две за «Биржевку», пятак за «Новое Время»!

— Ф-фу!! Зайдем-ка в кафе, почитаем. Барышня! Два кофе по-варшавски, полдесятка пирожных. Ну-ка, что они там пишут?.. Гм! Статья Меньшикова[12]:

«Сколько раз мы уже твердили о том, что Финляндия готова предать Россию в первый же удобный момент. Ев-

рейская левая пресса, которая спит и видит — поднять в России революцию...»

— А посмотри хронику.

— Изволь. «Его Величество Государю императору имели высокую честь представляться представители тамбовского дворянства. Выслушав речь предводителя дворянства, Его Величество соизволил ответить: «Рад слышать, что тамбовские дворянские традиции остались неизменны».— «Увольняется в полугодовой отпуск д.с.с. Криворучко».— «Орденом Станислава 3-й ст. награждается старший советник градоначаль...»

— Буренинский фельетон есть?

— Все на своем месте.

— Кого ругает-то?

— Валерия Брюсова.

— А, брат Ваня? Каково! Времена-то какие!..

— Барышня, получите. Сколько? 75 копеек? Дороговато. Хи-хи!

Вышли. На улице их внимание привлекла масса зеленых и розовых билетиков, наклеенных на парадных дверях.

— Чего это, Ваня?

— Квартиры все сдаются. Время осеннее скоро — сам понимаешь!.. А это что за вывеска... Во, брат! «Доминик». Зайдем... А? У буфета по рюмочке... А? С пирожком, а?

У буфетного прилавка толпилось много делового народа.

— Я,— говорил один другому,— могу продать вам вагон сахару по четыре с полтиной за пуд.

— Ваня... Что же это?

— Статисты, нешто не понимаешь. Для нас все эти разговоры. Для нас поставлены. Да-с — не зря деньги содрали. Буфетчик! Пирожки-то свежие?

— Помилуйте! Вам ординарную или двуспальную, за гривенник?

— Ваня! Обедать хочу, шампанского хочу, музыки хочу! Всего хочу. Деньжищ-то у нас уйма. 498 с полтинником осталось. Это из пятисот-то, Ваня. Спервоначалу обедать, потом в театр, потом в шантан.

Вышли. Пошли к «Медведю». Пообедали. Снова вышли.

— Ваничка, голубчик мой!!! Ей-Богу, городовой стоит. Ваня, пойдем поцелуем. Не могу я видеть равнодушно. Стоит, голубчик, глазками смотрит. Гор-родовой!!

Не спеша приблизился городовой.

— Чего орешь зря? В участок захотел?

— Ваня... Слова-то какие: «орешь», «участок»!.. Городовой! Я протестую. Почему у вас не старая жизнь? Почему вы новые революционные порядки вводите?

Лицо городового приняло сразу новый, интеллигентно-испуганный вид.

— Что вы, мистер? Этого у нас не может быть. Помилуйте, наша фирма...

— А вон, почему на углу очередь стоит? Разве в хорошее время очередь стояла?

— Это же на Шаляпина, сэр, всегда бывала, сэр.

И тут же вызверился на проезжавшего извозчика:

— Я т-тебе покажу, дьявол желтоглазый... Не знаешь, какой стороны держаться?! Экие шалманы!..

— Барин, пожалуйте за четвертачок... Куда надо?

— Ваня! Изнемогаю от счастья. Три бутылочки шампанского мы с тобой охолостили, а я изнемогаю не от шампанского, а от радости бытия, Ваничка... Ваня, в театр бы ахнуть!..

С таинственным видом приблизился барышник.

— Билетиков у кассы не достанете. Желаете у меня? Второго ряда, вместо восьми целковых — десять только и возьму. Пожалуйте-с.

В театре Филимон Петрович снова ахнул:

— Ваня! Кто это там с хором на сцене на коленках стоит? Неужто ж Шаляпин?! Ах, голубчик ты мой! Это значит Высочайшее-то присутствие, а? Что делается... Все, как раньше... Ах, молодчины американцы!

И с переполненным сердцем влез Ваня на стул и завопил радостно:

— Товарищи... Нет, извините, к черту товарищей... Граждане!! Жертвую от полноты чувств на американский красный крест сто тысяч!!

Подошел капельдинер. Снял Ваню со стула и внушительно шепнул:

— Сэр! Вы, очевидно, не рассчитали. Сто тысяч золотом, — а других денег мы не признаем! — там за оградой будут стоить миллиард вашими... Опомнитесь.

И сел Ваня на стул, и горько заплакал Ваня...

В красивую, полную пышной грезы и блеска, жизнь — ворвалась пошлая, тяжелая проза, и сразу потускнела вся американская позолота, и сделался жалким комедиантом

стоящий на коленях актер, так великолепно загримированный Шаляпиным...

Отрывок будущего романа

(Написано по рецепту «Алой Чумы») [13]

В тысяча девятьсот таком-то году большевики наконец завоевали всю Россию. Вне их власти остался только Крым, который и висел небольшим привеском на неизмеримом пространстве холодной и голодной Совдепии, как болтается несъедобный золотой брелок на огромном брюхе голодного, отощавшего людоеда.

Что касается окружающих государств, то они выстроили по всей границе высокую крепкую стену, напутали на гребне ее колючей проволоки и вывесили огромные плакаты через каждые пятьсот шагов:

«Вход посторонним строго воспрещается».

Совдепия была предоставлена самой себе.

Ни ввоза, ни вывоза; ни торговли, ни промышленности; ни законов Божеских, ни законов человеческих; ни наук, ни искусств...

Как человеческая голова, которую заботливая рука не стрижет, не бреет и не моет,— постепенно зарастает дремучим волосом и наполняется тучей насекомых,— так и бывшая Россия как-то заросла дремучими лесами, высокой травой, и в лесах и в траве развелось неисчислимое количество волков и медведей, лосей, зубров, лисиц и оленей...

Иногда стадо диких свиней смело перебегало заброшенный, запорошенный многолетней пылью, заросший маками и кашкой, ржавый рельсовый путь, иногда зоркая рысь, притаившись в мрачной развалине фасада ситценабивной или бумагопрядильной фабрики, часами подстерегала серого зайчишку; орлы вили гнездо в поломанных, лишенных стекол трубах разрушенных обсерваторий... А в стенах бывшего Московского университета свила гнездо страшная шайка разбойников-китайцев, от которых трепетала вся округа.

Население разделялось на три резко обособленных касты или племени: племя совнаркомов, племя исполкомов и племя трудообязанных...

Племя совнаркомов состояло всего из одного человека: неограниченного правителя Совдепии Миши I, сына покойного

неограниченного правителя Льва I, из рода Троцких. Монархический принцип вводился постепенно и так незаметно, что никто даже не почухался, когда Льва I похоронили в усыпальнице московских государей.

Племя исполкомов было нечто вроде воевод — оно правило. Каждый исполком состоял из одного человека и отчитывался только перед совнаркомом Мишей I.

Племя трудообязанных работало, сеяло хлеб, охотилось на зубров, шило одежды из звериных шкур и курило вино, за что получало от исполкомов право на жизнь и одну треть сработанного в свою пользу. Другая треть шла исполкому, третья — совнаркому Мише.

Население городов жило в землянках или юртах из оленьих шкур, остальные спали в дуплах вековых деревьев, в пещерах или просто шатались по степи, подстерегая диких кабанов и медведей.

* * *

Стоял тихий погожий вечер лета 1950 года... На опушке огромного леса у развалины корня высокой корявой сосны весело пылал костер, вокруг которого расположились трое: сухая, коричневая сморщенная старуха, завернутая в лохмотья засаленной плюшевой портьеры, и двое мальчишек, задрапированных волчьими шкурами. Каждый из них был вооружен топориком из остро отточенного кремня, насаженного на дубовую палку.

— А где старший брат? — спросила старуха, обгрызая желтыми зубами волчью кость.

— Мы его делегировали на пленарное заседание Совнархоза. Люди нашего племени поймали нескольких эсеров-интернационалистов. Теперь идут дебаты о том — съесть ли их или выменять на некоторых из нашей коммунистической ячейки, попавших в плен к интернационалистам.

— О, наказание! — воскликнула старуха. — И когда эта проклятая война кончится?! Эх, если бы он хоть кусочек этого интернационалиста домой принес.

— Да, дожидайся, — проворчал внук. — Помнишь того англичанина, который семь лун тому назад перелетел к нам через стену на какой-то странной штуке... Поймали его наши и тут же слопали — даже полпальца не принесли... А когда отец с охоты вернется?

— Солнце шести раз не покажется на востоке, как он будет здесь. Исполком дал ему определенный мандат. Что это у тебя в руках?

— А я, когда на куропаток силки ставил, нашел в лесу... Что-то вроде ореха, да я никак не мог разгрызть.

— Покажи-ка,— с любопытством попросила старуха.— Да это гайка!!

— Что это значит: гайка?

— Этими штуками когда-то рельсы скреплялись.

— Какие рельсы?

— Железная дорога. Из железа.

— Какое странное слово: железо.

— Да ты ж видел у меня в числе фамильных драгоценностей гвоздь? Знаешь, такой стержень со шляпкой. Это и есть железо.

— Да как же из этого можно целую дорогу сделать? В землю эти гвозди один около другого вколачивались, что ли?

Старуха заметила, что внук слишком далеко хватил, и усмехнулась:

— Ну, брат, это ты, действительно, ахнул. Из железа делались рельсы... Такие длинные-предлинные палки... И по ним быстро бегали железные дома, в десять раз больше нашего.

— Сколько же лошадей нужно было для этого?!

— Зачем лошади? Воды в котел нальют, дровец подбросят, оно и летит — никакой лошади не догнать.

— Кто ж это делал?

— Инженеры.

— Они вкусные?

— Не знаю, не пробовала. Когда я была молодая — за меня один инженер сватался.

— Чего-о?

— Ты этого слова не поймешь. Жениться хотел. Руку мне свою предлагал. Я отказалась.

— Вот дура-то старая. От руки отказалась! Взяла бы и съела. Она нежная.

— Ох, как с вами трудно разговаривать!

И потом мечтательно улыбнулась:

— Он мне записки писал...

— Что это значит: «писал»?

— Брали такую палочку с железной штучкой на конце, обмакивали в черную краску и делали на бумаге знаки.

— Какое смешное слово: бумага.

— Да ты разве не видел? У меня в числе фамильных драгоценностей один трамвайный билет есть. Если поймаешь зайца — покажу.

Наступило молчание. Костер тихо потрескивал, догорая.

Один из внуков потянулся, засмеялся и сказал:

— Вчера новый приезжий, кооптированный от Пролеткульта, чуть не женился на нашей соседке: схватил за волосы и потащил в лес.

— Что ж ее прежний жених?

— Он вынес резолюцию протеста, осуждающую это самочинное выступление без мандата от исполкома.

— А формула перехода к очередным делам?

— Обыкновенная: зарезал приезжего топориком, а невесту привязал к дереву и содрал скальп.

— Какая прелесть! Совсем роман!

— Чего-о-о-о?..

Но старуха молчала, задумавшись о прошлом...

Все было безмолвно, только слышался далекий олений рев в чаще да порсканье охотившейся за совой рыси на опушке.

Международный ревизор

Начало комедии

Действие происходит в Москве в кремлевских палатах.

Троцкий. Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет международная комиссия!

Луначарский. Как комиссия?!

Петерс. Как комиссия?!

Ленин. Вот не было заботы, так подай!..

Троцкий. По своей части я кое-какие распоряжения сделал — советую и вам. Особенно вам, Петерс! Комиссия, конечно, захочет осмотреть чрезвычайки — так уж сделайте так, чтобы все было прилично. А то у вас на заключенных посмотреть страшно: худые, голодные, в синяках и кровоподтеках.

Петерс. Кровоподтеки белилами замазать можно.

Троцкий. Ну, да уж я не знаю, что там полагается. Можно бы также всех заключенных одеть в боярские ко-

стюмы и чтобы они, как придет их осматривать комиссия,— проплясали бы перед комиссией русскую. Хотя... как мы их заставим?..

Петерс. Это можно. Я им надену сапоги с гвоздями внутри. Уж будьте покойны: на месте не устоят тут тебе и русскую, и французскую, и испанскую всякую отпляшут.

Троцкий. Потом у вас там эти разные аппараты, которые вы... этого... употребляете при допросах. Оно, конечно, может, так по-вашему, по-ученому, и надо, а все же, если комиссия увидит все эти ваши зажималки для пальцев, прессы да резины — ан и нехорошо. Впечатление может получиться не того...

Петерс. А мы на дверях этой комнаты напишем «гимнастический кабинет». Кстати же, англичане любят спорт.

Троцкий. Вам виднее; только смотрите, чтобы англичане не стали сдуру на себе пробовать этой гимнастики... Вам также, товарищ Луначарский... Советую обратить внимание на учебные заведения. Очень уж мало в них учебного. Намедни захожу, а ученицы на коленях у учеников сидят и кокаин нюхают. Может быть, оно так для усвоения научных предметов и надо, да французы из комиссии ведь народ легкомысленный, примут ваше учебное заведение за что-либо другое и начнут между партами канкан плясать..

Луначарский. Да ведь сами же вы говорили, чтобы в школах была полная свобода. Впрочем, однако, насколько я знаю, и раньше, при полицейско-бюрократическом режиме, ученики и ученицы в наказание бывали на коленях.

Троцкий. Так ведь то на собственных, а не на чужих. И по вашей части, товарищ комендант города, тоже попросил бы... Вы позволяете жителям ходить по городу почти без всего: эта дрянная публика наденет только сверх рубахи рваный пиджачишко, а внизу ничего нету!

Комендант. Слушаю-с... Мы этаких на время приезда комиссии выберем всех из города, да на общественные работы и погоним.

Троцкий. А ежели комиссия будет вообще останавливать на улицах прохожих да спрашивать: «Довольны ли жизнью?» — то чтоб говорили: «Всем довольны, господа сэры или там мусью». А который будет недоволен, мы ему после такое неудовольствие пропишем!.. Впрочем, это уж по вашей части, Христиан Иванович.

Петерс. Будьте покойны!.. Мы его, недовольного-то, сразу же в гимнастический кабинет. Тама останется доволен!..

Троцкий. Вообще я бы отобрал из жителей человек сто тех, которые посытее да повеселее, подкормил бы их еще до приезда комиссии да и выпустил бы на улицу: пусть все время по пути следования комиссии на глаза подвертываются. Да развесить им на шеи медальон с портретом Карла Маркса! Пусть видят иностранцы, какие мы есть социалисты. А который каналья сбросит с шеи портрет, я ему такую пеньковую цацу навешу... Впрочем, это по вашей части, Христиан Иванович.

Петерс. Будьте благонадежны.

Троцкий. Да вот еще что: тут за последнее время вы, товарищ Луначарский, наставили памятников — как, бывало, раньше Держиморда фонари ставил — кому нужно, кому и не нужно. Тут тебе и Урицкому, и Стеньке Разину, и Робеспьеру, и Нахамкису, и Емельяну Пугачеву. Нашито «товарищи» ничего — слопают... А перед иностранцами как-то неловко. Снять бы их, что ли! И что это, ей-Богу, за скверный город! Только поставь где-нибудь один памятник — сейчас же целую сотню всякой дряни нанесут и наставят.

Луначарский. А как же быть с вашим памятником?

Троцкий. Ну, мой можно оставить. Только временно надпись на нем переделайте. Напишите: Гарибальди, что ли.

Луначарский. Да ведь Гарибальди с большой бородой!

Троцкий. Ну, времени столько прошло, что мог успеть и побриться. Кажется, теперь все. Фф-фу!.. Ну, вот комедия и кончена!..

Луначарский. Вы думаете — кончена? Я думаю, она только после приезда международной комиссии и начнется!..

Моя старая шкатулка

У меня есть старая шкатулка палисандрового дерева, выложенная по крышке инкрустацией, — совсем такая, какую возил с собой Павел Иванович Чичиков.

Я свою тоже теперь вожу за собой.

С сентября позапрошлого года.

А раньше она стояла в углу кабинета моей петербургской квартиры и служила хранилищем трофеев побед моей горничной надо мной.

Дело в том, что у меня с моей горничной шла глухая, тайная, незаметная, но свирепая, неумолимая борьба. Всякий из нас терпел свои поражения и одерживал победы, но на ее долю приходилось побед больше, чем поражений...

Каждый день утром, сидя за письменным столом, я просматривал корреспонденцию и прочитанное, ненужное бросал на пол; просматривал поданные счета и, отметив в записной книжке итоги на предмет уплаты,— счета бросал на пол; вынимал содержимое боковых карманов, отбирал ненужное — бросал на пол. И уходил из дому.

А потом являлась горничная, тщательно подметала пол, а все брошенное не менее тщательно собирала и аккуратной пачкой засовывала между подсвечником и часами около чернильницы на письменном столе.

Приходил я. Замечал засунутую пачку; бросал на пол.

Приходила она. Собирала с пола. Засовывала между подсвечниками и часами.

Приходил я. И, признав себя побежденным, совал всю пачку в старую шкатулку палисандрового дерева с инкрустацией.

Замечательнее всего, что у нас с горничной никогда не было разговора об этом. Ведь смертельно враждующие армии не ведут между собой переговоров. Не правда ли?

* * *

Мой отъезд из Петербурга был вынужденно срочным, лихорадочно поспешным. Уезжая, я совал в большой чемодан первое, что подворачивалось под руку...

Так и увез с собой палисандровую шкатулку.

А сегодня — открыл ее и стал перебирать старое, пожелтевшее, основательно забытое.

В этой шкатулке нет ни золотых локонов, ни медальонов с портретом любимой, ни засохших и рассыпающихся при первом прикосновении цветов.

Выбираю из беспорядочной, перемешавшейся от дорожной тряски,— груды — первое попавшееся:

Ресторан «Вена». Счет. Итог — 270 рублей.

Что такое?!

А-а... Помню! Праздновал в большом кабинете свои именины, 26 января. Гостей 24 персоны.

А ну, посмотрим:

«Закуска холодная, водки различные	42 р.
« — » горячая 4 сортов	36 р.
Ужин из 3-х блюд со сладким на 24 перс.	30 р.
Вино стол. и десер. 12 б.	21 р.
Кофе и ликеры	38 р.
Шампанское франц. 7 б.	56 р.
« — » Абрау 5 б.	20 р.
Фрукты	23 р.
Еще шампанское 2 б. Асти	7 р.
	Итого 270 р.

Помню я эти именины... Хозяин «Вены» — незабвенный покойник Иван Сергеич Соколов — постарался: украсил мое место цветами и за свой счет, в виде подарка, отпечатал юмористическое меню на 24 персоны.

Вот оно: огромное красное «26 января», а под ним:

«Закуски острые, сатириконские; водка горькая, как цензура; борщок авансовый; осетрина по-русски без опечаток; утка — не газетная; трубочки с кремом à la годовой подписчик».

Бедный остряк, Иван Сергеич... И косточки твои, вероятно, уже рассыпались.

Бросаю на пол и счет и меню — пойди-ка подбери снова это все, моя петербургская горничная!.. Далеко ты.

Беру следующую бумажку:

«Дорогой Аркадий! Погода хорошая. Бери на Конюшенной таксомотор: поедем покатаемся на Стрелку. Можно и к Фелисьену».

Н-да-с. Катались раньше мы. Пили кровушку.

На пол бумажку! Следующая:

«Зачем презираете скромную Финляндию? Райвола и мой замок [14] по вас соскучились. Приехали бы и Радакова [15] привезли. Ах, какой у него чудесный рисунок — «Песня голода» [16]. Ждем. Ваш *Леонид Андреев*».

Благоговейно откладываю в сторону. Рука, набросавшая эти торопливые строки, уже не будет скользить пером по бумаге.

Спи крепко и спокойно, любимый писатель и человек.

А это что?

«Аркадий, выкупай заложников...

...Сидим у Давыдки, в безумной оргии прокутили 7 р. 20 коп., а нет ни соверена. Твои заложники жизни П. *Маныч*, Сергей *Соломин*[17] и др.»

Сергей Соломин умер давно. Петр Маныч, говорят, расстрелян, да и «др.», я думаю, едва ли уцелели...

На пол, на пол!..

«Солнышко мое! Тысячу раз целую и нежно обним...»!

Гм!.. Нет, это не то. А вот!!

«Аркадий! Управляющий конторой мне передал, что ты распорядился повысить цену на «Сатирикон» с 12 к. до 15 к. Не делай этого безумства, не роняй тираж. Ты знаешь, что значит для читателя 3 копейки. Твой Ре-Ми».

Призадумался я... Ре-Ми где-то за границей, а я в Севастополе, а петербургский читатель, рассчитывавший в 3-х копейках, купил, вероятно, недавно на последние полторы тысячи полфунта плохо выпеченного хлеба, съел и тихо отправился туда, где и Иван Сергеич Соколов, и Леонид Андреев, и Гейне, и Шекспир.

Мимо, мимо.

Это еще что такое?

«Г. Аверченко! У меня почти все комнаты пустуют. Не направите ли ко мне хорошего жильца? С почтением ваша бывшая квартирная хозяйка И. М.».

«Счет от портного Анри.

2 пиджачных костюма — 210 р.

1 жакет — 135 р.

1 фрак с 2 бел. жил. — 195 р.»

Этот жакет и сейчас у меня. Еще на прошлой неделе портной за перемену истершейся шелковой подкладки на коленкоровую взял 17 000 рублей.

Телеграммы:

«Дорогой дружище. Это лето я свободен. Если будет месяца 2 времени — поедем север Африки, проберемся Египет, если месяц — успеем Венеция или Нормандия».

Да. Ездили. Весь мир был наш.

«Магазин Вейс. Счет. 2 пары ботинок на пуговицах, с замшевым верхом — 36 р., одна пара туфель открыт. фрачн. — 16 руб.».

Ожесточенно комкаю. Бросаю.

А вот и еще записочка. Какая милая записочка, жизнерадостная: «Петроград. 1 марта.

Итак, друг Аркадий — свершилось! Россия свободна!! Пал мрачный гнет, и новая заря свободы и светозарного счастья для всех грядет уже! Боже, какая прекрасная жизнь впереди. Задыхаюсь от счастья!! Вот теперь мы покажем, кто мы такие. Твой Володя».

Да... показали.

Опускаю усталую голову на еще неразобранную груду, и — нет слез, нет мыслей, нет желаний — все осталось позади и тысячью насмешливых глаз глядит на нас, бедных.

История — одна из тысячи

К петербургскому гражданину свободной Советской России явился человечек из комиссариата и сказал:

— Вы — Григорий Недорезов?

— Я — Григорий Недорезов.

— Вы назначены быть на митинге завтра около цирка Модерн.

— В качестве чего?

— Что значит в качестве чего? В качестве публики.

— Слушаю-с. А когда аплодировать?

— Там впереди будет такой чернявенький, в прыщах, — как захлопает, так вы все за ним. Только всего и дела. И с тем счастливо оставаться.

— Как? Как вы сказали?!

— Я говорю — «счастливо оставаться». Хе-хе.

— Хе-хе.

Оба рассмеялись друг другу в лицо скрежещущим, лязгающим смехом и, отскочив друг от друга, разошлись.

* * *

Чтоб не пропустить телеграфических знаков чернявенького с прыщами — Григорий Недорезов пробрался в самые первые ряды в двух шагах от оратора и погрузился с головой в волшебный мир сладких звуков ораторского голоса.

— Товарищи! — ревел оратор, почти переламываясь пополам. — Завоеванной нами свободе грозит опасность! С одной стороны, на нас наступают польские империалисты, с другой — южная крымская белогвардейщина. Только последним гигантским усилием мы можем спасти нашу дорогую матушку-свободу, а для этого — все на красный фронт!! Правильно я говорю?

Слушатели вздохнули, переступили с ноги на ногу и кротко промолчали.

— Правильно я говорю?!

Вздох и молчание.

— Чего же вы молчите? Может, я неправильно говорю, так вы скажите... Ну? Что же? Правильно я говорю?

Пытливый взор оратора померк, нахмурился и уперся прямо в грудь Григория Недорезова, в ту грудь, откуда, по предположению оратора, должен быть исторгнут могучий вопль:

— Пр-равильно!

— Ну, что же?.. Вы вот там... товарищ в женской безрукавке и одном башмаке! Чего же вы молчите? Я спрашиваю: правильно или неправильно?

Григорий Недорезов тоскливо вздохнул и потупился.

— Вы что? Может быть, вы глухонемой?

— Нет, я ничего... Спасибо.

— Так чего же вы молчите и только рот открываете и захлопываете, как рыба, вынутая из воды?.. Вот вы нам и скажите: правильно я говорил или неправильно?

Григорий Недорезов был молчалив, как его старый башмак. Даже, пожалуй, еще молчаливее; башмак хоть разевал рот и настойчиво просил каши, сверкая белыми деревянными зубами, а рот Недорезова Григория был закрыт, как чемодан, от которого потеряли ключ.

Оратор сокрушенно покачал головой и вздохнул:

— Ну, что ж... Товарищ Упокойников! Отведите этого, который молчит, я с ним после поговорю.

— Пожалуйте!

— Куда вы меня ведете?

— Там вас какая-то барышня спрашивает. Очень хорошенькая. Ждет на углу. Пойдешь ты или приклада между лопаток захотел, сволочь!

Как и предполагал Недорезов, изящное галантное сообщение о ждущей его хорошенькой барышне оказалось сильно преувеличенным или преуменьшенным — как угодно: это было не на углу, а в совершенно закрытом помещении, и не барышня его ждала, а ему пришлось подождать.

Вместо барышни через полчаса пришел давешний оратор, сел верхом на стул, покачался перед стоящим с понуренной головой Недорезовым и сказал потягиваясь:

— Ну-с... значит, там, на людях, вы со мной разговаривать не хотели. Посмотрим теперь... Правильно я говорил или неправильно?..

Башмак, разевая рот до ушей, вопил на весь крещеный мир, требуя законной порции каши... Владелец его, наоборот, молчал как убитый.

— Так-с,— вздохнул бывший оратор.— Очень хорошо. Товарищ Гробов! Отведите этого молчаливого товарища в тюрьму. А если будет попытка к побегу — стреляйте.

— Даю вам честное слово,—торопливо заговорил Недорезов,— что попытки к побегу не будет! Ей-Богу, честное слово!..

— Ну да... Вы можете и не бежать, а им вдруг покажется, что вы побежали. Народ у нас все усталый, замотавшийся: где ж тут тихий шаг от рыси отличишь.

Недорезов вдруг решительно тряхнул тем местом, где у него должны были бы находиться кудри, если бы не — и так далее.

— Хорошо! — воскликнул он.— Раз все равно пропадать — я скажу, почему я молчал!! Извольте! Я молчал потому, что не знал, что ответить: «правильно» или «неправильно».

— Да что ж, у вас нет головы на плечах, что ли?

— Э, господин-товарищ! Нет дождя перед дождем, нет денег перед деньгами, есть голова перед тем, как ее не будет. Были у меня два брата: Сережа Недорезов и Алеша Недорезов; и за пять минут до того, как они потеряли голову, они ее имели, казалось, приделанную к плечам наглухо...

— Ну-с?

— Начну с Сережи. Парень был голова — министр! Огонь! Орел! Все понимал, что к чему. Думал он, думал да приходит к одному такому... главному — вроде вас... И говорит: неправильно все это у вас! Обещали хлеб народу — все с голоду пухнут; обещали мир — с одного фронта на другой, как соленых зайцев, гоняете; обещали свободу — а для того, чтобы ребенка похоронить или с одной квартиры на другую переехать, — десять разрешений и мандатов требоается!.. Неправильно! Нехорошо!» Пожевал губами нарком, выслушал все до конца и спрашивает:

Значит, неправильно?

Очень даже неправильно.

Хорошо. Отведите его туда-растуда, и при попытке бежать — распорядитесь.

Да я, говорит, не буду бежать!

Все равно распорядиться нужно.

Повели его и распорядились. Узнали мы с Алешей, поплакали, потом Алеша и говорит: «Я, говорит, буду

теперь совсем иначе с ними разговаривать... Я уж знаю как!»... Пошел к наркому и говорит: «Ах, говорит, до чего у нас все хорошо, до чего все правильно! Обещали, скажем, хлеб — сделайте ваше такое одолжение — есть и хлеб, и жиры, и азотистые — хоть залейся. Мир народу обещали — извольте! Царит мир, тишь, гладь да Божья благодать... Свободу сулили? Боже ты мой! Это ли не свобода! Только теперь солнышко и увидели, только теперь свежего воздуха и глотнули. Очень все правильно сделано!»

Пожевал нарком губами.

— Правильно, значит?

— Оч-чень правильно.

— Ну-с, отведите его куда следует, а при попытке бежать — распорядитесь.

— За что же, помилуйте?

— За то самое. За издевательство и насмешку. Потому — то, что вы говорили, можно только в издевку сказать! Товарищ Скелетов! Распорядитесь.

Распорядились.

Так теперь посудите вы сами, товарищ оратор, как и что мне вам было ответить?! Ответить — «правильно!», скажут: распорядись, Скелетов! Ответить — «неправильно» — все равно: Скелетов, распорядись! Так уж лучше я молчать буду!

Бывший оратор сокрушенно покачал головой.

— Да, и молчать нехорошо. Молчание на категорически поставленный вопрос суть саботаж, бойкот правительства, наказуемый по нашим законам тюрьмой, а при попытке бежать... Одним словом, товарищ Гробов, распорядитесь.

* * *

Редкие прохожие видели на пустынной мостовой Недорезова Григория, который, несмотря на честное слово и настойчивые свои заверения, очевидно, все-таки пытался бежать...

Он лежал на мостовой, с поджатыми ногами, и казалось, что он, действительно, пытается убежать.

И казалось тоже, что у него два отверстых рта на обоих полюсах застывшего тела: один рот — полный белых деревянных зубов — на башмаке... Этот рот вопил, он был разинут в бешеном требовании каши, обращенном к пыльному небу.

Другой рот — обыкновенный человеческий, без передних, выпиюбленных прикладом зубов — был тоже открыт, но молчал. Молчал.

До Страшного Суда.

Слабая голова

Позвонили мне по телефону.

— Кто говорит? — спросил я.

— Из дома умалишенных.

— Ага. Здравствуйте. Я ведь ничего, я только так. Хи-хи. Ну, как поживают больные?

— Насчет одного из них мы и звоним. Вы знавали Павла Гречухина?

— Ну как же! Приятели были. Да ведь он, бедняга, в 1915 году с ума сошел...

— Поздравляем вас! Только что совершенно выздоровел. Просится, чтобы вы его забрали отсюда.

— Павлушу-то? Да с удовольствием!

Заехал я за ним, привез к себе.

* * *

— Ф-фу! — сказал он, опускаясь в кресло. — Будто я снова на свет Божий народился. Ведь, ты знаешь, я за это время совершенно был отрезан от мира. Рассказывай мне все! Ну, как Вильгельм?

— Ничего себе, спасибо.

— Ты мне прежде всего скажи вот что: кто кого победил — Германия Россию или Россия Германию?

— Союзники победили Германию.

— Слава Богу! Значит, Россия — победительница?

— Нет, побежденная.

— Фу ты, дьявол, ничего не пойму. А как же союзники допустили?

— Видишь ли — это очень сложно. Ты на свежую голову не поймешь. Спрашивай о другом.

— Как поживает Распутин?

— Ничего себе, спасибо, убит.

— Сейчас в России монархия?

— А черт его знает. Четвертый год выясняем.

— Однако, образ правления...

— Образа нет. Безобразие.

— Так-с. Печально. Спички есть? Смерть курить хочется.

— Нету спичек, не курю.

— Позови горничную.

— Маша-а-а!

— Вот что, Машенька, или как вас там... Вот вам три копеечки, купите мне сразу три коробки спичек.

— Хи-хи...

— Чего вы смеетесь? Слушай, чего она смеется?

— А видишь ли... У нас сейчас три коробки спичек дороже стоят.

— Намного?

— Нет, на пустяки. На пятьсот рублей.

— Только-то? Гм! Чего ж оно так?

— Да, понимаешь, за последнее время много поджогов было. Пожары все. Спрос большой. Вот и вздорожали.

— Так-с. Эва, как ботиночки мои разлезлись... Слушай, ты мне не одолжишь ли рублей пятьсот?

— На что тебе?

— Да немного экипироваться хотел: пальтецо справлю, пару костюмчиков, ботиночки, кое-что из бельеца.

— Нет, таких денег у меня нет.

— Неужели пяти катеринок не найдется?

— Теперь этого мало. Два миллиона надо.

Павлуша странно поглядел на меня и замолчал.

— Чего ты вдруг умолк?

— Да так, знаешь. Ну, дай мне хоть сто рублишек. Поеду в Питер — там у меня родные.

— Они уже умерли.

— Как? Все?

— Конечно, все. Зря, брат, там в живых никто не останется.

— Ну, я все-таки поеду. Хоть наследство получу.

— Оно уже получено. Теперь все наследства получает коммуна.

Взор его сделался странным. Каким-то чужим.

Он посмотрел в потолок и тихо запел:

— Тра-та-та, тра-та-та,
Вышла кошка за кота.

Мне почему-то сделалось жутко.

Чтобы отвлечь его мысли, я сообщил новость:

— А знаешь, твой кузен Володя служит в подрайонном исполкоме Совдепа.

Павлуша внимательно поглядел на меня и вежливо ответил:

— Ду-ю спик энглиш? Гай-ду-ду. Кис ми квик [18]. Слушай... Ну, я в Москву поеду...

— Да не попадешь ты туда, чудак!

— Почему, сэр?

— Дойдешь ты до Михайловки, за Михайловкой большевики.

— Кто-о?

— Это тебе долго объяснять. Проехал ты, скажем, большевиков — начинается страна махновцев; проехал, если тебя не убьют, махновцев — начинается страна петлюровцев. Предположим, проехал ты и их... Только что въехал в самую Совдепию — возьмут тебя и поставят к стенке.

— Ну, что ж, что поставят. А я постою и уйду.

— Да, уйдешь, как же. Они в тебя стрелять будут.

— За что?

— За то, что ты белогвардеец.

— Да я не военный.

— Это, видишь ли, тебе долго объяснять. Конечно, если ты достанешь мандат харьковского Реввоенсовета или хоть Совнархоза...

Павлуша схватился за голову, встал с кресла и стал танцевать на ковре, припевая:

Чикалу, ликалу
Не бывать мне на балу!
Чика-чика-чикалочки —
Едет черт на палочке...

* * *

— Знаешь что, Павлуша,— предложил я,— поедем прокатимся. Заедем по дороге в сумасшедший дом. Я там давеча портсигар забыл.

Он поглядел на меня лукавым взглядом помешанного.

— Ты ж не куришь?

— А я в портсигаре деньги ношу.

— Пожалуй, поедем,— согласился Павлуша, хитро улыбаясь.— Если ты устал, я тебя там оставлю, отдохнешь. Два-три месяца, и, глядишь, все будет хорошо.

Поехали.

Он думал, что везет меня, а я был уверен, что везу его.

Когда вошли в вестибюль, Павлуша отскочил от меня и, спрятавшись за колонну, закричал:

— Берите вот этого! Он с ума сошел.

Ко мне подошел главный доктор.

— Зачем вы его опять привезли? Ведь он выздоровел.

Я махнул рукой.

— Опять готов!

Павлуша вышел из-за колонны, расшаркался перед доктором и вежливо сказал:

— Простите, сэр, что я до сих пор не удосужился поджечь ваш прелестный дом. Но спички стоят так дорого, что лучше уж я стану к стеночке.

* * *

Взяли Павлушу. Повели.

Слава Богу: хоть одного человека я устроил как следует.

Разговор за столом

Когда соберутся вместе за самоваром или за бутылкой вина несколько русских людей, живущих по воле судьбы и большевиков — в Феодосии, Ялте или Севастополе, — я заранее с математической точностью знаю, с чего начнется их разговор.

Чем кончится разговор, конечно, никогда нельзя предугадать, но *начинается* он всегда с поразительной точностью одинаково.

* * *

Вот пятеро — три дамы и двое мужчин — уселись за стол вокруг шумящего самовара; хозяйка вручила каждому по чашке чаю; пододвинула печенье, варенье, кекс, конфеты.

Минута молчания. Переглянулись.

— Ну-с, — начал разговор мужчина, тот, что помоложе. — Когда же мы будем в Петербурге?

— Да-а-а, — неопределенно тянут все три дамы. — Интересно, когда мы туда попадем?

— Теперь уж скоро, — хмуря многозначительно седые брови, говорит старичок. — Мелитополь взят. (А раньше он говорил Курск, а раньше — Харьков.)

Первая стадия разговора кончена.

Вторая:

— Я получила сведения, что моя квартира в Петербурге совершенно разграблена.

— Мне писали, что моя квартира в Москве сохранилась. Какой-то комиссар живет.

— А я не имею никаких сведений о своей квартире.

— У меня там сестра живет. Не знаю — жива ли?

— У меня отец и тетка. Не знаю — живы ли?

— Там голод.

— Там страшный голод.

— Там умирают с голоду.

— Совершенно умирают. Почти все.

Вторая стадия разговора окончена.

Третья:

— Говорят, муж Анны Спиридоновны поступил в Москве на службу к большевикам.

— Вот негодяй!

— Форменный. Вешать таких людей мало.

* * *

И вдруг одна из дам неожиданным энергичным броском руля сразу повернула неуклюжий широкобокий корабль вялого разговора из узкого шаблонного канала, где корабль то и дело стукался боками о края канала,— сразу повернула и вывела этот корабль в широкое море необозримых отвлеченных предположений.

Именно она сказала:

— А что бы вы, mesdames, сделали с Троцким, если бы этот ужасный негодяй попал в ваши руки?

— Ах, ах,— сказала с бешеной ненавистью вторая дама, то, что называется — роскошная блондинка, и даже сверкнула большими серыми глазами.— Я не знаю даже, что бы я с ним сделала! Я... я даже руки бы ему не подала.

— Тоже...— кисло улыбнулась худощавая.— Придумали наказание. Нет, попадись мне в руки Троцкий, я уж знаю, что бы я сделала с ним.

— А что именно?

— Я? Я бы выстрелила в него!!!

— Ну, это тоже ему не страшно,— скривилась, подумавши, третья дама, та самая, которая перевела разговор в другой галс.— Нет, попадись мне в руки Троцкий, я бы уж

знаю, что бы я сделала! Узнал бы он, почем фунт гребешков, узнал бы, как губить бедную Россию!..

— Ну, а что? Что бы вы ему сделали?

И сказала третья дама свистящим шепотом, как гусенок, которому птичница наступила на лапу:

— Я бы купила булавок... много, много... ну, тысячу, что ли. И каждую минутку втыкала бы в него булавочку, булавочку, булавочку... Сидела бы и втыкала.

— Только и всего?

— Ну, а потом отрезала бы голову и выбросила свиньям!

— Только и всего?

Бедная фантазией худощавая обвела сердитым взглядом насмешливые лица и отрывисто закончила:

— А после этого воткнула бы в него еще тысячу булавок!!

Мужчина помоложе снисходительно засмеялся:

— Эх, вы. Милые вы дамы, очаровательные, но фантазии у вас ни на копейку. Эко придумали: утыкать человека булавками, отрезать голову, выстрелить в него... Нет, господа, нет! Он столько сделал зла, что и расплата с ним должна быть королевская!..

— Например?! — в один голос воскликнули все три дамы.

— А вот... Только разрешите для настроения уменьшить свет. Слушайте меня в полутьме. Вот так... То, что я буду говорить, очень страшно. Итак: по приказу Троцкого, как вам известно, расстреливаются тысячи людей — совершенно безвинных — по обвинению в контрреволюционности. И вот! Если бы ко мне в руки попался Троцкий — я его не убивал бы. А взял бы последнего расстрелянного из этих тысяч, взял бы еще теплый труп этого убитого Троцким человека и крепко привязал бы его к Троцкому — грудь с грудью, лицо с лицом. И я бы кормил и поил Троцкого, чтобы он жил, но труп убитого им человека не отвязывал бы от него. И вот — постепенно убитый Троцким начинает гнить на Троцком... Троцкий каждую минуту, каждую секунду видит синее разложившееся лицо с оскаленными зубами, голова у Троцкого кружится от нестерпимого трупного запаха, и когда он почувствует около своей груди что-то живое, когда клубок трупных червей заширо...

Раздается дикий пронзительный крик блондинки:

— Не могу!! Довольно!.. Дайте свет... Мне страшно!!

Дали свет. Автор последнего хитроумного проекта сидел, положив голову на руки, и угрюмо молчал.

И заговорил старичок... Мягким, кротким голосом заговорил:

— Позвольте и мне сказать кой-что по этому вопросу. Видите ли... Я бы не резал и не бил бы Троцкого, не привязывал бы к нему упокойников,— я бы пальцем его не тронул, а я бы применил к нему штуку, самую справедливую...

Старичок облизнул губы и заговорил еще мягче, еще задушевнее:

— Я посадил бы его в комнату вместе с обыкновенным убийцей, повинившимся ну... в пяти душах, что ли. И я досыта кормил бы их. Хорошо кормил бы. На закусочку королевскую селедочку в уксусе, икорку паюсную, огурчики солененькие... На обед селяночку жидкую с соленой рыбкой, гуляш венгерский с красным перчиком, с перчиком! и пудинг — сладкий-пресладкий. А чтобы они не боялись есть эти солененькие и сладенькие вещицы — я бы около них поставил по огромному стеклянному кувшину с хорошим русским квасом, знаете, этакий московский хлебный темненький квасок со льдом и с желтой пеной наверху, как, бывало, в московской «Праге» подавали. Острый, шипучий, приятный — в нос шибает... Вот кушали бы они, родименькие, кушали... И когда, накушавшись, потянулся бы простой убийца за кваском, я остановил бы его руку и сказал:

— Послушай, раб Божий, убийца... а заслужил ли ты своими деяниями сие питие усладительное. Вот давай мы это по-Божьему рассудим. Секретарь! А ну-ка читай поименно всех убиенных сим рабом Божиим!

И стал бы читать секретарь:

Убиты сим убийцей: Марья, Николай...

И после каждого имени выплескивал бы я в парашу по глотку этого кваску холодненького. И сказал бы дальше секретарь мой:

— Петр, Семен, Поликарп... Все!

И выплеснул бы я пять глотков по числу убиенных сим человеком, и остальной квас — три четверти кувшина — вручил бы убийце:

— На, сын мой! Вот твой остаток. Увлажняй свое пересохшее горло хоть до вечера.

И потянулся бы Троцкий к своему кувшину.

— Нет, постой, сын мой,— сказал бы я.— То, что в остатке будет, то и выпьешь ты, тем и увлажнишься. Читай, секретарь, имена убиенных сим — а я по глоточку отливать буду. Читай, не торопясь, каждое имечко – через минуточку, хе-хе...

И читал бы он и читал — о, велик список убиенных сим Троцким! — а я бы медленно, по глоточку, выплескивал этот душистый холодненький квасок в парашу, в парашу, в парашу.

А Троцкий сидел бы и смотрел да лизал бы языком свои проклятые пересохшие губы, те губы, которые в свое время шевелились, называя имена приговоренных к мукам и умерщвлению.

Кончился бы квасок — я бы еще чего принес: пивца холодненького, альбо сельтерской воды этакий сифонище притащил. Назовет секретарь имечко, а я сифончик давану, оттуда струйка — порск! Назовет, а я — порск! А другой убийца сидит рядом, душистый квасок попивает, а у Троцкого и горло, и пищевод, как кора сухая, покоробившаяся, а желудок, как высохший пузырь, стянулся — да нет ему водички — ибо текут, текут имена — десятки, сотни, тысячи имен убиенных и так до скончания века его...

– Это страшно...— прошептала блондинка, проведя языком по запекшимся губам, и поспешно проглотила чашку полуостывшего чаю.

* * *

А на диване, в глубине столовой, сидел никем не замеченный доселе офицер, только что вернувшийся с фронта, сидел, закинув голову на спинку дивана, и молчал.

Когда же старичок окончил свой тихий елейный задушевный рассказ — встал с места офицер и вошел в светлый круг, образуемый настольной лампой.

А-а,— сказала худощавая дама,— а мы и не знали, что вы тут. Ну, теперь ваша очередь. Что бы вы с ним сделали, с Троцким? Воображаю, какой ужас вы придумаете!..

Резко освещенный лампой офицер неопределенно усмехнулся.

Видите ли, господа... Если бы вместо этого стола было изрытое окопами поле и вместо этой бутылки рома были бы неприятельские укрепления, а там, где стоит

кекс,— наша батарея, спрятанная за эту вазу с вареньем, изображающую наши окопы,— то тогда вы бы ясно представили, что бы я делал: я бы сначала обстрелял Троцкого, укрывающегося в этом укреплении, а потом, после артиллерийской подготовки, бросился бы со своими солдатами вперед и энергичным штыковым ударом...

— Да вы не то говорите! Я спрашиваю, что бы вы сделали, если бы Троцкий попался вам в руки?

— Боюсь, что в бою, в этой суматохе я пристрелил бы его, как бешеную собаку.

— Ну, да — мы это понимаем; а если бы он без боя очутился в ваших руках?

Глаза офицера сверкнули и засветились, как две свечки.

— Так я бы его тогда, подлеца, в суд!..

— Как в суд? В какой суд?

— А как же?.. Ежели он виновен — надо его в суд! Пусть судят.

Молчание сгустилось, нависло, нагромоздилось над присутствующими, как насыщенная электричеством густая туча.

И только через минуту пышная блондинка пролепетала растерянно:

— Какое странное время; у штатских такая масса воинственной кровожадности, а военные рассуждают, как штатские!

Петербургский бред

Это я не выдумал.

Это мне рассказал один приезжий из Петербурга.

И произошло это в Петербурге же, в странном, фантастическом, ни на что не похожем городе...

Только в этом призрачном городе тумана, больной грезы и расшатанных нервов могла родиться нижеследующая маленькая бредовая история.

* * *

Ежедневный большой прием у большевистского вельможи — Анатолия Луначарского.

Время уже подползало к концу приема, когда наступают сумерки, и у вельможи от целой тучи всяких просьб, претензий, приветствий и разного другого коммунистического дрязга опухает голова, в висках стучат молоточки, в глазах плывут красные кружки, и смотрит вельможа на

последних просителей остолбенелыми, оловянными, плохо видящими и соображающими очами, по десяти раз переспрашивая и потирая ладонью натруженную голову.

Уже представилась вторая подсекция красной башкирской коммунистической ячейки, уже, стуча сапогами и перерутиваясь, вышли из кабинета представители морпродкома Центробалта.

— Ф-фу, кажется, все,— выпустил, как паровоз, струю воздуха смертельно утомленный Луначарский.

И вдруг в этот момент в сумеречном свете около кафельной печи завозились две серые фигуры и двинулись разом на Луначарского.

— Кто вы такие?— испуганно спросил Луначарский.— Что нужно, товарищи?

— Так что, мы насчет березовых дров,—ответили серые фигуры.—Это дело нужно разобрать, товарищ.

— Какие дрова? Что такое?..

— Березовые, понятное дело. Бумага на реквизицию выдана Всеотопом — нам, а они свезли самую лучшую березу, а нам говорят — вам осталась сосна. Нешто этой сыростью протопишь?..

— Кто свез лучшую березу?

— Как кто? Трепетун.

— Да вы-то кто такой?

— Я от Перпетуна.

— А этот товарищ кто?

— Говорю же вам: Трепетун. Мы вот и пришли, чтобы вы нас, как говорится, разобрали.

Луначарский потер рукой пылающую голову и несмело повторил:

— Расскажите еще. Яснее.

— Да что ж тут рассказывать; раз Всеотоп выдал реквизиционную квитанцию Перпетуну, так причем тут Трепетун будет захватывать лучшую березу? Нешто это дело? Не Трепетуний это поступок.

Луначарский уже было открыл рот, чтобы спросить, кто такие эти таинственные Перпетун и Трепетун, но тут же спохватился, что неудобно ему, председателю Пролеткульта, показывать такое невежество...

Он только неуверенно спросил:

— Да как же так Трепетун мог захватить?

— А вот вы спросите! Перпетун уже и место приготовил для склада и сторожей нашел, а Трепетун — на тебе! Из-под

самого носа! Да я вам так скажу, товарищ, что у Трепетуна и склада нет, все одно на улице будет лежать, товарищи разворуют.

— Нет, ты, брат, извини,— хрипло прогудел защитник интересов Трепетуна,— Перпетун-то по бумажке получает, а Трепетун еще летось обращался к Всеотопу, и ему лично без бумажки ответили, что береза ему в первую голову.

— Ловкий какой! А Перпетуну, значит, сосна?

— А по-твоему, кто ж — Трепетун должен сосной топиться?

— Идол ты, да ведь Перпетун по квитанции!

— А Трепетун без квитанции, зато раньше!

И, снова схватившись за пылающую, раскаленную голову, выбежал бедный Луначарский в канцелярию.

— Товарищи! Не знаете, что такое Перпетун и Трепетун?!!

— А кто его знает. По-моему, так: Трепетун — это трус, который, так сказать, трепещет...

— Так-с! А кто же в таком случае Перпетун?

— Может быть — перпетуум? Вроде перпетуум-мобиле — вечное такое движение.

Вернулся Луначарский снова в кабинет в полном изнеможении.

— Так как же нам быть, товарищ Луначарский?

— Кому — вам?

— Да вот — Перпетуну и Трепетуну?..

— Позвольте, а вы какое имеете к ним отношение?

— А мы делегированы.

— Ке-ем?!

— Перпетуном же и Трепетуном.

— Ну, так вот что я вам скажу,— простонал Луначарский, хватаясь за пульсирующие виски.— Пока они сами не придут — ничего я разбирать не буду!!

— Кто чтоб пришел?!

— Да вот эти... Перпетун и Трепетун.

— Шутите, товарищ. Как им, хе-хе,— с места сдвинуться.

— Кому-у?!

— Да опять же Перпетуну и Трепетуну.

— Провалитесь вы, анафемы! Да кто они, наконец, такие, эти проклятые Трепетун и Перпетун: скаковые лошади, башкирские начальники или пишущие машины?!

И тут обе серые фигуры впервые чрезвычайно удивились:

– Неужто не знаете, товарищ? Я от Первого Петроградского университета, а он от Третьего Петроградского районного. Это ж наше сокращенное имя: Перпетун и Трепетун.

Миша Троцкий

Как известно, у большевистского вождя Льва Троцкого — есть сын, мальчик лет 10—12.

Не знаю, может быть, у него еще есть дети — за истекший год я не читал «Готского Альманаха»[19],— но о существовании этого сына, мальчика лет 10—12, я знаю доподлинно: позапрошлым летом в Москве он вместе с отцом принимал парад красных войск.

Не знаю, как зовут сына Троцкого, но мне кажется — Миша. Это имя как-то идет сюда.

И когда он вырастет и сделается инженером — на медной дверной доске будет очень солидно написано:

«Михаил Львович Бронштейн, гражданский инженер».

Но мне нет дела до того времени, когда Миша сделается большим. Большие — народ не очень-то приятный. Это видно хотя бы по Мишиному папе.

Меня всегда интересовал и интересует маленький народ, все эти славные, коротко остриженные, лопоухие, драчливые Миши, Гриши, Ваньки и Васьки.

И вот — когда я начинаю вдумываться в Мишину жизнь — в жизнь этого симпатичного, ни в чем не повинного мальчугана — мне делается нестерпимо жаль его... жаль его...

За какие, собственно, грехи попал мальчишка в эту заваруху?

Не спорю — может быть, жизнь этого мальчика обставлена с большою роскошью — может быть, даже с бо́льшею, чем позволяет цивильный лист[20]: может быть, у него есть и гувернер — француз, и немка, и англичанка, и игрушки, изображающие движущиеся паровозы на рельсах, огромные заводные пароходы, из труб которых идет настоящий дым,— это все не то!

Я все-таки думаю, что у мальчика нет настоящего детства.

Все детство держится на традициях, на уютном, как ритмичный шелест волны, быте. Ребенок без традиций, без освященного временем быта — прекрасный материал для

колонии малолетних преступников в настоящем и для каторжной тюрьмы в будущем.

Для ребенка вся красота жизни в том, что вот, дескать, когда Рождество, то подавайте мне елку, без елки мне жизнь не в жизнь; ежели Пасха — ты пошли прислугу освятить кулич, разбуди меня ночью да дай разговеться; а ежели яйца не крашеные, так я и есть их не буду — мне тогда и праздник не в праздник. И я должен для моего детского удовольствия всю Страстную есть постное и ходить в затрепанном затрапезном костюмчике, а как только наступит это великолепное Воскресение, ты обряди меня во все новое, все чистое, все сверкающее да пошли с прислугой под качели! Вот что-с!

Да что там — качели! Я утверждаю, что для ребенка праздник может быть совсем погублен даже тем, что на глазированной шапке кулича нет посредине традиционного розана или — сливочное масло поставлено на праздничный стол не в форме кудрявого барашка, к чему мальчишка так привык.

Я не знаю, какие праздничные обычаи в доме Троцких — русские или еврейские,— но, если даже еврейские,— еврейская пасха имеет целый ряд обольстительно-приятных для детского глаза подробностей.

Увы, я думаю, что Миша Троцкий — живет без всяких традиций — чем так крепко детство,— без русских и без еврейских. Я думаю, папа его совсем запутался в интернационале — до русских ли тут, до еврейских ли обычаев,— когда целые дни приходится толковать с создателями новой России — с латышами, китайцами, немцами, башкирами,— это тебе не красное яичко, не розан в центре высокого, обаятельно пахнущего сдобой кулича.

* * *

Что Миша читает?

Совершенно не могу себе этого представить. Мальчик без Майн Рида — это цветок без запаха.

А Миша Майн Рида не читает.

Может быть, когда-нибудь ему и попались случайно в руки «Тропинка войны» или «Охотники за черепами», и, может быть, на некоторое время околдовало Мишу приволье и красота ароматных американских степей. Может быть, чудесной музыкой заиграли в его ушах такие заманчивые своей звучностью и поэзией слова:

«Сьерра-Невада, Эль-Пасо, Дель-Норте!..»

Но, прочтя эту книжку, принялся бродить притихший зачарованный Миша по огромным пустым комнатам папиного дворца, забрался в папин кабинет и, свернувшись незаметно клубочком на дальнем диване, услышал от представляющихся папе коммунистов и латышей совсем другие слова, почуял совсем другие образы:

— С тех пор, как,— серым однотонным голосом бубнит коммунист,— с тех пор, как мы ввели уеззелелькомы — они стали в резкую оппозицию губпродкомам. Комбеды приняли их сторону, но уездревкомы приняли свои меры...

Потом подходит к столу латыш.

— Ну что, Лацис? Всех допросили...

— Двадцать восемь человек. Из них девятнадцать уже расстрелял, остальных после передопроса.

Лежит Миша, притихнув на диване, и меркнут в мозгу его образы, созданные капитаном Майн Ридом.

Какая там героическая борьба индейцев с белыми, вождя Дакоты с охотниками Рюбе и Гареем[21], какое там оскальпирование, когда вот стоит человек и, рассеянно вертя в руках пресс-папье, говорит, что он сегодня убил 19 живых людей.

А на красивые, звучные слова — «Эль-Пасо, Дель-Норте, Сьерра-Невада, Кордильеры» — наваливаются другие слова — тяжелые, дикие, похожие на тарабарский язык свирепых сиуксов: Губпродком, Центробалт, Уеззелельком.

Поднимается с дивана Миша и, как испуганный мышонок, старается проскользнуть незаметно в детскую.

Но папа замечает его.

— А, Миша! Что ж ты не здороваешься с дядей Лацисом. Дай дяде ручку.

Эта операция не особенно привлекает Мишу, но он робко протягивает худенькую лапку, и она без остатка тонет в огромной, мясистой, жесткой «рабочей» лапе дяди Лациса.

— Ну, иди, Миша, не мешай нам. Скажите, а с теми тремя, арестованными позавчера, вы кончили или...

Но Миша уже не слышит. Опустив голову, он идет в детскую с полураздавленной рукой и вконец расплющенным сердцем.

* * *

В конце концов, если у меня и есть на кого слабая надежда — так это на Мишину мать.

Авось, она не выдаст Мишу, и одним своим прикосновением ласковой руки к горячей голове расправит измятые полуоборванные лепестки детского сердца.

За обедом спросит:

— Чего ты такой скучный, Миша? Чего ты ничего не кушаешь?

Мне скучно, мама.

В разговор ввязывается папа:

Его уже нужно в училище отдать, так ему тогда не будет скучно. Хочешь, я тебя отдам в Первую Коммунистическую Нормальную Школу, а?

И вдруг коммунистическая мать вспыхивает и взлетает, как ракета.

— Ты! ты! — кричит она, сжигая сверкающими глазами коммунистического папу.— Ты мне эти шутки с моим ребенком брось! Я знаю ваши «Нормальные» школы для мальчиков и девочек!! Ты там можешь себе проводить какую хочешь политику, но в семью этой дряни не вноси. Чтобы я послала своего сына на разврат? Лева, слышишь? Об этом больше нет разговора!

Ну, хорошо, ну, ладно. Раскудахталась. Миша! Ну, если тебе скучно, — поедем опять принимать парад красных войск — хочешь?

— Что ты со своими паршивыми парадами к ребенку пристал? Он же один, ему же нужны товарищи, а ты ему своими парадами-марадами голову морочишь!.

Ему нужны товарищи! Так чего же ты молчишь? Хочешь, я к нему пришлю поиграть сына Лациса Карлушу?

Лева! Я же тебе в тысячный раз повторяю: оставляй свою политику на пороге нашего дома! Чтобы я позволила моему сыну играть с этим латышонком, с сыном палача, который...

— Со-ня!!! Или ты замолчишь, или я уйду из-за стола! Что это за разговоры такие?

За столом тяжелое, душное молчание.

Миша сидит, положив на тарелку вилку и ножик, не притронувшись к цыпленку, и смотрит невидящими глазами в стену.

Что ты? озабоченно спрашивает отец. - О чем задумался?

— Папа, ты знаешь, что такое Эль-Пасо и Дель-Норте?

— М...м... Не знаю. Я думаю, это сокращенное название какой-нибудь организации.

А знаешь ты, что такое «Охотники за черепами»?

Лицо папы сначала бледнеет, потом краснеет:

— Послушай, ты! Дрянь-мальчишка... Если ты еще раз позволишь себе сказать что-либо подобное, я не посмотрю на тебя, что ты большой,— выдеру как сидорову козу! Понял?

Нет, Миша не понял.

* * *

На совести Мишиного папы тысячи пудов преступлений.

Но это его преступление — гибель Мишиной души — неуследимое, неуловимое, как пушинка,— и, однако, оно в моих глазах столь же подлое, отвратительное, как и прочие его убийства.

Перед лицом смерти

(Кусочек материала к истории русской революции)

Сколь различна психология и быт русского и французского человека.

Французская революция оставила нам такой примечательный факт:

Добрые, революционно настроенные парижане поймали как-то на улице аббата Мори[22]. Понятно, сейчас же сделали из веревки петлю и потащили аббата к фонарю.

— Что это вы хотите делать, добрые граждане? — с весьма понятным любопытством осведомился Мори.

— Вздернем тебя вместо фонаря на фонарный столб.

— Что ж вы думаете — вам от этого светлее станет? — саркастически спросил остроумный аббат.

Толпа, окружавшая аббата, состояла из чистокровных французов, да еще парижан к тому же.

Ответ аббата привел всех в такой буйный восторг, что тут же единогласно ему было вотировано сохранение жизни.

Это французское.

А вот русское *:

В харьковской чрезвычайке, где неистовствовал «товарищ» Саенко[23],— расстрелы производились каждый день.

* Факт этот рассказан автору одним, вполне заслуживающим доверия, харьковцем.— *А. А.*

Делом этим большею частью занимался сам Саенко...

Накокаинившись и пропьянствовав целый день, он к вечеру являлся в помещение, где содержались арестованные, со списком в руках и, став посередине, вызывал назначенных на сегодня к расстрелу.

И все, чьи фамилии он называл, покорно вздыхая, вставали с ящиков, служивших им нарами, и отходили в сторону.

Понятно, что никто не молил, не просил,— все прекрасно знали, что легче тронуть заштукатуренный камень капитальной стены, чем сердце Саенки.

И вот однажды, за два дня до прихода в Харьков добровольцев, явился, по обыкновению, Саенко со своим списком за очередными жертвами.

— Акименко!

— Здесь.

— Отходи в сторону.

— Васюков!

— Тут.

— Отходи.

— Позвольте мне сказать...

— Ну, вот еще чудак... Разговаривает. Что за народ, ей-Богу. Возиться мне с тобой еще. Сказано отходи — и отходи. Стань в сторонку. Кормовой!

— Здесь.

— Отходи. Молчанов!

— Да здесь я.

— Вижу я. Отойди. Никольский!

Молчание.

— Никольский!!

Молчание. Помолчали все: и ставшие к стенке, и сидящие на нарах, и сам Саенко.

А Никольский в это время, сидя как раз напротив Саенко, занимался тем, что, положив одну разутую ногу в опорке на другую, тщательно вертел в пальцах папиросу-самокрутку.

— Никольский!!!

И как раз в этот момент налитые кровью глаза Саенки уставились в упор на Никольского.

Никольский не спеша провел влажным языком по краю папиросной бумажки, оторвал узкую ленточку излишка, сплюнул, так как крошка табаку попала ему на язык, и только тогда отвечал вяло, с ленцой, с развальцем:

— Что это вы, товарищ Саенко, по два раза людей хотите расстреливать? Неудобно, знаете.

— А что?

— Да ведь Никольского вчера расстреляли!

— Разве?!

И все опять помолчали: и отведенные в сторону, и сидящие на нарах.

— А, ну вас тут,— досадливо проворчал Саенко, вычеркивая из списка фамилию.— Запутаешься с вами.

— То-то и оно,— с легкой насмешкой сказал Никольский, подмигивая товарищам,— внимательней надо быть.

— Вот поговори еще у меня. Пастухов!

— Иду!

* * *

А через два дня пришли добровольцы и выпустили Никольского.

* * *

Не знаю, как на чей вкус...

Может быть, некоторым понравился аббат Мори, а мне больше нравится наш русский Никольский.

У аббата-то, может быть, когда он говорил свою остроумную фразу,— нижняя челюсть на секунду дрогнула и отвисла, а дрогни челюсть у Никольского, когда он, глядя Саенке в глаза, дал свою ленивую реплику,— где бы он сейчас был?

Разрыв с друзьями

Посвящается В. С. фон Гюнтер

I

Вы — грязны, оборваны; на вас неумело заплатанное, дурно пахнущее платье; давно небритая щетина на лице, пыльные всклокоченные волосы, траур на ногтях, выпученные на коленках брюки и гнусного вида стоптанные опорки на ногах.

Представьте это себе.

Вы — опустившийся, подлый, пропитанный дешевой сивухой ночлежный — человечишко,— и вдруг в одном из

гнилых, пахнущих воровством переулков вы встретили своего бывшего, прежнего друга — представьте себе это!!

Он одет в черное, прекрасно сшитое, пальто, на руках свежие замшевые перчатки, на голове изящная фетровая шляпа, из-под атласного лацкана пальто виден чудесно завязанный галстук, приятно выделяющийся синим пятном на белоснежном белье; только что выбритые щеки еще не успели покрыться синевой, на них еще остался еле уловимый след дорогой пудры, а ноги обуты в изящные лаковые ботинки с замшевым верхом; а пахнет от вашего прежнего старого друга герленовскими Rue de la Paix...

Он добр; он радушен; он не замечает вашей гнусности, оскудения и грязи...

Радостно протягивает к вам руки и приветливо восклицает:

— Ба! Приятная встреча! Ну, пойдем. И-и, нет, нет,— и не думай отказываться! Пойдем со мной в ресторанчик — тут есть такой с кабинетами — закусим, выпьем, старину вспомним. Ну же, друг, не ломайся.

И вот мы с ним в теплом чистом кабинете ресторана: на столе — свежая икра, этакие серые влажные зерна,— до того крупные, что их пересчитать можно, и к икре поджаренные гренки; и ветчина — розовая, тонкая, прозрачная, как кожа ребенка; и желтый балык, нарезанный так, что похож на бабочку, раскинувшую крылья,— упругий, с хрящиком, осетровый балык; и бутылка Кордон Вер кажет свое зеленое горло из серебряного ведра со льдом.

А друг ваш небрежно роняет благоговейно внимающему лакею:

— Ну, дайте там чего-нибудь горяченького: на первое ушицы можно, если стерлядка подвернется, а на второе... Ну, чего бы? Котлетку можно Мари-Луиз и спаржи, что ли?..

И тут же, отпустив слугу, радушно поворачивается к вам и говорит красивым вежливым языком, без брани и заушения, к чему вы так привыкли в вашей alma mater — ночлежке:

— Ну-с, так вот, значит, как. Рад тебя видеть, очень рад. А я, брат, только что из-за границы... Прожил два месяца в Виареджио, проскучал недельку в Милане, преотчаянно влюбился в одну американку в Остенде — и, чтобы излечиться от страсти — махнул обратно в нашу милую Россию... Ну, что здесь? Встречаешь кого-нибудь из старых приятелей? Я слышал, князь Сергей женился и уехал в свое подмосковное? А наш милейший Боб? По-прежнему зани-

мается коллекционерством фарфора? А его papa, как и раньше, проедает третье баронское наследство на ужинах у Кюба? Говорят, его лошадь победила на дерби? Что ты сидишь такой... скучный, а? Да развеселись же, голубчик; ma parole[24], ты раньше был живиальней.

Ma parole?! Князь Сергей?.. Виареджио? А вот мне вчера Сенька Обормот чуть голову не проломил денатуратной бутылкой — это тебе не Виареджио!..

И вы сидите против него — грязный, небритый, весь окутанный еще неостывшими ночлежными заботами,— и этот голос из другого, чудесного, недоступного для вас, ушедшего от вас мира доводит вас до того — представьте себе это,— что вы вот-вот сейчас броситесь на него, вцепитесь в горло и с ненавистью начнете рвать сверкающее белье на беззаботной холеной груди...

II

Впрочем — это все присказка.

А сказка — тяжелая, мрачная, угрюмая — впереди. Идя в ногу с общей жизнью, я чувствую себя грязным, небритым, опустившимся человеком; впрочем, такова сейчас вся Россия.

Но в левом углу на деревянной полке расставлена у меня пестрая компания старых друзей, которых я так любил раньше, без которых дня не мог прожить и от которых я сейчас шарахаюсь, как от чумы.

Потому что удовольствие от встречи с любым из них — на час, а расстройства на целый день.

Я не могу! Я отравлен! Я не виноват, хотя друзья мои остались те же — ни одна буквочка в них не изменилась, а вот я другой; я — бывший человек из ночлежки Аристида Кувалды[25].

Я — грубое, мрачное, опустившееся на дно существо, а они все такие чистенькие, корректные, напечатанные на прекрасной белой бумаге и облаченные в изящные золоченые коленкоровые переплеты.

Ну, хорошо; ну, ладно; ну, вот я беру с полки одну книгу, развертываю ее, читаю.

Могу я так сосредоточиться, как раньше?

О чем написано в этой книге? Почему эти голоса звучат, как доносящиеся из другого, будто навсегда погребенного мира?

Ну, вот я читаю, по прежнему времени, самые невинные строки:

«Она опустила голову низко, низко и, машинально катая тонкими пальцами хлебные шарики, прошептала: если ты хочешь доказательств — я брошу для тебя детей и разведусь с мужем...»

Ну, вот — я читаю это. И вы думаете, моя мысль следует за разворачивающейся драмой любящей женской души?

Как бы не так! Черта с два!

Главная мысль у меня такая: катает хлебные шарики... Ишь ты! А хлеб-то, небось, не по карточкам. В очереди не стояла, дрянь этакая, так можно катать, не жалеючи хлеба.

«Чтоб потом я же оказался палачом, разлучником с твоими детьми?!» — крикнул он, стукнув по столу так, что тарелка с маслом задребезжала...»

Стучи, стучи! Небось, если бы, как теперь, масло стоило пять тысяч фунтик,— не постучал бы... А интересно, где они его доставали? Наверное, в молочной покупали. Посмотрика ты на них: сливочное масло лопают, да еще и ссорятся, а?

Бросаю эту книгу, раскрываю другую:

«...Прошло уже несколько лет, но перед его глазами все время как живая стояла эта страшная картина: раненый человек полулежит на земле и между его пальцами струится кровь из раны на груди. Лицо его постепенно бледнеет, глаза затуманиваются какой-то пленкой...»

Подумаешь, важность! Да я в позапрошлом году видел, как в Москве латыши расстреляли на улице днем в Каретном ряду восемь человек,— и то ничего. Вели их, вели, потом перекинулись словом, остановили и давай в упор расстреливать. Так уж тут, при таком оптовом зрелище, нешто разглядишь, у кого «глаза затуманились какой-то пленкой» и кто «постепенно бледнел...».

Ухлопали всех, да и пошли дальше.

И сразу после этого московского зрелища делаются неинтересными все кисло-сладкие подробности об одном раненом, который, как потом оказалось, и не умер-то вовсе.

Бросаю эту книгу, беру третью:

«...Так ты меня жди в Крыму,— сказал он, нежно целуя ее.— Когда соскучишься, пришли ко мне в Питер срочную, и я через двое суток уже в твоих объятиях».

Тьфу! Даже читать противно: «срочная из Крыма в Питер», «через двое суток»!

А срочную через двадцать дней не хочешь получить?

А полтора месяца не хочешь ехать?

А из вагона тебя батько Махно не вышвырнет, как котенка? А Петлюра деньги и чемодан у тебя не отнимет?

Все ложь, ложь и ложь.

Все — расстройство моей души!

Все — напоминание о том, когда мы еще не были «бывшими людьми».

Простите вы меня, но не могу я читать на пятидесяти страницах о «Смерти Ивана Ильича».

Я теперь привык так: матрос Ковальчук нажал курок; раздался сухой звук выстрела... Иван Ильич взмахнул руками и брякнулся оземь. «Следующий!» — привычным тоном воскликнул Ковальчук.

Вот и все, что можно сказать об Иване Ильиче.

* * *

Прощайте, мои книги, прощайте, мои верные друзья... Сжечь бы вас, каналий, следовало за то, что вы так можете человека расстроить.

Если на ваших страницах босяк выпивает бутылку водки (стоит теперь 10 000 рублей), если извозчик за четвертак везет через весь город и, получив гривенник прибавки, называет седока вашим сиятельством, если скромный ужин студента состоит «из куска ростбифа и бутылки дешевого красного вина», если шикарная кокотка за ночь любви получает 50 рублей, если ваши герои могут переноситься в двое суток из Петербурга в Крым, если вы можете на ста страницах размазывать, как умирает Черт Иванович, если «к подъезду графа мягко подкатил пятитысячный лимузин» — если все это, — то нам с вами не по дороге: катите себе дальше на «пятитысячном лимузине» или сядьте «на шикарного лихача за трешницу», а мы скромно усядемся на империале конки за пятьсот целковых.

Прощайте! Поцелуйте от меня студента, убого поужинавшего ростбифом и бутылкой дешевого вина...

Ну, с Богом. Трогай, пятисотрублевая конка!

Античные раскопки

Когда шестилетний Котя приходит ко мне — первое для него удовольствие рыться в нижнем левом ящике моего письменного стола, где напихана всякая ненужная дрянь;

а для меня первое удовольствие следить за ним, изучать совершенно дикарские вкусы и стремления.

Наперед никогда нельзя сказать, что понравится Коте: он пренебрежительно отбросит прехорошенькую бронзовую собачку на задних лапках и судорожно ухватится за кусок закоптелого сургуча или за поломанный ободок пенсне. Суконная обтиралка для перьев в форме разноцветной бабочки оставляет его совершенно равнодушным, а пустой пузырек из-под нашатырного спирта приводит в состояние длительного немого восторга.

Сначала я думал, что для Коти самое важное, издает ли предмет какой-либо запах, потому что и сургуч, и пузырек благоухали довольно сильно.

Но Котя сразу разбил это предположение, отложив бережно для себя металлический колпачок от карандаша и забраковав прехорошенький пакетик саше для белья.

Однако обо всяком подвернувшемся предмете он очень толково расспросит и внимательно выслушает:

— Дядя, а это что?

— Обтиралка для перьев.

— Для каких перьев?

— Для стальных. Которыми пишут.

— Пишут?

— Да.

— А ты умеешь писать?

— Да, ничего себе. Умею.

— А ну-ка, напиши.

Пишу ему на клочке бумаги: «Котька прекомичный пузырь».

— Да, умеешь. Верно. А это что?

— Ножик для разрезания книг.

Молча берет со стола книгу в переплете и, вооружившись костяным ножом, пытается разрезать книгу поперек.

После нескольких напрасных усилий вздыхает:

— Наверное, врешь.

— Ах, вру? Тогда между нами все кончено. Уходи от меня.

— Ну, не врешь, не врешь. Пусть я вру, хорошо? Не гони меня, я тебе ручку поцелую.

— Лучше щечку.

Мир скрепляется небрежным, вялым поцелуем, и опять:

— Дядя, а это что?

В руках у него монетница белого металла с пружинками — для серебряных гривенников, пятиалтынных и двугривенных.

— Слушай, что это такое?

— Монетница.

Нюхает. Подавил пальцем пружинки, потом подул в них.

— Слушай, оно не свистит.

— Зачем же ему свистеть? Эта штука, брат, для денег. Вот видишь, сюда денежка засовывается.

Долго смотрит, прикладывая глазом.

— Она же четырехугольная!

— Кто?

— Да эти вот, которые... деньги.

Сует руку в боковой карманчик блузы и вынимает спичечную коробку — место хранения всех его капиталов.

Недоверчиво косясь на меня глазом (не вздумаю ли я, дескать, похитить что-либо из его денежных запасов), вынимает измятый, старый пятиалтынный.

— Видишь — вот. Как же положить?

— Чудак ты! Сюда кладут металлические деньги. Твердые. Вроде как эта часовая цепочка.

— Железные?

— Да, одним словом, металлические. Круглые.

— Круглые? Врешь ты... Нет, нет, не врешь... Я больше не буду! Хочешь, ручку поцелую? Слушай, а слушай...

— Ну?

— Ты показал бы мне такую... железную. Я никогда не видел...

— Нет у меня.

— Что ты говоришь? Значит, ты бедный?

— Все мы, брат, бедные.

— Дядя, чего ты сделался такой? Я ведь не сказал, что ты врешь. Хочешь, поцелую ручку?

— Отстань ты со своей ручкой!

Снова роется Котя в разной рухляди и — только в действительной жизни бывают такие совпадения — вдруг вытаскивает на свет Божий настоящий серебряный рубль, неведомо как и когда затесавшийся среди двух половинок старого разорванного бумажника.

— А это что?

— Вот же он и есть — видишь? Те деньги, о которых я давеча говорил.

— Какие смешные. Совсем как круглые. Сколько тут?

— Рубль, братуха.

Денежный счет он знает. Из своей спичечной коробки вытаскивает грязный, склеенный в двух местах, рубль, долго сравнивает.

Из последующего разговора выясняется, до чего дьявольски практичен этот мальчишка.

— Слушай, он же тяжелый.

— Ну, так что?

— Как же их на базар брали?

— Так и брали.

— Значит, в мешке тащили?

— Зачем же в мешке?

— Ну, если покупали мясо, картошку, капусту, яблоки... разные там яйца...

— Да мешок-то зачем?

— Пять-то тысяч штук отнести на базар надо или нет? Мать каждый день дает пять тысяч!

— Э-э... голубчик,— смеясь, прижимаю я его к груди.— Вот ты о чем! Тогда и парочки таких рублей было предовольно!

Смотрит он на меня молча, но я ясно вижу — на влажных губах его дрожит, вот-вот соскочит невысказанная любимая скептическая фраза: «Врешь ты, брат!..»

Но так и не слетает с уст эта фраза: Котька очень дорожит дружбой со мной.

Только вид у него делается холодно-вежливый: видишь, мол, в какое положение ты меня ставишь,— и врешь, а усумниться нельзя.

Возвращение

«...Тарас тут же, при самом въезде в Сечь, встретил множество знакомых лиц... Только и слышались приветствия: «А, это ты, Печерица!» — «Здравствуй, Козолуп!» — «Откуда Бог несе тебя, Тарас?» — «Ты как сюда зашел, Долото?» — «Здорово, Кидряга!» — «Здорово, Густый!» — «Думал ли я видеть тебя, Ремень?»[26]

И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира великой России, целовались взаимно, и тут понеслись вопросы: «А что Касьян? Что Бородавка? Что Колопер? Что Пидсышок?».

И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Толопане, что с Колопера содрали кожу под

Кизикирменом, что Пидсышкова голова посолена в бочке и отправлена в Царьград...»

* * *

Чует, чует наше общее огромное русское сердце, что совсем уж скоро побегут красные разбойники, что падет скоро Москва и сдастся Петроград...

Без толку, зря, как попугаи, к месту и не к месту, к слову и не к слову твердили в свое время болтуны и краснобаи — все сплошные керенские, черновы и гоцлиберданы: «Приближается конец! Бьет двенадцатый час». Им ли, выращенным в затхлом табачном воздухе швейцарских кофеен и пивных, было дано учуять двенадцатый час нашей родины? Без толку, как попугаи, картавили они: «Бьет двенадцатый час! Бьет двенадцатый час!» И вовсе не бил он... Это шел пятый, шестой, седьмой час...

А вот теперь мы все, все наше русское огромное сердце, почуяли этот час ликвидации и расчета, и скоро, скоро грянет грозное, как звон тысячи колоколов, как рев тысячи пушек: «Бьет двенадцатый час! К расчету!»

* * *

С грохотом, стоном и визгом понесется с теплого юга на холодный север огромная железная птица, дымящая и пыхтящая с натуги, понесется, как бешеная, на север — вопреки инстинкту других птиц, которые на зиму глядя тянутся не с юга на север, а с севера на юг. И будет чрево той птицы, этой первой ласточки, которая сделает весну,— набито битком разным русским людом, взор которого, как магнитная стрелка, обратится к северу, а на лице напишется одна мысль, звучащая в такт лязгу колес: «Что там? Что там? Что там?»...

Там у них все! Жены, оторвавшиеся от мужей, мужья от жен, дети от родителей, там десятки лет свивавшиеся гнезда, там друзья, привязанности, дела и воспоминанья — там все, что было так прочно налажено, так крепко сшито — и о чем целые годы никто не имел ни слуху, ни духу:

«Что там, что там, что там?»...

Вы, южане, сидящие тут на своих прочных, насиженных местах,— поймете ли вы ни с чем не сравнимое, небывалое еще во всемирной истории ощущение петербуржца,

когда он впервые за полтора-два года спрыгивает с подножки вагона на перрон Николаевского вокзала, быстрыми шагами оставляя далеко позади себя носильщика, промчится к выходу на площадь, украшенную слоновым монументом Александра III[27], выбежит на ступеньки вокзала и ... поползет кверху бровь его:

— Где же памятник?!! Его нет! То, что казалось нам привычным, несокрушимым, что ставилось на сотни лет,— исчезло!

Ах, друзья! Знаете ли вы ощущение человека, который столкнулся лицом к лицу с близким другом — и видит он с ужасом, что у этого друга нет носа. Провалился нос.

Вот какое ощущение будет у петербуржца, когда он увидит, что исчез огромный, неуклюжий, осмеянный в свое время, облитый ядом очередной неглубокой петербургской иронии,— но бесконечно дорогой и любимый наш памятник, как немой символ тяжелой длани царя — «Миротворца», как неотделимая часть нашего прекрасного, колдовского, волшебного Петербурга!..

Нет памятников. Провалился нос на лице.

И вдруг тут же на площади встретит он пробегающего знакомого, чудом из чудес выжившего, не протянувшего скелетообразных ног в этом аду.

И пойдут тут поцелуи и взаимные приветствия: «А что Парфентьев? Что Николай Иваныч? А где Полосухин? А что поделывает Горбачев?»

И услышит он в ответ, как в свое время Тарас Бульба,— что расстрелян Полосухин за саботаж, что замучили в чрезвычайке Парфентьева, что умер от голода на широком красавце Невском сиромаха Николай Иваныч, что и Лизочка Караваева повесилась от мук невыносимого «организованного» голода, и Маруси Грибановой нет, и Катерины Ивановны, и Димочки Овсюкова — все, все «сошли под вечны своды».

Вздохнет только приезжий петербуржец, свесит голову и тихо побредет по Невскому...

Батюшки мои! Да разве же это Невский?! Где его великолепные человеческие волны?! Где его могучий шум, шум океанского прибоя, чудная для моего уха музыка рева автомобильных гудков, трамвайных звонков, воплей газетчиков,— вся та сложная симфония, которая слагается из людской молви, конского топа, торгашеского вопля и железного лязга трамвайных рельс.

Где его пышные стены, сверху донизу усеянные, унизанные сплошь так, что и для визитной карточки нет места,— обвешанные вывесками, плакатами, витринами, всем этим птичьим гамом пестрой шумной рекламы — лучшей свидетельницы бодрой, нормальной, веселой, деловой, хлопотливой, суетливой, энергичной жизни столицы.

Молчит немая улица, угрюмо принахмурились обнаженные, будто раздетые, лишенные своей пышной одежды — вывесок — дома.

И только внизу, у самой панели, как ажурные кружева из-под юбки развратницы, как дессу кафешантанной блудницы,— виднеется грязно-белая пена большевистских декретов, постановлений, воззваний и заклинаний обожравшейся, издыхающей гадины.

Ужасная улица — этот былой красавец Невский; тысячи пороков, грязи и преступлений написаны на гордом прежде челе его.

Но идет все дальше, все дальше петербуржец — и вот уже его улица, вот уже его дом, уже виднеются окна его квартиры, где любовно и хлопотливо вил он семейное гнездо свое, где любил, боролся, падал и снова поднимался...

«Что там, что там, что там?»...

Цела ли обстановка? Осталось ли там хоть что-нибудь? И чудится ему отбитая штукатурка, разобранный паркет, которым вместо дров топили печи, ободранные обои, разбитые грязные стекла и сорванные с петель двери...

Дворник встречает его в воротах — тот же дворник — эти-то уцелеют при всяких режимах и переворотах!

Но что это? Чудо из чудес! Сдергивает поспешно с головы шапчонку этот всероссийский привратник, и в глазах его уже не наглость зарвавшегося дешевого хама, а настоящая русская, сияющая добродушной радостью, ласка и приветливость.

— Да неужто ж барин? Вот-то радость какая, Господи! Заждались мы вас! Шутка ли — больше двух лет!..

— А что... моя... квартира?..— с тайным трепетом спросит петербуржец, обнимая, как родного, как кровного брата, сияющего дворника.

— Цела-с, пожалуйте. Комиссар тут жил — тем только и сохранили! Пианино, правду говоря, маленько «Яблочком» расшатали да абажур в гостиной разбили... Позавчера только и бежал комиссар... Жидка Варвара на расправу!.. Вот-с ключик.

Сладостное, чудесное ощущение!

Моя старая квартира! Мои картины, мои ковры, мои книги, на страницах которых, может быть, остались следы неуклюжих жирных пальцев, но тем дороже вы мне, мои книги, потому что этим самым вместо одной — две повести расскажете вы мне, когда голубоватым светом засветится родная лампа, когда приветливо затрещат дрова в камине, и я, придвинув к огню мягкое старое кресло, начну вас перелистывать, прихлебывая из стакана доброе старое бордо, чудом уцелевшее под откидным сиденьем оттоманки.

И когда в эти тихие сумерки зазвонит вдруг телефон на письменном столе и голос друга прозвучит издали: «Я взял тебе билет в Мариинку, сегодня премьера», когда, переодевшись в вечерний костюм, выйдет петербуржец из дому и окунется в эту милую петербургскую туманную, слякотную полумглу, в которой так призрачно, еле намеченно светят матовые шары фонарей, когда окунется он в этот суетливый гомон огромной столицы,— схватится он за голову и подумает громко:

Сон то был или явь? Дьявольское наваждение, бесовское действо или... на всю будущую жизнь глубокое, грозное, печальное memento mori...

КОНЕЦ

Примечания

В настоящее издание избранных произведений А. Т. Аверченко включены рассказы, написанные им в Крыму в 1919—1920 гг. и в изгнании в начале 20-х гг. Изучение творческого наследия писателя только начинается. Поэтому составитель преследовал скромные цели — во-первых, представить широким кругам отечественных читателей ранее недоступные произведения: книги рассказов «Дети», «Пантеон советов молодым людям», «Нечистая сила», которые в СССР не публиковались. «Кипящий котел», «Записки Простодушного» ранее были представлены выборочно, «Дюжина ножей в спину революции» переиздавалась с сокращениями. В советское время выходили сборники прозы Аверченко, составленные по усмотрению издателей, нередко со значительными искажениями текста («Записки Простодушного». М., 1922; «Осколки разбитого вдребезги». М.—Л., 1927; двухтомник «Избранные сочинения». М., 1927; «Рассказы о старой школе». М.; Л., 1930). Попытка переиздать некоторые рассказы была предпринята С. Степановым и О. Михайловым («Оккультные науки». М., 1964; «Юмористические рассказы». М., 1964). Новый этап знакомства с творчеством А. Аверченко начался изданием книги «Избранные рассказы» (М., 1985) и продолжился выходом в издательствах «Современник» и «Советская Россия» полумиллионными тиражами сборников для детей «Кривые углы» и «Одиннадцать слонов», которые разошлись в мгновение ока. Задача нашего сборника — представить творчество А. Т. Аверченко-эмигранта. Мы стремимся отразить по возможности весь художественный диапазон: от юморесок и рассказов до политического фельетона. Объем книги позволяет представить рассказы и сборники в целом, без сокращений. Исключение — «Пантеон советов молодым людям», в котором оставлены только традиционные произведения писателя.

Издание построено по жанрово-тематическому принципу. Избегая строгой хронологической последовательности, мы не упускаем из виду вехи его творческой эволюции. Так, открывая книгу сборником «Дети» (1922) и «Пантеоном советов молодым людям» (1924), мы обозначаем связь с дореволюционным творчеством автора. Тема изгнания, мотивы смятения явственно звучат в рассказах, отражающих жизненный путь самого А. Аверченко —

время «врангелевского сидения в Крыму» («Кипящий котел», 1922), эмиграция в Турцию и Чехословакию («Записки Простодушного», 1923). В свою очередь, «Кипящий котел» свидетельствует о тех условиях, в которых создавались («Нечистая сила», 1920) и («Дюжина ножей в спину революции», 1921), где с наибольшей ясностью выражена общественно-политическая позиция автора в момент великого русского рассеяния.

В издании сохранены особенности авторского написания слов.

ДЕТИ

Сборник впервые вышел в константинопольском издательстве «Культура» в 1922 г. Репринтное переиздание было осуществлено в США, «Russica Publishers», New York, 1979 г. Печатается по первому изданию.

[1] *«Записки палача» Шарля Сансона.*— Анри Сансон (1767—1840) был исполнителем верховных приговоров Парижского уголовного суда. В России вышло 6 томов его воспоминаний «Записки палача, или Политические и исторические тайны Франции» (Санкт-Петербург, 1863—1866).

[2] *Клемансо* Жорж (1841—1929) — премьер-министр Франции с 1917 по 1920 г. Во время первой мировой войны ратовал за полный разгром Германии, не считаясь ни с какими жертвами.

[3] *Боши*— презрительное прозвание немецких солдат.

[4] *Ариадна Руманова* — племянница русского журналиста Аркадия Вениаминовича Руманова, семью которого хорошо знал А. Аверченко.

ПАНТЕОН СОВЕТОВ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ

Впервые — в издательстве «Арбат» — Берлин, 1924. В 1979 г. сборник был переиздан репринтным способом в издательстве «Russica Publishers», New York. Печатается по первому изданию.

[1] *Кубелик* Ян (1880—1946) — чешский скрипач и композитор.

[2] *Лаго-Маджиоре* — живописное озеро в Италии и Швейцарии.

КИПЯЩИЙ КОТЕЛ

Впервые — в издательстве «Культура» — Константинополь, 1922. Печатается по этому изданию.

[1] *Parbleu* (фр.) — черт возьми.

[2] *«...у отца было три сына...»* — Строки из сказки П. П. Ершова «Конек-Горбунок».

[3] *«Каркнул ворон — «Никогда».*— Рефрен из баллады Э. По «Ворон».

[4] *Never more* (англ.) — никогда.

[5] *«...Нам были так сладко желанны они...»* — Отрывок из стихотворения Перси Биши Шелли «Изменчивость».

[6] *Добужинский* Мстислав Валерианович (1875—1957) — русский живописец, график, декоратор. Член творческого содружества «Мир искусства». Работал в «Сатириконе» с Аверченко. С 1925 г. жил за границей. *Билибин* Иван Яковлевич (1876—1942) — русский художник, автор стилизованных иллюстраций к произведениям русского фольклора. Член «Мира искусства», в начале 10-х гг. работал в «Сатириконе» вместе с Аверченко. *Бенуа* Александр Николаевич (1870—1960) — русский художник, историк искусства. Один из основателей группы «Мир искусства». С 1926 г. жил во Франции. *Ре-Ми* — псевдоним русского художника Николая Владимировича Ремизова (1887—1961), постоянного сотрудника «Сатирикона» и «Нового Сатирикона».

[7] *Сомов* Константин Андреевич (1869—1939) — русский художник. Член «Мира искусства». С 1923 г. в эмиграции. *Бердслей* Обри (1872—1898) — английский художник-модернист. *Ропс* Фелисьен (1833—1898) — бельгийский художник-модернист.

[8] *Ars longa, vita brevis!* (лат.) — Искусство вечно, жизнь коротка.

[9] ...ставить в Мариинке «Электру».— Опера Р. Штрауса «Электра» была поставлена в Мариинском театре в Петербурге 18 февраля 1913 г. Постановка была встречена с непониманием. Состоялось всего три представления.

[10] *Ферреро* Вилли (1906—1954) — итальянский музыкант, дирижер. В 1913 г. выступал в России с концертами. Публика была покорена талантом семилетнего «чудо-ребенка».

[11] *...en canaille* (фр.) — каналья.

[12] *...дурасовский кодекс.*— Речь идет о «Дуэльном кодексе», составленном русским историком В. Дурасовым на основе европейских дуэльных правил. Издан в 1908 г.

[13] *...гросс* (gross — фр.) — двенадцать дюжин.

[14] *«Сим победиши!»*— В 312 г. римский император Гай Флавий Валерий Константин (285—337) перед сражением с Максенцием приказал сделать знамя с изображением креста и надписью «Сим победиши». Это знамя стало символом доблести и на Руси.

[15] *...пришла пора другого Ноева сына...*— См. кн. Бытие, 9:18 — «Сыновья Ноя... были: Сим, Хам и Иафет».

[16] *Дрюри-Ленский театр* — (Drury Lane) — один из старейших английских драматических театров. Построен в Лондоне в 1663 г.

[17] *Суарэ* — soiree (фр.) — вечеринка.

ЗАПИСКИ ПРОСТОДУШНОГО

Этот сборник с подзаголовком «Я в Европе. Турция — Чехо-Словакия» вышел в издательстве «Север» (Берлин, 1923). Годом раньше в Москве Н. С. Шуленин издал первую его часть —

«Эмигранты в Константинополе», куда не вошли рассказы «Константинопольские греки», «Утопленники», «Дела». Печатается по берлинскому изданию.

[1] *...на Перу...*— Пера — улица в Константинополе.

[2] *...в германскую войну... втемяшились?* — Турция присоединилась к германо-австрийскому блоку 29 октября 1914 г.

[3] *Комбьен сетт гато?* — Comme bien cette gatteau? (искаженное фр.).— Сколько стоит это пирожное?

[4] *Бешь* — beş (тур.) — пять.

[5] *Олл райт* — all right (англ.) — все в порядке. *А риведерчи* — arrivederci (ит.) — до свидания.

[6] *Комм же пуве алле дан л'амбассад рюсс?* — Comme je pouvais aller dans l'ambassade russe? (фр.) — Как пройти к русскому посольству?

[7] *Тут-де сюит. Вуз алле ту а гош, а гош, апре анкор гош, е еси...*— Tout de suite. Vous aller tout a gauche, a gauche, après encore gauche, et ici... (фр.) — Сейчас. Вы идите все налево, налево, после еще налево и здесь...

[8] *Же компран...*— je comprend (фр.) — Я понимаю.

[9] *Ла порт де фер* — la porte de fer (фр.) — железная дверь.

[10] *Бьен* — bien (фр.) — хорошо.

[11] *Кемалисты* — участники кемалистского революционного движения (1918—1923), начавшегося в результате поражения Турции в войне 1914—1918 гг. и закончившегося образованием республиканской государственности.

[12] *...гекатомбы.*— В Древней Греции — жертвоприношение, состоявшее из ста быков. Здесь: огромные жертвы террора, революции.

[13] *Пьер Лоти* (настоящее имя Луи Мари Жульен Вио, 1850—1923) — французский писатель, автор «экзотических» романов «Азиаде», 1879; «Госпожа Хризантема», 1888 и др.

[14] *Кали-мерос* — χαλημερα (греч.) — добрый день.

[15] *Венизелос* Элефтериос (1864—1936) — греческий государственный деятель, противник реставрации монархии в Греции.

[16] *Малиста* — μαλιτα (греч.) — пожалуйста.

[17] *Стюпидик* — т. е. глупышка — от английского слова stupid — глупец; *...со* — sot (фр.) — дурень.

[18] *...сетт аффре* — c'est affreux (фр.) — ужасно.

[19] *...апре кельк-шоз* — après quelque chose (фр.) — после чего-нибудь.

[20] *Токатлиан* — площадь в Константинополе.

[21] *Паноптикум* — собрание разнообразных необычайных предметов, например восковых фигур.

[22] *...pro* и *contra* (лат.) — за и против.

[23] *«Пресс дю суар»* — «Press du soir» — французская «Вечерняя газета».

[24] *Calmez-vous, je vous en prie* (фр.).— Успокойтесь, прошу Вас.

[25] *Mais oui* (фр.) — ну да.
[26] *...poisson bien frais* (фр.) — хорошая свежая рыба.
[27] *...сет селебр рюсс* — cette celebre russe (фр.) — этот знаменитый русский.
[28] *...нотр повр Рюсси* — notre pauvre Russie (фр.) — наша бедная Россия.
[29] *...веритабль петербуржсьен* — veritable peterburgien (фр.) — настоящая петербургская.
[30] *Manger* (фр.) — есть, кушать.
[31] *...tasse de* (фр.) — чашка.
[32] *...avec* (фр.) — с.
[33] *Благодаря новой турецкой политике — все греки теперь покидают Константинополь.* — Пребывание греков в Турции было объявлено правительством Мустафы Ататюрка оккупацией. Изгнание греческих предпринимателей из Константинополя (1921) и всего греческого населения из Турции (1922) было результатом националистической политики новых властей.
[34] *«Ла ви Паризьен»* — «La vie Parisien» — французская газета «Жизнь Парижа»; *«Сурир»* — «Le Sourire», французская газета, выходила с 1898 г. в Париже.
[35] *Сафо* (7—6 вв. до н. э.) — древнегреческая поэтесса. *Фрина* (4 в. до н. э.) — знаменитая греческая гетера, служила моделью скульптору Праксителю для Афродиты Книдской. *Аспазия* (около 470 г. до н. э.— ?) — афинская гетера. Отличалась умом, образованностью, красотой. В ее доме собирался цвет древнегреческой науки и искусства. *Билитис* (начало 6 в. до н. э.) — др.-греч. поэтесса.
[36] *...глетчер* — снежный обвал.
[37] *М.Г.* — сокращенное письменное обращение «Милостивый государь».
[38] *«Прагер прессе»* — «Prager Presse» — чешская газета, в которой печатались рассказы А. Аверченко.
[39] *...знаете Чирикова?* — Евгений Николаевич Чириков (1864—1932) — русский писатель. С 1920 г. в эмиграции. Активно сотрудничал с А. Аверченко в газетах «Юг», «Юг России» (Севастополь, 1919—1920 гг.).

ДЮЖИНА НОЖЕЙ В СПИНУ РЕВОЛЮЦИИ

Впервые — Париж, 1921. С сокращениями сборник был переиздан в журнале «Юность», № 8, 1989. Печатается по первому изданию.

[1] *...гросс* — gross (фр.) — двенадцать дюжин.
[2] *...притча о бесах...* — См. Евангелие от Луки (8:32—36): «Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней...».
[3] *...Распутин... покатил к себе в Тюмень.* — Село Покровское, где родился Г. Е. Распутин (1872—1916), находилось в Тюменском уезде Тобольской губернии.

[4] *Вильгельм Гогенцоллерн* — Вильгельм II (1859—1941) из династии Гогенцоллернов, германский император с 1888 по 1918 г. Активно выступал за развязывание мировой войны с целью передела мира.

[5] *...Манифест 17 октября...* — Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» был подписан Николаем II 17 октября 1905 г. с целью провозглашения гражданских свобод и создания Государственной думы.

[6] *«Задушевное слово»* — еженедельный иллюстрированный журнал для детей старшего возраста. Издавался в Петербурге с 1876 по 1916 г. товариществом М. О. Вольфа.

[7] *Бризантный снаряд* — мощный артиллерийский снаряд, предназначенный для уничтожения противника в укрытиях.

[8] *Михайла Арцыбашев* — Михаил Петрович Арцыбашев (1878—1927) — автор нашумевших романов «Санин», «У последней черты». С 1923 г. в эмиграции.

[9] *Милюков* Павел Николаевич (1859—1943) — русский политический деятель, историк. Один из организаторов партии конституционных демократов. В 1917 г.— министр иностранных дел Временного правительства.

[10] *Гучков* Александр Иванович (1862—1936) — русский промышленник, лидер октябристов. В 1917 г. был министром военных и морских сил Временного правительства.

[11] *Скобелев* Матвей Иванович (1885—1939) — министр труда Временного правительства.

[12] *Церетели* Ираклий Георгиевич (1881—1959) — министр Временного правительства, один из лидеров меньшевизма.

[13] *Чхеидзе* Николай Семенович (1864—1926) — меньшевик. В 1917 г. председатель Петросовета.

[14] *Гоцлибердан* — имеются в виду *Гоц* Абрам Рафаилович (1882—1940) — эсер. После 1917 г.— лидер фракции эсеров в Петросовете. *Либер* (настоящая фамилия Гольдман) Михаил Исаакович (1880—1937) — один из лидеров Бунда, меньшевик. В 1917 г.— член исполкома Петросовета. *Дан* (настоящая фамилия Гурвич) Федор Ильич (1871—1947) — один из лидеров меньшевизма. В 1917 г. был членом Петросовета.

[15] *Нахамкис* (Стеклов Юрий Михайлович) (1873—1941) — большевик, писатель. С 1917 г. редактор газеты «Известия ВЦИК».

[16] *«Наш не любит оборванной черни...»* — строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда». Рассказ А. Т. Аверченко представляет собой интерпретацию намеченной Некрасовым коллизии.

[17] *«Шиповник»* — литературно-художественный альманах. Выходил в Петербурге с 1907 по 1914 г. *«Земля»* — московский литературно-художественный альманах (1908—1917).

[18] *Бельше* Вильгельм (1861—?) — немецкий писатель, автор трудов по естественным наукам.

[19] *Сытин* Иван Дмитриевич (1851—1934) — русский издатель-просветитель.

[20] *...саблинское...*— Саблин Владимир Михайлович (1872—1916) — издатель, переводчик, сотрудник «Русских ведомостей», «Курьера».

[21] *Мендес* Катюль (1841—1909) — французский писатель, автор популярных в России романов «Дети греха», «Месть служанки» и др.

[22] *«Сфинкс»* — издательство в Москве. Выпускало с 1907 по 1914 г. богато оформленные книги по истории и философии.

[23] *«Голике и Вильборг»* — акционерное книгоиздательское товарищество, основанное в 1903 г. в Петербурге. С 1922 г.— типография им. Ивана Федорова.

[24] Речь идет о книге А. С. Пушкина «Евгений Онегин», изданной «Голике и Вильборг» в 1911 г. с иллюстрациями Е. П. Самокиш-Судковской (1863—1924).

[25] *Лорд Биконсфилд — Дизраэли* Бенджамин, граф Биконсфилд (1804—1881) — лидер консервативной партии Великобритании, писатель.

[26] *«Умру, похоронят...»* — из студенческой песни на слова А. П. Серебрянского.

[27] *...из Циммервальда...*— деревня в Швейцарии, где проходили международные конференции политических партий. Здесь имеется в виду Циммервальдское объединение, от которого в 1917 г. отделилось ленинское «левое крыло» социал-демократической партии.

[28] *Мон ами, да мон ами, бон да бон.*— Mon ami (фр.), bon (фр.).— Мой друг да мой друг, хороший да хороший.

[29] *Кун* Бела (1886—1939) — деятель венгерского и международного коммунистического движения. Организатор казней русских офицеров в Крыму. Расстрелян в СССР в 1939 г.

[30] *Лапицкий* Иосиф Михайлович (1876—1944) — оперный и драматический артист, режиссер. Основал в Петербурге «Театр музыкальной драмы» в 1912 г.

[31] *«Мариинка»* — Мариинский театр в Петербурге, построен архитектором А. К. Кавосом в 1860 г.

[32] *Направник* Эдуард Францевич (1839—1916) — русский дирижер, композитор. По происхождению чех, в 1861 г. переехал в Россию, по его признанию, «из-за симпатий к России, как у всех чехов». Автор опер «Нижегородцы» (1868), «Дубровский» (1894).

[33] *Гофман* Иосиф (1876—1957) — польский пианист, неоднократно гастролировал в России с 1895 по 1913 г.

[34] *Никиш* Артур (1855—1922) — венгерский дирижер и композитор.

[35] *Зуппе* Франц фон (настоящие имя и фамилия Франческо Эценьеле Зуппе-Демелли) (1819—1895) — австрийский композитор и дирижер, один из создателей венской оперетты.

[36] *Джонсовская «Гейша»* — популярная оперетта английского композитора Сидни Джонса (1861—1946).

[37] *Дункан* Айседора (1877—1927) — американская танцовщица, в 1921—1924 гг. жила в СССР.

[38] *«Петербургская газета»* — политическая и литературная газета (1867—1918). С 20 августа 1914 г. выходила под названием «Петроградская газета».

[39] *...роман Брешки...* — Николай Николаевич Брешко-Брешковский (1874—1943) — прозаик, журналист. Автор многочисленных «бульварных» романов («Гадины тыла», 1915; «Ремесло Сатаны», 1916 и др.). С 1920 г. — в эмиграции.

[40] *«Сатирикон»* — русский еженедельный сатирический журнал. Выходил в Петербурге с 1908 по 1914 г. С 1908 г. (№ 9) редактором был А. Т. Аверченко.

[41] *«Канавка у Дворца»* — сцена из оперы «Пиковая дама» П. И. Чайковского (действие III, картина II).

НЕЧИСТАЯ СИЛА

Этот сборник рассказов был впервые издан в севастопольском издательстве «Новый Сатирикон» в 1920 г. В сборник вошли фельетоны и рассказы, печатавшиеся на страницах газеты «Юг» и «Юг России» в 1919 и 1920 гг. Второе издание было предпринято американским издательством «Russica Publishers» в 1976 г. Печатается по первому изданию.

[1] *...вурдалаки... шишиги, упыри...* — персонажи славянской мифологии. *Вурдалак* (волкодлак) — человек-оборотень, который после смерти превращался в упыря. В русской литературе впервые слово «вурдалак» вместо волкодлак использовал А. С. Пушкин. *Шишига* — черт. *Упырь* — мертвец, нападающий на людей и животных.

[2] *...ученик трижды отрекся...* — Согласно Евангелию, ученик Христа Петр трижды отрекся от Учителя испугавшись слуг, узнавших его. Пение петуха напомнило ему о предсказании Учителя и вызвало слезы раскаяния (Матф., 26:33—34).

[3] *Малинин* Александр Федорович (1834—1888) — педагог, автор учебников по геометрии, арифметике, физике. *Буренин* Константин Петрович (ум. в 1882 г.) — преподаватель математики, соавтор А. Ф. Малинина, брат русского писателя В. П. Буренина.

[4] *...дом балерины...* — особняк русской артистки балета Матильды Феликсовны Кшесинской (1872—1971) в марте 1917 г. был занят Петербургским комитетом РСДРП (б). С 1957 г. — Музей Октябрьской революции.

[5] *...многоглаголивый господин...* — подразумевается А. Ф. Керенский.

[6] *...имена же их ты, диаволе, веси...* — перифраз одной из молитв за упокой: «Имена же их ты, Господи, веси».

[7] *«Отдых на крапиве!..»* — так А. Т. Аверченко назовет сборник рассказов, изданный в варшавском издательстве «Добро» в 1924 г. В предисловии он объяснял суть заглавия: «Я всегда был против того, чтобы мои книги низводились до степени мягкой

перины ⟨...⟩ Она почти вся — едкая, колючая — ну точь-в-точь будто вы легли в крапиву...».

[8] *«Минуту спустя...»* — Аверченко неточно цитирует фрагмент из «Ночи перед Рождеством» Н. В. Гоголя.

[9] *...артистка Андреева...* — Мария Федоровна Андреева (Юрковская) (1868—1953) — русская драматическая актриса. После Октября — видный общественный деятель. Комиссар театров и зрелищ с 1919 по 1921 г.

[10] *Инкоммодите* — incommodite (фр.) — неприятность.

[11] *«Новое время»* — ежедневная петербургская политическая и литературная газета (1868—1917). С 1876 г. издателем был А. С. Суворин, определивший патриотическую направленность газеты. *«Русское слово»* — литературная и политическая газета либерального направления. Выходила в Москве с 1894 по 1917 г С 1897 г. издатель И. Д. Сытин. *«Речь»* — политическая и литературная газета (1906—1917). Печатный орган кадетов. *«Биржевка»* — «Биржевые ведомости» (1886—1917) — петербургская газета по вопросам политики, литературы и искусства. Основана С. М. Проппером, биржевым маклером.

[12] *Меньшиков* Михаил Осипович (1859—1918) — русский публицист, постоянный сотрудник либеральной газеты «Неделя», консервативного «Нового времени». Выступал против деятельности Государственной думы, инородцев.

[13] *«Алая Чума»* — фантастическая повесть Джека Лондона, в которой отразились мрачные футурологические взгляды писателя на бездушную цивилизацию, что породила смертоносных бацилл, уничтоживших основную часть живого на Земле: людям, по мысли автора, грозило одичание.

[14] *...мой замок...»* — Л. Н. Андреев приглашает А. Т. Аверченко к себе на дачу в Финляндию. В 1910-х гг. «Дом на Черной речке» Л. Андреева стал излюбленным местом встреч его друзей.

[15] *Радаков* Алексей Александрович — русский советский художник и писатель. Сотрудник журналов «Сатирикон», «Новый Сатирикон», «Красный перец», «Крокодил».

[16] *«Песня голода».* — Очевидно, речь идет об иллюстрации к трагедии Л. Н. Андреева «Царь Голод».

[17] *П. Маныч* — Петр Дмитриевич Маныч (ум. в 1918) — русский писатель, как называли его современники — «коновод литературной богемы». *Сергей Соломин* (настоящая фамилия Стечкин) Сергей Яковлевич (1864—1913) — русский писатель, автор историко-публицистических произведений «Исторический момент», «Разрушение терема» и др.

[18] *Кис ми квик.* — Kiss me quick (англ.). — Поцелуй меня быстрее.

[19] *«Готский альманах»* — дипломатический статистический ежегодник, издаваемый в Готе с 1763 г. В нем содержатся генеалогические описания царствующих, герцогских и княжеских домов Европы.

[20] *Цивильный лист* — часть государственного бюджета, которая предоставляется в личное распоряжение монарха и его семьи. Цивильный лист — финансовый документ в государствах с конституционной монархией.

[21] *Рюбе и Гарей* легендарные стрелки из романа Майн Рида «Охотники за черепами».

[22] *Аббат Мори* Жан Сифрен Мори (1746 1817), французский политический деятель. В 1789 г. был избран депутатом от духовенства в Генеральные штаты. Своими выступлениями вызвал гневные выпады парижского плебса. В 1791 г. вынужден был уехать в Италию.

[23] *Саенко* военный комендант г. Харькова.

[24] *Ma parole* (фр.) — честное слово.

[25] *Аристид Кувалда* — герой рассказа М. Горького «Бывшие люди» (1897). Автор так писал о своем герое: «Кувалда — прозвище отставного офицера... удивил меня независимостью поведения перед судьей...» (Письмо И. Груздеву, 1926).

[26] *«Тарас тут же...»* — А. Т. Аверченко неточно цитирует фрагмент II главы повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба».

[27] *...промчится к выходу на площадь, украшенную слоновым монументом Александра III...* Памятник Александру III стоял на Знаменской площади в Петербурге.

Белые мысли Аркадия Аверченко

— Так что... мы «вернемся назад»?
Вернемся. Белые люди скомпрометировали белые мысли. Освобожденные от нас самих, наши мысли вернутся в Россию и будут настолько сильны, насколько Дух выше плоти.

Ю. А. Никольский, В. В. Шульгин. При отплытии от берегов Крыма

«Читатель не забыл Аверченку. Растет новый читатель среди молодого поколения»,—прозорливо определил Н. Н. Брешко-Брешковский [1] еще в 1935 г. События революции и гражданской войны не разъединили этих писателей, пользовавшихся шумной славой. Автор «Ремесла Сатаны» пронес верную память о своем друге через годы эмигрантского рассеяния. Обращаясь к писателям-современникам, он горько упрекал их: «В отчетах двухсотпятидесяти библиотек эмигрантского зарубежья Аверченко стоит на одном из первых мест. А вот «братья-писатели», те забыли. И весьма основательно.

Нигде никогда ни строчки.

За что они его так?..» [2]

Чувство гонимости, следует признать, несмотря на известность и успех на родине и на чужбине, не оставляло А. Т. Аверченко. Н. Брешко-Брешковский в своих воспоминаниях пролил свет на тайную тайных переживаний А. Аверченко. Застав его как-то за излюбленным занятием — чтением увлекательной книги, Брешко-Брешковский узнал в его руках «авантюрный роман» В. Крестовского. «Вот и его не ценили,— молвил А. Т. Аверченко.— Встречали каждый роман руганью». А затем добавил: «Ничего не ценили. За что они ее так? Бедную нашу Россию». На всем оставшемся пути земного странствования писателя мучил этот вопрос. Решать его завещал он и нам.

---

[1] Брешко-Брешковский Н. Н. А. Т. Аверченко. К десятилетию со дня смерти русского юмориста // Иллюстрированная Россия. Париж, 1935. № 13. С. 16.

[2] Там же.

* * *

У писателя всегда есть шанс — воскреснуть в слове. Но без взыскующего читателя это не произойдет. По справедливому слову Вл. Максимова, одного из крупнейших прозаиков современности, следует поклониться русскому читателю, сохранившему душу живу — открытую не только для восприятия ужасов террора истории, но и для понимания сущности ее иронии. Да, именно иронии истории, которой «избежали немногие ее деятели», совершившие революцию, а на следующий день спохватившиеся, что они сделали не такую революцию, какую хотели. В таком ключе и воспринимаются ныне образы вождей пролетариата в «Двенадцати портретах» (не вошло в данное издание), «Нечистой силе», «Дюжине ножей в спину революции». Писатель, следует отметить, не стремился создавать достоверные характеры и следовать официальным биографиям политических деятелей, за что обижались на него в свое время и власть не удержавшие, и власть захватившие. Им владело в бо́льшей мере непосредственное чувство восприятия зла — сродни детскому переживанию при встрече с ним в сказке.

Но в реальной действительности Аверченко был не на шутку встревожен происходящим, но и власть захватившие тоже были растревожены не «отличным» поведением прославленного юмориста, произведениями которого зачитывались простолюдины и «серьезные» книгочеи. И можно понять, что в 1918 г. этот «любимец публики», как тать в ночи, должен был скрываться и бежать сквозь многочисленные заслоны, чтобы свободно заниматься любимым делом.

Юмор Аверченко в конце 1910 — начале 1920-х гг. приобрел симптоматичную окраску — немцы метко определили подобное состояние как Galgenhumor — юмор висельника, «юмор отчаяния и безвыходности». У русского же писателя он преображается в особый тип мышления — едкого, беспощадного и в то же время открытого, прямого. Сегодняшние составители сборников А. Аверченко в предисловиях решают неразрешимую задачу — пытаются наперебой определить, какое настроение должно вызвать прочтение его произведений — «громкий смех», «веселый смех», «горький смех», «улыбку и грусть». Предсказать это невозможно в силу особенностей юмора каждого. Как писал С. П. Шевырев в 40-х гг. прошлого столетия по поводу произведений И. П. Мятлева, своим творчеством оказавше-

го заметное воздействие на А. Аверченко: «Одному достаточно показать пальцы, он уже смеется, а другого как ни смешите — ничего не выйдет». Одно можно сказать с полной уверенностью: произведения настоящего сборника, написанные в непритязательной форме, заставляют не только улыбаться и хохотать — они еще пробуждают мысль, простые, достойные чувства. Этим-то он и не пришелся по душе ставшим у кормила власти Луначарским и Каменевым всероссийского и уездного масштабов, которые ясно понимали, что при установлении в России нового режима оставить возможность свободно высказываться писателю — значит властям увязнуть в бесконечной интеллектуальной борьбе. Несовместимы...

Но у Аверченко оставалась надежда. Она питалась сознанием того, что если заставить людей засмеяться над лицом, облеченным высшей властью, как над богом Аписом,— значит, пизвести это лицо из священного сана в простые быки. Однако опасность такой метаморфозы была предотвращена опережающим шагом со стороны властей — в августе 1918 г. правительственным распоряжением «Новый Сатирикон» — детище Аверченко — был закрыт, типография остановлена, шрифты конфискованы, а когда с ордером на «копфискацию» самого писателя пришли к нему на квартиру, то его там уже не было. По рассказам современников, «он перехитрил большевиков... и проскользнул... на юг России». Но и там он не скрылся от «всевидящего глаза». По словам А. Ремизова, «в русской литературной традиции доносы не перевелись и до сего дня...» — так и в 1919 г. тайный осведомитель редакции «Известий», публикуя в рубрике «В стане контрреволюции» донесения о Бунине, Овсянико-Куликовском, упомянул и об Аверченко, который «нагоняет строчки на тему о большевиках...» [1]. Показательно, что содержание выступлений писателя не интересовало анонимщика — главное, что писателем нарушено табу — сама «тема». По Аверченко: «...самая тошнотворная правда».

* * *

Представитель академической литературной науки С. А. Венгеров в своих лекциях о всемирном значении русской словесности, желая привлечь внимание зарубежных

[1] В стане контрреволюции // Известия. М., 1919. 14 февр. С. 2.

читателей не только к прославленным классикам, но и к русской литературе в целом, убеждал: если есть «снеговые вершины», то должны быть и предгорья, и живописные возвышенности. Талант А. Т. Аверченко можно уподобить одной из таких незаметных возвышенностей около горных цепей. Сам он хитровато посмеивался над собственным литературным успехом, который другие сравнивали по его стремительности с восхождением М. Горького. На этом сходство, естественно, и заканчивалось. Но их судьбы, каждая особо, свидетельствовали и свидетельствуют о могучих силах народной души. Этим качеством всегда восхищались влюбленные в Россию иностранцы. Так, У. Джемс, известный психолог, в свое время удивлялся, что на Руси есть «таланты, вышедшие непосредственно из народа, сложившиеся вне влияния школы», имея в виду феномен «просвещения без науки» Кольцова, Никитина и др. И, словно давая шутливое подтверждение этому, Аверченко делился о себе скромными сведениями: «Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить... других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения». Он вразнобой сообщал о себе, что родился или в 1881 г., или в 1883 г. (Советский ученый и писатель О. Н. Михайлов указывает дату — 18 марта 1881 г., которая теперь, похоже, принята окончательно.) Рос он в купеческой семье в Севастополе, из-за болезни глаз получил только начатки образования — два класса гимназии, которые, по верному слову современника, «восполнялись природным умом» и занятиями со старшими сестрами. В своей «Автобиографии» (1910) он так представил свои первые шаги на ниве просвещения: не желая идти в школу, он сослался на боли в глазах. Вопрошавшему врачу: «Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?» — «Ничего»,- ответил я, утаив хвост фразы, который докончил в уме: «Хорошего в ученье».

«Так я и пе занимался науками».

Если это было правдой, то не всей правдой. Природный дар пытливости, щедрая фантазия и жажда впечатлений влекли к познанию. Его рассказы, повести, пьесы и рецензии полны аллюзий, реминисценций по классическим произведениям. Отзвуки самостоятельных познаний — на страницах журнальных «Смесей», где можно встретить научно

обоснованные им подвиги Мюнхгаузена, в научно-шутливых трудах писателя «по всемирной истории», психологии и физиологии человека.

Атмосферу детских лет исследователи до сих пор воссоздают методом дедукции или основываясь на косвенных свидетельствах. О. Н. Михайлов, проанализировав ранние рассказы писателя, в которых явствует автобиографическое начало («Двуличный мальчик», «Одинокий Гржимба», «Отец», «Болотные туманы»), предположил с немалой долей основательности: «Не потому ли Аверченко так скуп на воспоминания о своей юности, что все они безотрадны...» [1].

Ненамного лучше освещена его писательская судьба. Здесь «заметы» отчетливее, они всегда преподносятся автором или современниками со вкусом, с особым «смаком». Начинается отсчет с незатейливого рассказа «Как мне пришлось застраховать свою жизнь» (Южный край, 1903), но именно в нем он нашел свой образ-маску простодушного малого, маску, которая скрывала цепкий, неспешный ум тонкого наблюдателя. Первые годы его литературной карьеры не отмечены стремительностью взлета. Редкие появления аверченковских рассказов (четыре за два года — с 1903 по 1905) заставляют исследователей с трудом отыскивать следы «литературного триумфа». А вот как описывает свое творчество Аверченко: «Во-первых, я написал рассказ... Во-вторых, я отнес его в «Южный край». И в-третьих (до сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное)... он был напечатан!» (Наверняка первый этап был осилен с меньшими трудностями, чем все остальные.) И, уже облеченный славой, Аверченко признавался: «Мой письменный стол и я — мы оба питаем друг к другу странную, ничем не объяснимую антипатию. Когда является необходимость в работе, я стараюсь держаться от стола как можно подальше... Наконец, я, как существо более разумное, забираю себя в руки... сажусь за письменный стол...— Как норовистый конь он становится даже на дыбы. Но я всадник опытный: страшным усилием осаживаю взбешенное животное и, схватив перо, начинаю работу. После десяти строк письменный стол сразу успокаивается, затихает, и между нами устанавливается полное согласие» [2].

---

[1] Михайлов О. Н. Страницы русского реализма. М., 1982. С. 201

[2] Аверченко А. Т. Как я работаю // Журнал журналов. 1915. № 1. С. 12 13.

А в пору работы в харьковской управленческой конторе каменноугольных рудников, в начальный период своего творчества, Аверченко с нескрываемым удовольствием откладывал скучную работу ради «смеха, шуток и ряда замысловатых анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в счетах и дрязгах». Недоумение, как его держали там 6 лет, разрешалось наверняка вышеназванным обстоятельством. В пыльной конторе фантазия начинающего автора разыгрывала уморительные сценки, а дар рассказчика и умение заставить себя слушать сослужили ему впоследствии добрую службу в редакторской работе, на которую его приняли в журналах «Штык» и «Меч». События революции 1905 г. подхватили писателя, «как щепку», и закружили в упоительном действовании: он беспрерывно писал сатирические рассказы, рисовал карикатуры. Недюжинная энергия, искренняя увлеченность помогали ему держаться на плаву и не оказаться на дне безвестности. Вспомним, что в это время появлялось множество юмористических журналов с воинственными — стреляющими, колющими, жалящими — названиями, которые исчезали как мотыльки-однодневки[1]. Имена же авторов, наводнявших сатирическую периодику, исчезли в читательской памяти. Но имя Аверченко не кануло в Лету: мы встречаемся с редким случаем, когда почти все, им написанное, и даже на злобу *того* дня, воспринимается и переживается нами сейчас. А ведь вроде бы смешное — каждому времени — свое. И разгадка здесь отнюдь не в том, что Аверченко высмеивал вечные пороки человека или разражался *«аблличительными»* речами. Может быть, главное очарование его таланта состоит в том, что с сильными он говорил как более сильный, а со слабыми был бережным, нежным.

Не мудрено, что чем назойливее были попытки образумить «разбитного писаку», тем сильнее была его свободная воля. Преследования харьковского губернатора вывели его на прямую дорогу в столицу... и в литературных кругах Петербурга он был встречен довольно приветливо. Тон покровительственного отношения к провинциалу, который было взяли К. Чуковский и Л. Гумилевский, вскоре сменился уважением и даже восхищением. Современники

[1] Подробно этот «праздник русской сатирической периодики» описан в книге В. Боцяновского и Э. Голлербаха «Русская сатира первой революции» (1925).

обратили внимание на необычную внешность молодого писателя-юмориста: «Левый глаз хранил жуткую слепую неподвижность, а правый излучал что-то мягкое, вдумчиво-нежное, задушевное, что влекло чужие сердца к его обладателю...» (Н. Брешко-Брешковский). Лишь немногие, самые близкие, знали, что он повредил глаз в неравной схватке еще в Харькове, отстаивая свое достоинство. Этот мужественный боец, который знал и законы уличной драки и заветы дуэльного кодекса, сумел создать вокруг себя ауру особого почтения среди своих клевретов, ту ауру, которая с ностальгическим чувством была воссоздана в его романе «Шутка мецената» (1923).

Благодаря знакомству с сыном промышленника Германа Корнфельда, основателя «Стрекозы», Аверченко сумел из вялого, беззубого юмористического журнала создать яркий и злободневный «Сатирикон» (1908—1913). При содействии Корнфельда-младшего Аверченко собрал вокруг нового журнала настоящий синклит остроумных смехачей: громогласного А. Радакова «Вакха юморо-сатирического рисунка», «коновода литературной богемы» П. Маныча, утонченную Тэффи и др. Обложку журнала создали именитые графики М. Добужинский и Л. Бакст; под ней находили прибежище помимо постоянных сотрудников — и гонимые. Эта же традиция продолжалась и в «Новом Сатириконе» (1914—1918). Эстетствующие критики возмущались тем, что в таком «чистом месте» мог появиться В. Маяковский. Упрекали «талантливого и чуткого редактора» за то, что «протащил» грубияна [1]. Тепло встречал Аверченко и незаметных изгоев: А. Ремизова [2], и «набирающих высоту» А. Толстого и А. Грина. А. И. Куприн в черновике статьи для газеты «Сегодня» (Рига), редакция которой попросила его написать об Аверченко, вспоминал о той поре, когда «Сатирикон» шел в гору: «...его беззаботная энергия сделала здесь очень много. Но и то сказать, какая славная семья сотрудников его. Увы! «Одних уж нет, а те далече», и еще дальше...» [3]. Как редкий дар жизни — встречу с талантом — воспринял Куприн его маленькие рассказы — «прочитав, взволновался, умилился, рассмеялся и обрадовался»

[1] Vindex. Поэзоисповедь // Журнал журналов. 1915. № 16. С. 18.

[2] См.: Ремизов А. М. Встречи. Париж, 1981. С. 7—10.

[3] Куприн А. И. Аверченко и «Сатирикон» // ЦГАЛИ, ф. 2517, оп. 1, ед. № 149, л. 163—164.

ведь найден «свежий и новый талант», «молодой прекрасный Чехов». Но если в ранних произведениях Чехова угадывалось зарождение нового художественного явления, то в Аверченко всегда привлекала та стабильность, благодаря которой он не терял своих верных читателей и обретал новых. Английский критик А. Верт в статье «Русский бестселлер» с презрением писал, что в России самой читаемой всегда была книга, отвечающая примитивным, низким требованиям грубой публики — развлекательная литература, романы ужасов и «лицензированная порнография». Аверченко, по его мнению, является поставщиком столь же низкопробной литературы для «дачного чтения». Автор заметки, говоря как о первых произведениях Аверченко, так и о работах 1920-х гг., называет его «продолжателем раннего Чехова», так как в отношениях с читателем Аверченко «выбирает путь наименьшего сопротивления. Он смешон, потому что глуп»[1]. Но «Реальное лицо Аверченко,— как свидетельствовал Скиталец,— никогда не было таким беззаботным, каким оно представлялось читателю»[2]. Заботы писателя-юмориста становятся мириадами искр жизнерадостности, остроумия. Мысль долгая, вязкая — не для Аверченко. Но и «на всех парах через болото», по его мнению,— удел безоглядных авантюристов, которые губят доверившиеся им души. Он выбирает ближние цели и стремится их осмыслить. Решения писателя иногда парадоксальны, но всегда ярки, оригинальны и метки.

...В начале 1910-х гг. Аверченко был захвачен идеей оздоровления России. «Вся Россия была больна»,— восклицал он в предисловии к сборнику «Рассказы для выздоравливающих» (1907). Несбывшиеся надежды на «приготовления к весне» в 1903—1904 гг., на «малую революцию» и дарованные конституционные свободы повергли либеральную общественность в траурные настроения. Аверченко ждал возвращения «молодой дерзновенной силы». Его рецепты «больным» были до удивления просты — больше вина, больше смеха, здоровой еды. Он хотел, чтобы обыватели ж и л и, а не боролись. В его советах нечего искать

---

[1] Werth A. A Russian bestseller // The Slavonic review. 1926. Vol. 4, № 12. P. 772—774.

Следует добавить, однако, что в отличие от Чехова, который, перефразируя слова Д. Лоуренса, поразился бы, взглянув на Россию через 20, 50, 100 лет,— Аверченко не был бы даже удивлен.

[2] Скиталец С. Река забвения // ЦГАЛИ, ф. 484, оп. 3, ед. 20, л. 45.

«твердой социальной основы», здесь — ирония вместо скорбного уныния либералов и скуки политических программ с вечными уверениями. Он говорил о том, чему радовался сам, что ненавидел, чем мог спасти других. Как писал И. Сургучев, «весело с „сатириконцами“», имея в виду прежде всего А. Аверченко (ЦГАЛИ, ф. 493, оп. 1, ед. хр. 61, л. 15), — общение с шумной и широкой на руку компанией заменяло все земные наслаждения. Старый журналист (Д. Ор) говорил об авторе «Веселых устриц», что он «парень хороший и товарищ отменный, но пальца в рот... не кладите. ⟨...⟩ В ресторан же всегда готов...» По сложившейся легенде, там и застала его февральская революция (в ресторане «Пивато»). В последних номерах «Сатирикона» Аверченко не мог не выразить своего к ней отношения.

Суждения писателя о революции не были однозначны. Он и прежде стоял на антимонархических позициях. Его гневное отношение к самодержавию определялось увековеченными в горестной «аллее побед» конкретными деяниями Николая II. Бесславные их результаты вели страну к катастрофе. В 1917 г. яростные нападки на монаршию семью и ее домочадцев усилились. Аверченко и его единомышленники обвинили во всех бедах Николая II и императрицу Александру Федоровну. На страницах «Нового Сатирикона» рисовали царя несамостоятельным, слабовольным государственным деятелем, виновником «мрачного гнета». Февральскую революцию они ошибочно приняли за «новую зарю свободы и светозарного счастья». Первые ее знамения радовали писателя. Она отменила старую цензуру, Аверченко, ликуя, пел ей осанну: «Весь наш скорбный путь был усеян грудами «зарезанных» рисунков и статей, залит красными чернилами, слезами бессильной злобы... Нас было мало, и мы не имели ружей и сабель. Мы все знали и ничего не могли сказать. А пришли те, которых много, и у них были ружья и были сабли.

И они сказали.

Слава им и горячая благодарность за сорванные с нас цепи» (О бывшей цензуре. Воспоминания // Новый Сатирикон. 1917. № 12). Аверченко приветствует образование Временного правительства (Мое самоопределение // Новый Сатирикон. 1917. № 17), но вскоре убеждается в его маниловском характере. Он требует от него сильной власти: «...весь русский народ облек вас властью — сметайте все гнусное, вредное для дела свободы на своем пути!..»

Великие перемены поначалу не страшили Аверченко. Он понимал, что Россия может затрещать от сильной руки. Но и это не беда, если у власти будут умы, направляющие народ на созидательное строительство, а не разжигающие классовую рознь. О новом, предполагаемом этапе революции он говорит: «И если вся Россия затрещит от этой власти, и слава Богу. Это хороший треск! Так трещат кости у человека, который сладко потянулся перед тем, как засесть за долгую работу» (Как мы это понимаем // Новый Сатирикон. 1917. № 19. С. 11). «Великий переворот» (слова А. Луначарского) разрушил былые надежды. Октябрьскую революцию Аверченко не принял, так как она несла разрушение, гражданскую войну. Беда ее, по Аверченко, в том, что третья революция отрицала национальные, патриотические идеи (Капли крови // Новый Сатирикон. 1917. № 25). Писатель не хотел слышать о сотрудничестве с новым режимом и тем более о зависимости от него. Ибо свою позицию писатель и ранее отстаивал с завидным постоянством. Так, Б. Кустодиев, М. Корнфельд, И. Гессен, Л. Камышников вспоминали о случае далекой, дореволюционной поры, который их всех взволновал. Когда Кустодиев работал над бюстом императора Николая II, последний вслух читал рассказы Тэффи и Аверченко и даже выразил пожелание пригласить писателя в Царскосельский дворец. Вскоре устное приглашение было получено через князя Путятина. Аверченко был в затруднении — сатириконцы не желали его отпускать, а И. В. Гессен (редактор газеты «Речь») убеждал его воспользоваться «перекинутым мостиком» ко Двору. ...К власти пришли большевики. И через несколько лет В. И. Ленин, по воспоминаниям того же Л. Камышникова, разразился вдруг панегириком по адресу Аверченко. И так же, как и тогда, с той же улыбкой на лице Аверченко говорил: «Ни во дворец тогда, ни тем более в Кремль теперь я не поеду». Он до конца дней оставался тем, чем он был [1].

В конце 1910 — начале 1920-х гг. он весь отдался сочинительству оппозиционных политических фельетонов; в этом жанре он остался непревзойденным. Он обыгрывал самые неожиданные ситуации; цепкость и изобретательность его ранней манеры соединились с мастерством вирту-

---

[1] Камышников Л. А. Т. Аверченко // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1925. № 4430. С. 2.

озного использования классических сюжетов и характеров политической сатиры Е. Чирикова (статьи в «Современном мире» конца 1910-х гг.), с прямотой политических портретов А. Куприна, с пристрастием к развертыванию метафор и историческим параллелям И. Соколова-Микитова [1]. Можно сказать, что крепкий настой уничтожающего сарказма отстаивался по старинным национальным рецептам знатоков, ведающих толк в подобного рода снадобьях. Свою горькую чашу горького сарказма он пронес через все препоны, которые неисчислимо вставали на его пути в Крым. Преграды не страшили Аверченко, потому что политические преследования ожидали и сатириконцев. Гонения на печать, лишение свободы слова — для них было хуже лютой смерти. Через занятую немцами Украину он вместе с друзьями пробрался в родной Крым в 1919 г. Свой крестный путь прошли писатели и общественные деятели: И. Шмелев, В. Вересаев, Е. Чириков, И. Соколов-Микитов, Г. Немирович-Данченко, В. Шульгин, П. Струве, Г. Вернадский и многие, многие другие. Их пути перемежились в Крыму. В наше время называли это бегством к белым генералам. Между тем — для Аверченко это было в первую голову возвращением на родину, тем более что он добрался в Крым до прихода там к власти П. Врангеля. Тэффи, автор ярких воспоминаний о жутком «путешествии», прекрасно ощутила состояние Аверченко. Его характер рядом с комичным импресарио, Гуськиным, и в соседстве с образом рассказчика, созданном не без утонченной самоиронии, в столкновениях с бандитами разных ярких мастей, псевдокультурными недоучками, начавшими «управлять культурой» (чего стоит один, прозванный Робеспьером, пытавшийся заставить играть пьесы и читать рассказы «самых известных писателей всего мира» для удовольствия новой элиты, и т. п.), был исполнен величавого достоинства,— лишь тон его шуток приобретал трагикомичный характер [2].

Во время поездки на юг России рушится некогда неразлучное содружество. А. А. Радаков так передал этот эпизод: «Каприз судьбы: когда и нас прикрыли, мы всей

[1] Ср.: Чириков Е. Большевистская тройка // Юг. 1919. № 43. С. 2—3; Куприн А. Советские портреты // Там же. 1920. № 136. С. 2—3; Соколов-Микитов И. Великое пожарище // Там же. 1920. № 127, 128. С. 2—3.

[2] См.: Тэффи Н. А. Воспоминания. Париж, 1931.

компанией двинули на Украину». И далее — что-то уж совсем невероятное: «Вдруг телеграмма из Питера: «Для ликвидации типографии пришлите представителя»... Бросили жребий, кому ехать. Мне! Приехал обратно, да тут и остался...» За право остаться на родине ему пришлось заплатить сотрудничеством с официозными органами печати.

Аверченко через Киев, Харьков и Ростов добрался до родного Севастополя весной 1919 г. А в июне открылась возможность участвовать в свободной печати. В «Беспартийной общественно-политической газете „Юг“» (с 1920 — «Юг России») появляются один за одним на центральных полосах фельетоны: «Короли у себя дома» (1919, 10 авг.), «Русский в Европах» (1919, 11 авг.), «Чертово колесо» (1919, 14 сент.), «Поэма о голодном человеке» (1919, 18 сент.), «Трава, примятая сапогом» (1919, 22 сент.), «Город чудес» (1919, 4 окт.) и т. д., позже из которых будут составлены сборники «Нечистая сила» (1920), «Дюжина ножей в спину революции» (1921), «Дети» (1922). Разные по своей направленности рассказы превращаются в первые дюжины ножей, которыми «ощетинил» Аверченко толстокожий загорбок «грабителя и разорителя» России. В лексиконе сотрудников газеты «Юг» появляется целый ряд слов, которым авторы пытаются определить характер новоявленного монстра и пригвоздить чудище пером к бумаге. А помогали в этом и сочувствующие читатели [1].

В статьях писателей встречаются характерные определения — «пьяный детина» с большой дороги, убийца, узурпатор и даже из лексикона русских охотников — «выжлец». (Так называет А. И. Куприн безумную собаку, которая вместо медведя бросается на хозяина [2].) Разные названия, но превосходно определена их сущность — она в таящейся ужасной метаморфозе: превращений ребенка — в детину, впавшего в идиотизм, раба и хама — в деспота, избавителя — в узурпатора, усевшегося на шее «избавленных». Аверченко, как и его писатели-единомышленники, убежден, что «большевистская революция... для разрушительных

[1] Листая подшивки газет, в которых печатался Аверченко, попалась мне на глаза интересная приписка: «Спасибо неведомым читателям за присланные мне перья. Одно из них и дало мне возможность написать эти строки. *А. А.*». (Имеется в виду рассказ «Усадьба и городская квартира», проливающий свет на условия работы Аверченко.— *Прим. сост.*).

[2] Куприн А. И. Троцкий // Юг. 1920. № 168. С. 2—3.

устремлений была питательной средой... в которой бактериологи пускают болезнетворных микробов»[1]. Словно ожили образы «Алой чумы» Д. Лондона. Но если у американского писателя пророчества об одичании людей основаны на гипотезах футурологов, предсказывавших страшные эпидемии, то для Аверченко это была ближайшая реальность. Его страшили бациллы, поражающие разум и тело могучего державного всадника: «Как человеческая голова, которую заботливая рука не стрижет, не бреет и не моет,— постепенно... наполняется тучей насекомых — так и бывшая Россия одичала...» Злые книги в 1919—1920 гг. написал автор. Он понял то, что стремился понять. Гибель старого быта, который он прекрасно знал, всего векового уклада грозила своими последствиями. Аверченко предупреждал, что, если рухнут традиции, исчезнет связь времен. Обреченность беззащитного человека виделась ему во всем ее трагизме. Но беспощадная правда у Аверченко не заглушает здорового смеха. Он вовлекает своего читателя в атмосферу действа масок, карнавальных переодеваний («Короли у себя дома», «Новая русская сказка» из «Дюжины ножей...», «Несколько слов по поводу этого, которое...», «Наваждение» из «Нечистой силы»). Его герои, обособившиеся от народной правды, вызывают двойственное отношение. С одной стороны, они лишь на время «надели» нелепые костюмы, маски и потому словно сами над собой потешаются. И, хотя это веселье недолгое, у читателя рушится вера в официальную правду. С другой стороны, автор предупреждает о нешуточной опасности, к которой ведет затянувшийся маскарад. Вызванная на народный праздник нечистая сила подменяет реальные лица, добрых знакомых из старых сказок и книг. По эмоциональному накалу «Нечистая сила», «Дюжина ножей...» превосходят и самую злую — сборник «Отдых на крапиве» (1924). Но жизненность им сообщает надежда на возрождение того ценного, что еще осталось (рассказ «Возвращение»).

Злобствующие критики приписывали автору личную обиду на большевиков, которые лишили его сытной и комфортной жизни. Но и в Крыму, и в Константинополе он испытал лишь временные трудности. Как явствует из его писем Г. В. Серову (ЦГАЛИ), бедой было ощущение бездомности, неприютности, и не беда, что «за окном 28°»,—

[1] Там же.

сообщал Аверченко своему приятелю,— а «40° на столе» — легче всего забывалось им чувство голода. Общее состояние всех честных изгнанников России выразил М. Осоргин: «Мое счастье не в том, чтобы я, чтобы мы увидели Россию возрожденной и свободной, а в том, чтобы таково было ее будущее» [1].

Восемнадцать месяцев лихорадочной борьбы за поруганные идеалы и за собственную жизнь укрепили писателя. В Крыму ему нередко приходилось туго из-за своего неистового темперамента борца: летом 1919 г. была приостановлена распоряжением министра внутренних дел правительства Врангеля С. Д. Тверского газета «Юг», где активно работал А. Аверченко. Самоуправство и равнодушие «к борьбе за национальное дело» бесцеремонного министра повергало в отчаяние даже самого генерала Врангеля. Когда Аверченко лично посетил «черного барона», то сумел добиться разрешения, чтобы была немедленно возобновлена работа газеты. Писатель недолго радовался восстановленной справедливости. Мирная жизнь в тылу была хрупкой. Надежды главы Крымского белого государства на мирное завершение неравного противостояния кончились катастрофой: под массовым напором Красной Армии части Юга России отошли к юго-западным портам. Однако Врангелю удалось спасти 150 000 мирных жителей, доверивших ему свои жизни. В числе этих беженцев был и Аверченко. Он живописно представил свое путешествие в корабельном «трюме на угольных мешках» (см. «Как я уехал») и в обход заслона «союзников» пробрался на турецкий берег в октябре 1920 г. Только благодаря смекалке и выручке «русских морских волков» он оказался на твердом грунте. Следует признать, что дух русского братства скреплял людей, рассеянных злой судьбой. Как писал русский историк Н. Росс: Крымское государство не погибло, «оно стало началом не менее интересного для историка явления — белой Константинопольской России». Однако и турки в скором времени выдворили русских за свои пределы. Не стала приютом и братская Болгария. Лишь Чехия и Югославия оказали гостеприимство русским беженцам.

На послеоктябрьское творчество А. Аверченко обратили внимание восторженные писатели, критики-одиночки

[1] Осоргин М. Тем же морем // Современные записки. Париж, 1922. № 13. С. 225.

и даже влиятельные представители академической литературной науки Русского зарубежья (напр., Н. Е. Андреев). А в Советской России, как в Зазеркалье,— все наоборот. Звучала печатная площадная брань по поводу рассказов Аверченко: «буржуазная отрыжка»; «это не литература», а «вагонное чтение», писатель «брызжет слюной в задницу истории»...

Аверченко не был лицеприятным писателем. Но и не угрюмство было его «сокрытым двигателем». Сам он как-то признался, как будто оправдываясь: «...если бы не было на свете большевиков — не было бы и этого фельетона»[1]. Словно открыв душу откровениям другого «крымского властителя дум», М. Волошина, который призывал «в дни революции быть Человеком, а не гражданином» («Доблесть поэта»), Аверченко отходит впоследствии от активной деятельности, которая вела к усилению русской усобицы. Но если Волошин звал к примирению враждующих станов, проводя в жизнь высокую религиозно-этическую идею, то Аверченко прекрасно сознавал иллюзорность таких мечтаний.

Редакции газет и журналов той поры жадно стремились узнать мнения писателей о судьбе России. Неоднозначно выразил свою позицию А. И. Куприн в ответе на анкету «В тумане»: «Мое прозрение сквозь будущие годы и века стало от напряженных усилий туманным. Оно как бы двоится. Иногда я вижу буйный, иногда медленный расцвет России. Иногда он мерещится мне приходящим с Юга, иногда с Востока...»[2]

Под этим подписался бы и Аверченко.

В 1919—1920 гг. им снова завладевает тема, некогда принесшая ему всероссийскую славу: он пишет о том, что знает лучше всего,— о детской душе. Логика автора проста: Аверченко пишет о детях, потому что сам был когда-то ребенком. Символично и то, что последнее его произведение «Сильные и слабые» (1925)[3], отправленное незадолго до скоропостижной кончины в Нью-Йорк, должно было опередить прибытие Аверченко в Америку для творческих

[1] Аверченко А. Разговоры в гостиной // Юг. 1920. № 136. С. 2.

[2] В тумане // Сегодня. Рига, 1929. 29 сент.

[3] Рассказ был напечатан на третий день после кончины писателя. См.: Аверченко А. Т. Сильные и слабые // Новое русское слово. (Нью-Йорк). 1925. 15 марта (№ 4430). С. 2.

встреч и спектаклей. Кто знает теперь, в какое русло могло обратиться творчество Аверченко, но одно несомненно, что незамутненным родником осталась бы любовь к детям. Его творчество развивалось благодаря живительной русской национальной традиции семейного чтения, когда крепла связь больших и маленьких в общении с книгой. Писатель и на Родине, и за рубежом стремился всмотреться и понять нравы и характер «маленького народа». Он открывал взрослым многое, ими забытое, а иногда и неведомое. Такие открытия словно омолаживали взрослых читателей, а малыши узнавали своих друзей, среди которых самым верным был Аверченко. Русский критик Константинов в пору писательского триумфа Аверченко 1910-х гг. верно заметил: «...Воистину необычайные переживания дает, если судить по Аверченку, эта детская пора жизни» [1]. В его эмигрантских рассказах, посвященных в основном России, намечалось обращение к детям, оказавшимся на чужбине. Он успел лишь обозначить эту тему, в первые годы «стихийного бедствия» он отдавался памяти о своих маленьких друзьях, с которыми разлучила его судьба. Мысли о детских горестях и радостях в изгнании, очевидно, не отлились в окончательные формы. В «Дюжине ножей...», как и в некоторых рассказах из сборника «Дети» (1922), его тревожит недетский строй мыслей маленьких героев. То, что снилось чиновнику Плешихину в раннем рассказе Аверченко «Детвора», кажется менее страшным, чем заботы героев «Травы, примятой сапогом», «Продувного мальчишки». Еще в дореволюционном рассказе «Детвора» автор восклицал, поражаясь скороспелому цинизму подростков, решивших вдруг отказаться от извечных детских радостей: «Сердце сжимается, когда подумаешь, что дети наших детей будут такими, должны быть такими — как умные детишки отсталого чиновника... Пошли, Господь, всем нам смерть за пять минут до этого». Но не только сумасшедший темп развития цивилизации определил драму детей XX в.,— беда пришла и с другой стороны — революция. Сам писатель придерживался резких взглядов. Нелестны его отзывы о взрослых, часто равнодушных, властолюбивых, злых и глупых (особо ярко это проявляется в его рассказе «Миша Троцкий»). Нравственные противоречия не раздирают души его

[1] Константинов Н. О маленьких для больших. Новый том Арк. Аверченко // Журнал журналов. 1915. № 36. С. 14.

маленьких героев. Да и разделения детей на добрых и злых у Аверченко нет. Внутренний мир их на зависть целен, гармоничен. В этом отличие от многих рассказов Сологуба и Ремизова, в которых выражены мысли о неискоренимости зла в природе человеческой. Аверченко не признает зла как нравственно-психологической категории. Поэтому его читатель не ожесточается, встречаясь на страницах рассказов и фельетонов с обозленными глупцами (пьяный гость «Под столом», Мотя «Три желудя» и т. д.), которые просто не понимают основных законов бытия, утверждающих добро. Конфликты маленьких персонажей с миром условностей, лжи взрослых трогательно укрупнены. Дети Аверченко, не без вмешательства автора, заставляют взрослых остановиться в череде мелочей, суеты, полюбоваться мгновением, дарованным Богом. Бездумная черствость оставляет в детской душе болевые рубцы, глубокие заметы памяти: «Разве знаем мы, что пережила она (девочка Лена.— *О. С.*) в эти 8 минут» холодного равнодушия матери. А душевные свойства самих детей, их деликатность, тонкость переживаний, дух творчества и жизнерадостность — приводят автора в нежную восторженность. Он клянется в верности своим маленьким любимцам ...но лишь до той поры, пока не кончится детство. Мир ребяческих дум созвучен миру некоторых рассказов Л. Андреева («Книга», «Молодежь», «Ангелочек»). Аверченко также открывает подлинные душевные клады не только в чистых детских и не только в богатых гостиных. Его Володька в рождественском рассказе «Продувной мальчишка» неожиданно проявляет изумительную силу внутренней энергии — он умудряется устроить любимый праздник себе и маме и еще нажить «оборотный капитал» благодаря пустячной находке. Случай, причудливые и загадочные детские поступки у писателя неизменно заканчиваются «душевным розмыслом»: в «продувном мальчишке» он угадывает купца, в мечтательном фантазере Косте («Костя») он угадывает поэта. В сборнике «Дети» к нам словно возвращается прежний Аверченко. Автор как бы стремится найти внутренние стимулы для творчества на чужбине, возрождая череду любимых образов. Под накатами волн холодной жестокости, оглушивших многих его соотечественников, он сохранил былые силы дарящего радость таланта. Из-под его пера выходили не только хлесткие фельетоны, но и воспоминания о покинутой милой земле, согревающие теплом родного очага.

Аверченко без прикрас воссоздает атмосферу «героических времен белогвардейской Вандеи». Он благословляет и самые трагические дни Родины, потому что знает, что и в отрезанном Крыму, затем в эмиграции растут новые Щукины, Найденовы, что возможно чудо — рождение Поэта, возрождение России.

В эмиграции друзья Аверченко отмечали в нем внутреннюю перемену: «Внешне Аверченко оставался прежним. Тот же мягкий юмор, то же любвеобильное отношение к людям, но угадывалась какая-то надтреснутость. Он скорбел по России, замученной, истерзанной, и порой эта скорбь трагически откликалась в его новых рассказах...»[1] Имеются в виду рассказы «Кипящего котла», которые посвящены историческим дням крымской одиссеи. Повествуя о жестоком времени страданий русских беженцев, он опять же не забывает о детях. И эта книга посвящена им: «...дорогие детишки! Это все правда, и мы, герои, полубоги, гомеровские отпрыски,— пережили дикий „кипящий котел"...» Потому так надрывно переживается им крушение русской культуры, что трагедия нового поколения встает перед детьми со всей беспощадностью. Не случайно, что многие его рассказы построены на диалогах дедушки и внука, отца и сына («Отрывки будущего романа», «Русская сказка», «Античные раскопки»), знаменующих боль о потере исторической памяти у нового поколения. Чтобы истинно запечатлеть пережитую трагедию, Аверченко смело бросается в кипящую гущу жизни. Он видит новоявленных миллионеров и обездоленных добропорядочных граждан. Ему претит спесь наживишихся на чужих бедах проворных ловкачей («Старый Сакс и Вертгейм», «Бал у графини X...»). Он обеспокоен тем, что разрушается старая культура. Не менее страшит и подмена истинных ценностей вертгеймскими безделушками, мелкие ценности повергают в прах вековое наследие. Перо Аверченко нацелено на извечных врагов — из дореволюционного сборника «Рассказы для выздоравливающих» выплывает Филимон Бузыкин, неискоренимый пошляк и хам. Аверченко неутомимо измывается над его множащимися собратьями; имя же им легион: Сысой Закорюкин, Голендуха Паскудина, Гундосов, Еремей

[1] Брешко-Брешковский Н. Н. А. Т. Аверченко. К десятилетию со дня смерти русского юмориста // Иллюстрированная Россия. 1935. № 13. (Париж).

Обкарналов. Ненависть писателя накаляется не в пример прежним временам, а его надежды зиждятся только на вере, на мужестве, па сознании необходимости терпеливого труда каждого на своем месте, на памяти, чести и достоинстве российских граждан.

«Кипящий котел», а затем и «Записки Простодушного» отражают тот путь, который прошли русские изгнанники: Севастополь — Константинополь — Европа. Перед нами словно оживают «картины снов» из булгаковского «Бега». В отличие от Булгакова, представившего трагедию исхода русских из России в нескольких планах, где явствует и сатирический (отождествление с тараканьими бегами), Аверченко по горячим следам показывает перековку русского характера. Мягкий, добросердечный Простодушный превращается в жесткого, острого на слово и крепкого на удар бойца. Об одном из своих персонажей он пишет: «...у него было каменное неподвижное лицо, как у старых боксеров». «Жестокий боксер» Константинополь выковал «из ласковых дураков — прочное железное изделие». Впрочем, беспощадным автор стал только для грязной накипи, которая всплыла во время бесчеловечной борьбы за жизнь (спекулянты, мошенники, жулики: «Страна без мошенников»). Следует отметить и то, что сборники Аверченко имеют автобиографическую основу: в конце октября 1920 г. он отправляется в Константинополь, где ему удается устроиться на шумной улице Пере. Горьким был воздух чужбины, непонятным язык, обычаи. Его тянет в «церковнославянские земли». 13 апреля 1922 г. он прибыл в Софию, а затем через Югославию направился в Прагу (17 июня). Чехи горячо полюбили Аверченко. Он платил им тем же. Об этом — раздел «Чехо-Словакия».

...«Русские за границей» — тема не новая. Жанр романов- и рассказов-путешествий издавна полюбился русским писателям. Но с тех пор, как Петр Великий «сочинил из России самую метаморфозис» (П. П. Шафиров), появляется нестираемая черта, особый строй чувствования, позднее названные Достоевским «настороженное самолюбие». Вынужденное знакомство с Европой, этой нашей «второй родиной», оказывается для Аверченко серьезным испытанием. Одни сберегают отеческие традиции, другие (см. «Трагедия русского писателя»: вставная новелла «О русском писателе»), забыв о Родине, устыдясь ее, теряют свое лицо. Большего позора автор не знает. Миссия

писателя — сберечь великий русский язык. Его «Записки Простодушного» в чем-то напоминают «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой» И. П. Мятлева. Средством «межнационального общения» становится французский язык. Ломаная речь, и русская и французская, назойливые галлицизмы — все это становится фоном для комических ситуаций. Как и героиня Мятлева, Простодушный обнаруживает недюжинный здравый смысл. Сквозь маску повествователя сверкает острый авторский взор. Но родство этих разных героев лежит в глубине: русский читатель видел в рассказчице Мятлева один из самых любимых типов русского фольклора, который достойно выходил из самых мудреных положений — сухим из воды и охорошевшим из котлов с «водой студеной и другой водой, вареной». Тем же мог похвастаться и «Простодушный» Аверченко. Он представляет путешественников, оказавшихся за границей не по велению собственному, но поневоле разделивших удел огромной части своего народа. Поэтому тон его рассказов сбивается на иные лады. От шутливой зарисовки, карикатуры он переходит к предметам возвышенным — серьезным обобщениям и даже печальным прогнозам национального будущего.

Заряд его творческой энергии оказал воздействие на многих писателей эмиграции. С оглядкой на Аверченко писали Н. Берберова («Брабантские рассказы»), Дон Аминадо, Тэффи. Сам же он, задумываясь о своем пути, отметил в годовщину закрытия «Нового Сатирикона»: «Вот пишу я, пишу — а, спрашивается,— с какой целью? Не с суетной же целью получить гонорар за это или с еще более суетной целью услышать от знакомого читателя комплимент... И для того, чтобы дать о ней представление, я должен обратиться к классическому, возвышенно-величаво прекрасному Пушкину:

Когда-нибудь монах трудолюбивый
Найдет мой труд усердный, безымянный,
И, пыль веков от хартий отряхнув,
Правдивые сказанья перепишет...

А хотелось бы мне увидеть выражение лица этого трудолюбивого монаха, когда он прочтет мой «труд усердный». Вот-то, я думаю, физиономию скроит!

Ой, скажет, domine Аркадий, а не врешь ли ты, часом? Что-то уж больно все пахнет развязной разгильдяйской выдумкой.

И прозвучит тогда из-за гроба мой вдумчивый вещий голос:

— Возьми глаза в зубы, святой отче, и прочти всю историю русской горе-революции. Ведь вся она сплошь кажется бесшабашной выдумкой, и, однако, все это — самая тошнотворная правда»[1].

Голос Аверченко звучит сегодня как нельзя вовремя. Еще недавно мы прочитали бы его рассказы с безнадежностью одинокого потрясения. А через год-два они покажутся, может быть, детски-наивными. Теперь же его свидетельства окрашиваются в скорбные тона сурового величия нашего народа, сохранившего дар возрождения.

О. Сергеев

[1] Аверченко А. Отрывки летописи   Юг 1919. № 19. С. 2.

Содержание

Аркадий Тимофеевич Аверченко

Записки Простодушного

Редактор Н. Л. Стебаева
Художественный редактор А. Г Сауков
Технический редактор Л. П. Емельянова
Корректор Л. В. Петрова

ИБ № 2243

Сдано в набор 28.06.91. Подписано в печать 23.09.91. Формат 84×108/32. Бумага писчая. Гарнитура бодони. Печать высокая. Усл. печ. л. 19,32. Усл. кр.-отт. 19,74. Уч.-изд. л. 19,59. Тираж 140 000 экз. Изд. № 5039. Заказ № 2 — 1.

А/О «Книга и бизнес», 125047, Москва, ул. Горького, 50

Фотонабор выполнен в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография»
113054, Москва, ул. Валовая, 28

Отпечатано на Киевской книжной фабрике.
252054, Киев-54, ул. Воровского, 24

Аверченко А. Т.

А 19 Записки Простодушного.— М.: А/О «Книга и бизнес», 1992.— 365 с.

ISBN 5-212-00533-7

В настоящем издании представлены произведения, ранее не доступные широкому кругу читателей. Впервые публикуются «Дети», «Пантеон советов молодым людям», «Нечистая сила»; без сокращений — «Дюжина ножей в спину революции», «Записки Простодушного» и другие книги А. Аверченко.

Исчерпывающая полнота данного издания дает уникальную возможность представить творчество А. Аверченко-эмигранта.

Для самого широкого круга читателей.

А $\frac{4702010000-003}{002(01)-92}$ КБ-25-36-91

ББК 84Р1-4

Вниманию читателей

А/О «Книга и бизнес» предлагает

«ПОЛНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ РОКАМБОЛЯ» —

авантюрный роман в двух книгах

Автор «Полных похождений Рокамболя» — французский писатель Пьер Алексис де Понсон дю Террайль (1829—1871).

Сочинения неутомимого автора (а он написал свыше 250 томов) имели небывалый успех в Европе XIX столетия. Особенной популярностью пользовались многочисленные романы о Рокамболе. Приключения Рокамболя — это настоящая эпопея авантюрных романов. Как заметил сам создатель героя: «Слава о Рокамболе и его делах уже давно приводила в какой-то бешеный восторг всех мошенников Парижа и провинций». Но не только их... В восторг пришел и читатель. И до сих пор он находится под загадочным обаянием бандита Рокамболя.

«Полные похождения Рокамболя» изобилуют острыми ситуациями, любовными коллизиями и невероятными приключениями.

Текст печатается по изданию 1878 года.

Предназначается для самого широкого круга читателей.